



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

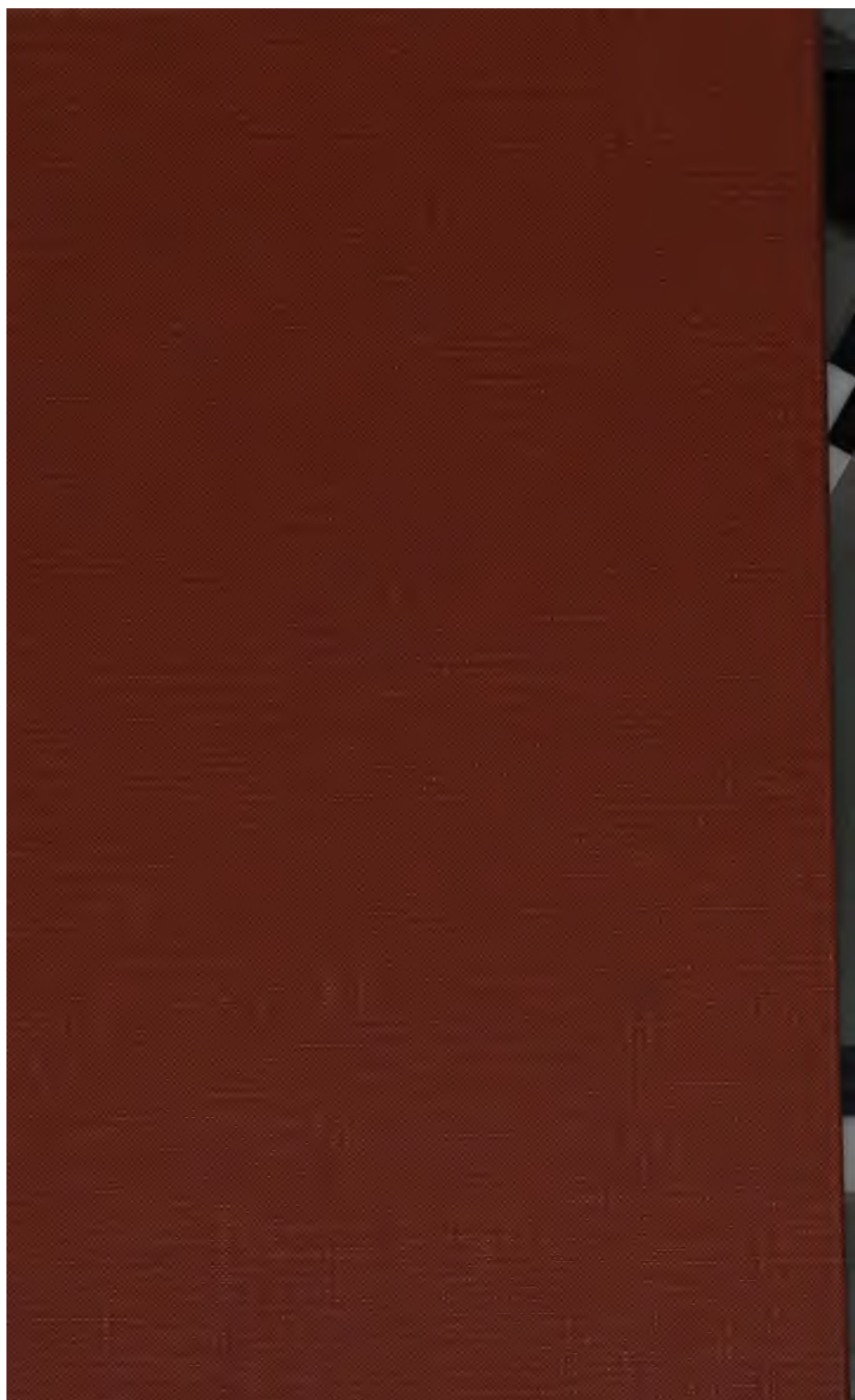
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

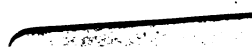
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





**This is an authorized facsimile of the original book
and was produced in 1978 by microfilm-xerography
by University Microfilms International
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
London, England**

8421
18925

=Goncharov, I

И. А. ГОНЧАРОВЪ.

ЧЕТЫРЕ ОЧЕРКА.

Литературный вечеръ. — Милльонъ терзаній. — Замѣтки о личности Бѣлинскаго. — Лучше поздно чѣмъ никогда.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Надано книжной торговли Глазунова.

1881.

APR 19 1961

1961 APR 19

PG 3011

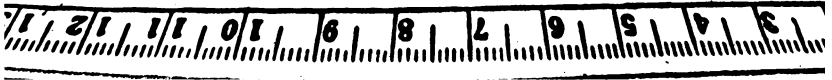
G65



THE LIBRARY OF CONGRESS

PHOTODUPLICATION SERVICE

WASHINGTON 25, D. C.



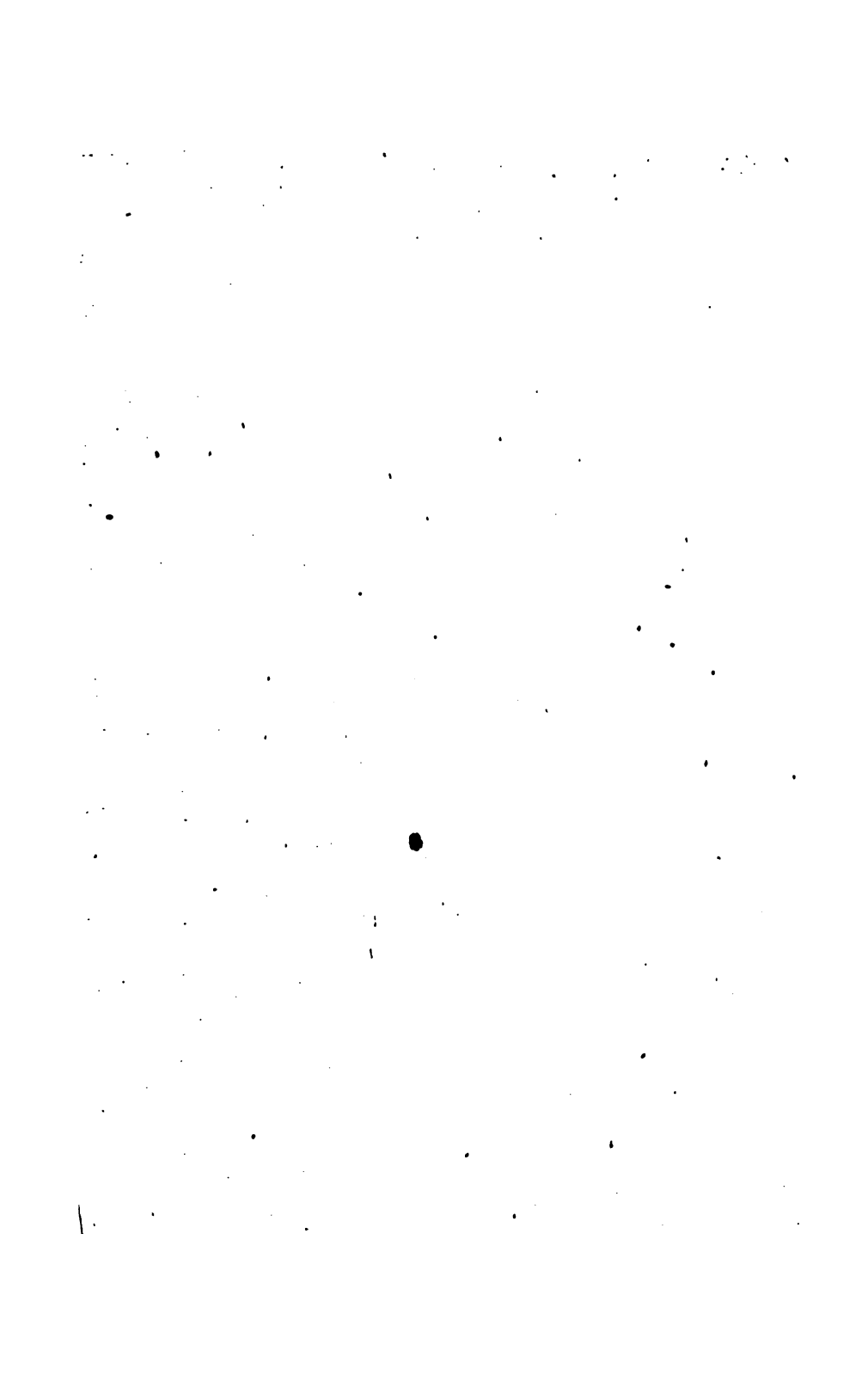
767/351

1881

34



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ.



Въ теченіи присутствовали изъ великосвѣтскихъ членовъ, которыхъ не было отъ этихъ чтеній очеркъ и весь, за исключеніемъ, наиболѣе заинтересованъ. Этими чтеніемъ очерка въ тѣхъ, кто хотѣлъ ограничиться, не думая издавать его въ свѣтъ. Но эти лица, а потомъ и другіе, которымъ прочтаны были многія страницы очерка, нашли, что послѣдній могъ бы быть предложенъ и публикѣ, такъ какъ онъ относится не къ тому или другому изъ прослушанныхъ произведеній и не къ тому или другому автору ихъ лично, а къ самому роду такъ называемыхъ великосвѣтскихъ романовъ, и что вообще индивидуальнаго въ немъ ничего нѣтъ. Вотъ исторія происхожденія этого очерка.

Къ этому авторъ можетъ прибавить, что, приводя въ очеркѣ различные отзывы объ описываемомъ такъ великосвѣтскомъ романѣ, онъ, конечно, не выражаетъ ни въ одномъ изъ нихъ собственнаго своего критическаго взгляда

на подобныя произведенія. Онъ старался заставить, какъ умѣлъ, выражать свои впечатлѣнія самихъ дѣйствующихъ въ разсказѣ лицъ, согласно степени ихъ литературнаго образованія, и высказывать взгляды не на одну литературу, но и на другіе, ходячіе, такъ сказать, вопросы въ современномъ обществѣ и въ печати, о которыхъ давно говорятъ и пишутъ, и долго будутъ говорить и писать.

Само собою разумѣется, что фабула романа и вся обстановка чтенія его — вымышлены. Въ этой фабулѣ авторъ хотѣлъ дать приблизительный очеркъ общаго характера подобныхъ произведеній. Если бы, противъ его ожиданія, незамѣтно для него самого, вкрались туда какіе нибудь легкіе намеки, напоявшающіе что либо изъ прослушанныхъ имъ произведеній, онъ проситъ у ихъ авторовъ извиненія въ неумышленной нескромности.

«....Лебедь рвется въ облака,
Какъ пятится назадъ, а жука тянотъ въ воду!»
Крыловъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧТЕНІЕ.

Къ одному изъ домовъ, на Конногвардейскомъ бульварѣ, къ подъѣзду подъѣхало, около восьми часовъ вечера, въ маѣ мѣсяцѣ, нѣсколько экипажей—одинъ послѣдъ за другимъ, и, высадивъ господъ, отправились по домамъ. Ровно въ восемь часовъ швейцаръ получилъ приказаніе не принимать никого болѣе.

Человѣкъ тридцать гостей обоихъ пола собрались у Григорія Петровича Уранова слушать въ этотъ вечеръ чтеніе новаго романа.

Автора романа, какъ писателя, знали немногіе. Онъ напечаталъ, безъ имени, нѣсколько статей по финансовымъ и политико-экономическимъ предметамъ, замѣченныхъ и оцѣненныхъ по достоинству только специалистами. Кромѣ того, онъ написалъ оцѣнку дипломатическихъ мемуаровъ и напечаталъ ихъ въ весьма небольшомъ количествѣ, для немногихъ. Онъ занималъ нѣкогда диплома-

тический постъ на югъ Европы и провелъ молодые лѣта за границею. Теперь онъ былъ, какъ и хозяинъ дома, гдѣ назначалось это чтеніе, членомъ одного совѣта и, кромѣ того, предсѣдательствовалъ въ какой-то комисіи по разнымъ преобразованіямъ. Въ свѣтѣ его любили, за огромное богатство, за открытое гостепріимство, за привѣтливость; а близкіе люди — за капитальныя достоинства ума и характера.

Извѣстіе о романѣ однако проникло въ общество его круга. Авторъ, на вопросы, обращаемыя къ нему, не отрицалъ, что романъ пишется, но болѣе не распространялся объ этомъ. Извѣстно было, что онъ читалъ то, что было написано, кое-кому изъ пріятелей, у себя дома, но эти лица хранили о романѣ скромное молчаніе.

Ближайшій пріятель и сослуживецъ автора, Григорій Петровичъ Урановъ, и тотъ не былъ посвященъ въ тайну о романѣ. Напрасно добивался онъ отъ автора отвѣтовъ на эти вопросы — онъ ничего не узналъ.

— Ты не читаешь романовъ, говорилъ ему авторъ: — зачѣмъ тебѣ знать, что я написалъ? И тебя оттого и не пригласилъ въ свой домашній кружокъ послушать.

— И обидѣлъ меня! возразилъ Урановъ. — Если ты считаешь меня равнодушнымъ къ романамъ, или вообще къ литературѣ, то все же это не значитъ, чтобы я былъ равнодушенъ къ тебѣ и къ твоему произведенію.

Авторъ тронулъ этотъ упрекъ и онъ обѣщалъ прочесть свое произведеніе у него въ домѣ. Урановъ послалъ ему списокъ приглашенныхъ лицъ, которые болѣею частью принадлежали къ кругу ихъ общихъ друзей и знакомыхъ; авторъ возвратилъ съ своимъ согласіемъ и съ просьбою прибавить еще одну, тоже общую ихъ

знакомую, графиню Снявскую съ дочерью, и двухъ своихъ сослуживцевъ. Урановъ торжествовалъ.

Вотъ это именно общество и собралось въ означенный вечеръ въ большомъ и богатомъ домѣ Григорія Петровича и размѣстилось въ обширной комнатѣ, между кабинетомъ и столовою, окнами на дворъ, чтобы ѣзда экипажей не мѣшала чтенію.

Григорій Петровичъ мало интересовался собственно романомъ, какъ справедливо упрекнулъ его авторъ, въ чемъ онъ и самъ признавался. Но слухъ о романѣ произвелъ сенсацию въ свѣтѣ, сталъ событіемъ дня, и поэтому сталъ и для него событіемъ. Съ утра до вечера онъ обыкновенно жилъ въ толпѣ, никогда не былъ и не умѣлъ быть одинъ. Все, что дѣлалось въ свѣтѣ — болѣе или менѣе касалось и его. Онъ былъ вдовецъ, принималъ у себя больше мушкетъ, рѣдко дамъ.

Онъ и совѣтъ свой, въ которомъ служилъ, любилъ потому, что онъ занималъ у него три утра въ недѣлю. Онъ называлъ его утренимъ клубомъ, въ отличіе отъ вечерняго, т. е. англійскаго клуба. Въ свободныя утра, онъ или самъ ѣхалъ, или къ нему ѣхали съ визитами; потомъ онъ обѣдалъ у знакомыхъ, или у него обѣдали знакомые. Онъ щеголялъ гастрономическими обѣдами, на которые приглашалъ тонкихъ знатоковъ изъ гастрономовъ-пріятелей. Вечера — тоже въ свѣтѣ, или у себя, а больше въ клубѣ, за картами.

Такъ проходило незамѣтно восемь мѣсяцевъ въ году. Въ маѣ начиналась для него трудная пора, застой, истома. Всѣ разъѣзжались — кто въ деревню, кто за границу, многіе на дачу; всѣ прозны. И онъ переезжалъ поневолѣ куда нибудь, больше на острова, чтобы не уда-

латься отъ города. Но небольшой, относительно, кружокъ оставшихся знакомыхъ мало удовлетворялъ его. У него оставались незанятые вечера. Да и что за вечера лѣтомъ въ Петербургѣ, безъ темноты, безъ огней! Ему нужно было всёхъ, весь городъ, и онъ не зналъ, что съ собою дѣлать. Онъ угрюмо встрѣчалъ «лучезарнаго Феба», когда тотъ, искорѣ послѣ полуночи, начиналъ опять сіять на горизонтѣ и просился въ окна, когда онъ еще и заснуть не успѣлъ.

Вообще, такъ называемую природу, лѣса, горы, озера и прочее, отъ терпѣть не могъ.

— Нашли какую рѣдкость — хорошій воздухъ: еще рекомендуютъ, какъ лекарство! ворчалъ онъ сердито нюхая воздухъ въ аллеяхъ елагинскаго парка. — А чѣмъ воздухъ дуренъ въ клубѣ, или хотъ въ нашемъ совѣтѣ, если только не садиться близко къ Петру Оомичу, да къ Семену Яковлевичу!

Такъ и теперь въ маѣ онъ началъ скучать, не до считываясь, то сосѣда за столомъ въ совѣтѣ или въ клубѣ, то партнера въ вистѣ — и всякое утро вставалъ съ вопросами: «Кто изъ знакомыхъ уѣзжаетъ сегодня? У кого закрылись пріемные дни? Куда потратить онъ утро, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ убѣсть вечеръ?»

И вдругъ, какая находка: созвать гостей на чтеніе романа!

Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями — дѣло для него совсѣмъ не въ томъ. А въ томъ, что вся эта процедура займетъ у него цѣлую недѣлю: разъѣзды, приглашенія и, наконецъ, желанный вечеръ, проведенный по зимнему, далеко за полночь, потомъ ужинъ до утра! Кромѣ

того, послѣ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!

Однако онъ, обдумывая (прежде и старательно всего) меню ужина, позаботился, надо отдать справедливость его умѣнью жить, и о томъ, чтобы общество слушателей имѣло и авторитетныхъ представителей литературнаго міра. Онъ пригласилъ, прежде всего, известнаго профессора словесности, написавшаго много книгъ о литературѣ; потомъ одного старика, Красноперова, своего сослуживца и пріятеля, предпологая въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ Греча и Булгарина; наконецъ, одного пожилаго белетриста, знакомаго ему по клубу.

Сверхъ того, Григорій Петровичъ поручилъ племяннику своему, студенту, который жилъ у него въ домѣ и котораго онъ, не имѣя своихъ дѣтей, любилъ, какъ сына, помочь ему сдѣлать вечеръ занимательнымъ и привести кого нибудь изъ новыхъ литераторовъ. Тотъ обѣщалъ представить редактора одного известнаго журнала, и критика, по части белетристики, какой-то газеты.

Авторъ явился за пять минутъ до восьми часовъ и прежде всего выразительно и дружески приветствовалъ приглашенную по его желанію графиню Синявскую, потомъ поздоровался со всѣми прочими знакомыми и бѣгло познакомился съ неизвѣстными ему слушателями, которыхъ представлялъ ему хозяинъ, называя ихъ по именамъ. Авторъ отвѣчалъ, кому пожатіемъ руки, кому поклономъ или полупоклономъ, инымъ сказалъ нѣсколько словъ.

Потомъ онъ подошелъ къ столу, взялъ у своего сослуживца, съ которымъ вмѣстѣ пріѣхалъ, портфель, от-

перъ его, выложили нѣсколько мелко и красиво исписанныхъ театрадокъ и, окинувъ бѣглымъ взглядомъ общество, сказали любезно:

— И готовъ; прикажете начать?

Всѣ поклонились и поспѣшили занять свои мѣста. Онъ бережно отодвинулъ отъ себя подносъ съ сахарною и зелитерскою подою, съ лимонадомъ, оршадомъ и всѣмъ, что ставятъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ подъ носомъ чтеца, чего почти никогда не пьютъ и отъ чего бываетъ только тѣснота на столѣ. Потомъ онъ началъ читать пріятнымъ, густымъ баритономъ.

Взглянемъ прежде на гостей, потомъ послушаемъ.

Гости расположились на креслахъ, патѣ, dos-à-dos и другой покойной мебели, неправильнымъ полукругомъ, въ три ряда.

Впереди сидѣли дамы. Одна — княгиня Тедкая съ дочерью. Княгиня, въ темномъ платьѣ моаръ-антикъ, въ бархатной мантильѣ, которую сбросила на спинку стула, съ сафьяннымъ красивымъ мѣникомъ, откуда она достала какое-то нязанье, съ бѣлыми костяными спицами, и начала работать, ну прочемъ, кажется, больше для вида, потому что изъ няти только одинъ разъ попадала спицею, какъ слѣдуетъ. Она часто опускала руки съ вязаньемъ на колѣни, безпрестанно вздрагивая, будто отъ испуга или отъ внезапной боли, и сильно мигая. Иногда даже у нея вырывалось нѣчто въ родѣ «аха» или «оха», сопровождаемаго опять вздрагиваніемъ. На это почти никто не обращалъ вниманія; всѣ знали, что у нея «нервы» и привыкли къ этому.

На лицѣ и во всей фигурѣ княжны, сѣ дочери, напротивъ, покоилось ненарушимое спокойствіе; ни удо-

вольствия, ни скуки не выражало это лицо. Можно было бы назвать его мраморнымъ изваяніемъ, если бы—когда въ романѣ заходила рѣчь о любви—это лицо не принимало впезапню выраженія ничего не понимающей невпичности.

Книжна сидѣла нѣсколько впереди всѣхъ. Свѣтъ лампы съ боку ярко освѣщала ея голову, бюстъ и руки.

Она была одѣта въ розовое съ бѣлымъ отливомъ платье, въ рукѣ держала черепаховый вѣтеръ. на коѣпкахъ былъ небрежно брошенъ кружевной платокъ. Мать часто оглядывала туалетъ дочери: не отдѣлилась ли какая нибудь непокорная прядь волосъ, правильно ли лежатъ на шеѣ и на груди цѣпочка съ бриллантовыми крестикомъ, красиво ли драпировается шлейфъ около ногъ. Посокъ розовой мипіатюрной ботинки кокетливо выглядывалъ пзъ-подъ платья и все время, пока продолжалось чтеніе, оставался на виду.

Подлѣ нхъ, немного позади, помѣстилась полная, кругленькая, невысокаго роста дама лѣтъ тридцати. съ голубыми, какъ небо, дѣтскими глазами. въ голубомъ платьѣ, съ голубымъ же головнымъ уборомъ. На ея большомъ и красномъ, какъ у здоровой кормилицы, лицѣ разливались широкія пятна румянца и съ губъ не сходила улыбка, тоже дѣтская. Она вошла съ этой улыбкой, здоровалась ею же со всѣми, съ улыбкой слушала чтеніе и уѣдетъ съ тою же стереотипною улыбкою, которая такъ же извѣстна была всѣмъ ея знакомымъ, какъ и вздрагиванія и «ахи» княгини Тецкой, или выраженію непониманія при намекахъ на любовь, на лицѣ княжны. Она являлась съ этою улыбкою вездѣ, даже на похоронѣ—и теперь таяла отъ удовольствія, еще до начала чте-

иля. «Ça doit être joli!» шентала она сосѣдямъ. Это была извѣстная въ свѣтѣ вдова .Иплина, всегда всемъ довольная, всехъ любившая и всеми любимая и балуемая, и страстная охотница до домашнихъ спектаклей, всѣхъ чтеній и концертовъ.

Подѣвъ самаго автора, въ плотную къ нему, присѣлъ старикъ графъ Пестовъ, свѣтская окаменѣлость, напомилавшая Тугоуховскаго. Онъ уже лѣтъ десять смотрѣлъ тусклымъ взглядомъ вокругъ себя, не всегда и не все понималъ, что происходитъ. Онъ поминутно забывалъ о чемъ говорить, иногда и съ кѣмъ говорить, подѣвъ часъ не узнавалъ даже родныхъ внуковъ. За то, какъ это часто бывало съ долговѣчными стариками, онъ помнилъ до мелочей свой вѣкъ, съ начала нынѣшняго столѣтія, и служилъ живымъ архивомъ для справокъ; онъ помнилъ всехъ современниковъ, крупныя событія и мелкія сплетни, хронологію, анекдоты, даже у кого въ домѣ когда собиравался, чей лучше былъ поваръ и т. и. Его возили всездѣ, какъ и Тугоуховскаго, между прочимъ и потому, что онъ боялся оставаться одинъ дома и умереть. Привезутъ его, посадятъ въ покойное кресло и посылаютъ то того, то другаго гости по очереди, поговорить съ нимъ, потомъ оставлять. А онъ посидитъ, пожуетъ губами, пощелкаетъ что-то и задремлетъ.

Онъ приставивъ руку къ уху, внимательно слушалъ чтеніе.

Далѣе, въ тѣни абажура лампы помѣстилась на маленькомъ пате та дама, которую пригласилъ авторъ, графиня Синивская, и рядомъ, близко, почти на колѣни къ ней, прильнула семнадцатилѣтняя прелестная брюнетка, ея дочь, въ простомъ розовомъ баржевомъ платьѣ, съ

кисейнымъ шарфомъ на шеѣ, безъ вѣера, даже безъ перчатокъ, которая она спала, лишь только сѣла, и положила на столѣкъ рядомъ. У нея съ кистей рукъ еще не спала, какъ у многихъ подростковъ, краснота молодой крови. Ея свѣтло-каріе глаза сынали снопы лучей наивной, нескрываемой радости отъ всего, что она тутъ видѣть и слышать могла. Она бросала застѣчивые, но любознательные взгляды на все и на всѣхъ: на автора, на глухую, на нервную, на раздражительную княжну и Лилиной — и потомъ смотрѣла на дочь, будто спрашивая, такъ ли она держитъ себя?

Мать отвѣчала улыбкой, какая бывала у нея, когда она видѣла, что дочь выѣзжаетъ изъ дому. Она была рада, что дочь выѣзжаетъ изъ дому.

У самой графини былъ такой же профиль, матовая кожа, темные глаза, и такая то тонкая, загадочная улыбка, такъ что нельзя было угадать, шутитъ ли она или одобряетъ что нибудь, радуется, или смѣется про себя.

За эти умные глаза и загадочную улыбку—ее прозвали сфинксомъ. Она была еще молода, и въ особенности моложава, такъ что казалась скорѣе старшей сестрою, нежели матерью своей дочери.

Она мелькомъ данно оглядѣла слушателей, потомъ почти не спускала глазъ съ автора. Иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, съ улыбкой, слова два, и опять слушала чтеніе.

Авторъ, отрывая глаза отъ рукописи, каждый разъ прежде всего обращалъ взглядъ на графиню, очевидно справляясь съ ея впечатлѣніемъ, потомъ уже переходилъ

къ сидѣвшему близъ нея старику Чешневу, а на остальныхъ изрѣдка кидалъ общій, неопредѣленный взглядъ.

Старикъ Чешневъ сидѣлъ на стулѣ, скрестивъ руки на груди, положивъ ногу на ногу.

У него были рѣдкія и мягкія сѣдины, благодушное, почти женское выраженіе лица и умные, проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинувъ немного назадъ голову, съ большими, открытыми лбомъ, онъ слушалъ внимательно чтеніе, какъ будто вокругъ ничего и ничего не было.

За нимъ, во второй шеренгѣ; помѣщались: профессоръ словесности, потомъ тотъ гость, котораго, изъ качествъ литературнаго эксперта, пригласилъ на чтеніе хозяинъ, потому что онъ былъ знакомъ съ Гречемъ и Булгаринымъ, и еще пожилой беллетристъ Скудельниковъ.

Профессоръ слушалъ съ строгимъ, официальнымъ вниманіемъ, склонивъ немного голову на бокъ и сохраняя приличную случаю мишу.

Пріятель Греча и Булгарина — слушалъ, опустивъ подбородокъ въ широкое жабо галстука, иногда покачивалъ головою, или вѣшалъ въ ладонь и разсѣянно поглядывалъ на картины, развѣшенные на стѣнахъ.

Сосѣдъ ихъ, беллетристъ Скудельниковъ — какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза, взглядывалъ на автора и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ — вообще ко всему вокругъ себя.

Григорій Петровичъ вытащилъ его изъ его гнѣзда, обѣщалъ хорошій романъ, хорошее общество, хорошихъ,

даже прекрасныхъ дамъ, и хорошій ужинъ. Онъ и пріѣхалъ.

Дальше сидѣлъ приглашенный племянникомъ-студентомъ, по просьбѣ дяди, редакторъ журнала, среднего роста, среднихъ лѣтъ, довольно полный блондинъ, приличной наружности, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и съ *gibus* въ рукахъ, — и не съ выраженіемъ уважительнаго равнодушія.

Потомъ сидѣли, три, такихъ слушателей, которые и зовутъ на чтеніе чего-нибудь, то это не очень хорошо. За ними полагали всегда того мѣштина, и непремѣнно будетъ очень скучно.

Между прочимъ, — выдавался гость, по имени Плинь Суховъ, который былъ приглашенъ, — кому, что былъ короткій пріятель и любимый застольный товарищъ хозяина — и въ совѣтѣ, и въ англійскомъ клубѣ. Онъ обнаруживалъ кое-какіе знаки петербургія при чтеніи: дышалъ громко, то ртомъ, то носомъ, иногда прикрывалъ рукою зѣвоту и пробовалъ заговаривать съ сосѣдами, чаще всего съ военнымъ генераломъ, еще не старымъ, крѣпкимъ, здоровымъ человекомъ, съ бодрой осанкой и простыми, но энергическимъ выраженіемъ лица. Онъ былъ извѣстенъ, какъ отличный боевой генералъ и вмѣстѣ хорошій администраторъ по военной части, и на литературу смотрѣлъ нѣсколько съ боевой точки зрѣнія, читая, что попадется, въ видѣ отдыха, а чаще и вовсе ничего не читая. Онъ, съ хозяиномъ, съ Суховымъ и съ самимъ авторомъ романа — былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ и въ службѣ,

и въ обществѣ, и они составляли собою свой тѣсный кружокъ.

Недалеко отъ нихъ сидѣлъ на плетеномъ, простомъ стулѣ, одѣтый, такъ же, какъ и журналистъ, во фракъ и бѣломъ галстухѣ, одинъ изъ приглашенныхъ сослуживцевъ автора, человекъ подъ пятьдесятъ лѣтъ, съ серьезнымъ лицомъ, съ крупною морщиною на лбу отъ напряженнаго вниманія, съ какими онъ слушалъ, сидя прямо и держа шпину на колѣняхъ.

Онъ, казалось, съ трудомъ или неохотно выкалъ въ смыслъ чтенія, пылливо поглядывая, то на автора, то на того или другаго изъ слушателей.

Это былъ Иванъ Ивановичъ Кальяновъ, сослуживецъ и одинъ изъ главныхъ помощниковъ автора въ комисиі по преобразованіямъ и по другимъ дѣламъ, какія на того возлагались. Онъ считался столпомъ въ администраціи и правую руку своего предсѣдателя. Вѣрнѣе, точнѣе, и свѣдущѣе по своей части исполнителя, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, не было даже ни у одного министра. Самъ онъ никогда ничего не придумывалъ и не предлагалъ новаго, но бралъ предложенный ему матеріалъ — проектъ ли закона, новую какую нибудь мѣру и, вооруженный уставами, положеніями, сводомъ законовъ, указами, инструкціями, органически воплощалъ идею, давая ей плоть и кровь.

Онъ удивлялся производительной головной дѣятельности своего предсѣдателя, изобрѣтательности и блеску его ума, а тотъ чувствовалъ, что безъ такого техника-организатора, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, его идеи и планы, указанія и desiderata — не достигали бы своей цѣли.

очень серьезнымъ дѣломъ! Газета—это не только живая хроника современной исторіи, но и архимедовъ рычагъ, двигающій европейскій міръ политики, общественныхъ вопросовъ; а романъ пересталъ быть забавой: изъ него учатся жизни! Онъ сдѣлался руководствующимъ кодексомъ къ изученію взаимныхъ отношеній, страстей, симпатій и антипатій — словомъ, школой жизни!

Кальяновъ съ... отрътъ въ сторону.
«Знаю, что... думалъ онъ: вонъ...
какъ—точно зумъ... и о чемъ же — о ро-
манъ! Дудки! Э... манетъ писать!»

— Теперь... а романъ, продолжалъ
Бебиновъ:—одни... итають. Государствен-
ные люди, поли... дже духовная лица на-
писали много р... мать, или учатся удов-
лять тонкіе зако... ой, общественной, по-
литической, социа... жизни — изъ романовъ!

«А все-таки... думалъ Кальяновъ, но
не рѣшился сказать вслухъ. Думалъ: «а ну, какъ онъ въ
самомъ дѣлѣ лишеть этого... вздоръ! Невозмо! Да нѣтъ,
не можетъ быть!»

Онъ покачалъ отрицательно головою.

— Все не вѣрите? сказалъ Бебиновъ. — а вотъ по-
вѣрите, когда я приглашу васъ послушать! Вы не отка-
жетесь?

— Нѣтъ, я всегда слушаю все, что вамъ угодно мнѣ
читать... сказалъ онъ покорно.

— И часто опровергаете; но всегда съ улыбкою и
полезно для дѣла...

— Развѣ это дѣло? вѣрнѣе ссорюсь съ вами у
Кальянова.

сѣданія, а это намъ поскорѣ бы сбыть. Тамъ ждутъ.

Кальяновъ всталъ.

— Куда же вы? Сейчасъ чай подадутъ, вотъ сигары! удерживалъ Левъ Ивановичъ Бебиковъ — такъ звали председателя.

— Благодарю: меня дома ждутъ, да и вы заняты!

— Знаете, чѣмъ я занятъ? сказалъ Левъ Ивановичъ, придвигая къ себѣ тетрадь, которую писалъ до того.

Кальяновъ молчалъ.

— Романъ пишу.

Тотъ все молчалъ, только немного поднялъ брови.

— Вы не вѣрите? спросилъ Бебиковъ улыбаясь.

Тотъ отвѣчалъ тоже улыбкой.

— Хорошъ долженъ быть романъ, сказалъ онъ, поглядывая на тетрадь. — Пожалуй, отъ него канцеляріи на полгода работы хватить, а дѣлопроизводителю, т. е. вашему покорному слугѣ, опять по ночамъ не спать!

Левъ Ивановичъ засмѣялся.

— Не бойтесь! вамъ угрожаетъ одна опасность: выслушать его и сказать ваше мнѣніе.

— Я такъ и зналъ, что будетъ работа! А позвольте узнать, о чемъ этотъ романъ: не опять ли о введеніи предварительныхъ мѣръ въ видѣ опыта?... Мнѣніе мое вы уже знаете...

— Нѣтъ, нѣтъ! со смѣхомъ возразилъ Бебиковъ. — романъ, настоящій романъ! Почему вы не вѣрите?

— Не станете вы заниматься...

— Такимъ вздоромъ, да? Говорите прямо!

Кальяновъ молчалъ изъ учтивости.

— Какое варварство, Иванъ Ивановичъ! Вы не знаете, что въ наше время газеты и романъ сдѣлались

— Смотрите же — а ожидаю вашей критики! пробавилъ онъ.

Калыновъ ушелъ въ раздумья, все же вѣра и предполагая какойнибудь сюрпризъ.

«Собереть, чего добраго, всю канислю туда, на вечеръ къ Уранову, да и прочтеть какойнибудь просятъ или «идею»... отъ него станется! Охъ, ужъ эти нити идеи!».

Однако, въ назначенный вечеръ, онъ надѣлъ фракъ, бѣлый галстухъ и поѣхалъ къ Уранову.

«И женщины тутъ: что-жъ это въ самомъ дѣлѣ — ужели такъ-таки романъ и есть?» шепталъ онъ, робко усаживаясь въ третью шеренгѣ слушателей.

Другой сослуживецъ автора, Фертовъ, напротивъ вовсе не сдвинулся. Онъ рѣалъ, какъ эфиръ, между слушателями и, наклоняясь то къ тому, то къ другому, особенно къ дамамъ, ронялъ по нѣскольку словъ восторженныхъ похвалъ о романѣ, который уже слышалъ.

Онъ былъ высокій, красивый и отлично одѣтый господинъ, лѣтъ сорока, юркій, свѣтлоокій блондинъ, съ проборожъ по-реди головы, съ бакенбардами, струями падавшими къ плечамъ, съ изящными манерами, — словомъ, представительная салонная фигура.

Фертовъ былъ тоже необходимое лицо у автора — и по службѣ, и по всякимъ другимъ дѣламъ, по совѣтамъ въ другомъ родѣ, чѣмъ Калыновъ. Онъ добывалъ особенныя, предварительныя справки по дѣламъ, дѣлалъ развѣдки, tâtaît le terrain въ томъ или другомъ вѣдомствѣ — не путемъ бумажныхъ отношеній, а лично; былъ употребляемъ для компромиссовъ, улаживалъ путн, устранялъ, своимъ ловкимъ и пріятнымъ характеромъ, недо-

разумѣнія и т. д. Онъ же былъ вѣрнымъ эхомъ городскихъ новостей и слуховъ, особенно въ высшихъ сферахъ.

Сзади него, въ углу, у каминна, помѣстился газетный критикъ, Кряковъ, котораго привелъ, согласно обѣщанію, племянникъ хозяина. Онъ былъ средняго роста, съ темнорусой густой бородой, въ которой пряталась вся нижняя часть лица и отчасти носъ. Одѣтъ онъ былъ въ коротенькомъ пиджакѣ и въ свѣтлыхъ брюкахъ, но лѣтнему. Онъ жалъ въ рукахъ сѣрую, мягкую шляпу и, повидимому, не зналъ, что съ собой дѣлать. Онъ укрывался въ тѣни угла, куда его привелъ студентъ, представивъ сначала дядѣ. — «Сиди тутъ: я помогу дядѣ принимать гостей, потомъ приду къ тебѣ!» сказалъ онъ. — «Смотри не падай, а то я удеру!» отвѣчалъ тотъ.

И онъ сталъ смотрѣть на cadaго гостя, на самаго хозяина, на автора, на все окружающее, задѣлалъ ногою за щипцы, которые гремѣли о рѣшетку каминна, и, кажется, не разъ хотѣлъ встать и въ самомъ дѣлѣ уйти; но все притихло, началось чтеніе — и онъ утѣлся.

Черезъ четверть часа послѣ начала чтенія, явились еще три слушателя, двое военныхъ молодыхъ людей и третій — статскій. Первые два осторожно несли сабли въ рубцахъ — и всѣ трое, à pas de loup, подкрались къ кружку, взяли три стула, безъ шума поставили ихъ на коверъ и тихо опустились на нихъ, за спиною автора.

На нихъ никто не обратилъ вниманія, только хозяйинъ дома ласково погрозилъ имъ пальцемъ, да княжна Тецкая бросила быстрый взглядъ на статскаго. Онъ поклонился, больше глазами, но она не повторила своего взгляда.

Романъ начался съ описанія блестящаго бала, на которомъ являются два главныхъ лица романа, или герои и героиня. Онъ — графъ, она — княгиня. Она блестящая звѣзда большаго свѣта, по красотѣ, изяществу, уму. Онъ — красивый, ловкій и тоже блестящій молодой человекъ, офицеръ одного изъ первыхъ гвардейскихъ полковъ.

Онъ, подвѣсивъ шапку на вѣшалку, сѣлъ въ кресло и взглянулъ на часы. Часъ шестой. Онъ не знаетъ, куда идти. Не хочется ему возвращаться домой. Тамъ его ждутъ жена и дѣти. Но что сказать имъ? Какъ объяснить имъ то, что случилось? Онъ чувствуетъ, что долженъ имъ сказать правду, но боится, что они не поймутъ его. Онъ сидитъ такъ долго, пока не слышитъ шаговъ. Это жена идетъ изъ кухни. Она спрашиваетъ, почему онъ еще не спитъ. Онъ говоритъ ей, что у него болитъ голова. Она предлагаетъ ему выпить чаю. Онъ отказывается. Она уходитъ. Онъ остается одинъ. Онъ беретъ книгу съ полки и пытается читать, но не можетъ сосредоточиться. Онъ бросаетъ книгу и ложится на кровать. Онъ закрылъ глаза, но не можетъ уснуть. Мысли продолжаютъ кружить его голову.

— Я не выдаю васъ цѣлую личность—и вотъ при-
емъ! тихо упрекнулъ онъ, подходя къ ней, когда она
была одна.

— А я видѣла васъ вчера, сухо отозвалась она, не глядя на него.

— Гдѣ? когда?

— Я проѣзжала по мосту, черезъ Фонтанку, и издали видѣла, какъ вы гуляли по набережной... съ дамою кажется... да?

— Да... правда... зацпнясь сказа.ть онъ.

— Кто эта дама? не секретъ? небрежно спросила она, обмахиваясь вѣеромъ.

Онъ не вдругъ отвѣчалъ, ему и не хотѣлось отвѣчать, но дѣлать было нечего.

— Это... это... m-me Armand... французская артистка...

— А! холодно сдѣлала она и пристально поглядѣла на него.

— Я встрѣтилъ ее нечаянно и прошелся съ нею...

— Я не требую объясненій и подробностей! сухо перебила она и отошла.

Онъ слѣдилъ, какъ она, поговоривъ съ тѣмъ, съ другимъ, подошла къ дѣвицѣ Лидіи N. и сѣла подлѣ нея.

— Я вчера заѣзжала къ вамъ, chère Lydie, около трехъ часовъ, но васъ не было; гдѣ вы были? спросила она.

— Да, мнѣ маманъ сказывала; я очень жалѣла... Мнѣ необходимо было выѣхать... отвѣчала Лидія, но не сказала куда.

— Мнѣ показалось, что я васъ видѣла на улицѣ и я заѣхала узнать, не ошиблась ли я?

Она взглянула на Лидію и видѣла, что та смутилась. И княгиня сама измѣнилась въ лицѣ.

«Mon Dieu!» воскликнула каждая изъ нихъ про себя.

«Ужели она замѣтила!» подумала Лидія.

«Это была она!» подумала княгиня.

Валъ былъ къ концу, княгиня тронулась съ мѣста и направилась къ выходу; графъ предупредилъ ее. Онъ подаль ей руку.

— А demain... n'est-ce pas? Puis-je vous suivre! бормоталъ онъ.

Она не взяла руки.

— Vous croyez vous adresser à Lydie N. peut-etre?

сказала она:—vous vous trompez; la voilà!—Она указала вдаль вѣеромъ, гдѣ сидѣла Lucia.—Restez auprès d'elle. — Général! donnez moi votre bras! обратилась она къ проходившему мимо генералу и пошла подъ руку съ нимъ по лѣстницѣ, не бросивъ на героя взгляда.

Она, оцѣпившись на мѣстѣ, потянула за собою, и, медленно вору-
 тилась въ залу. Она была высокая, стройная, блондинка, прелестная, граціоз-
 ная, съ умными, живыми глазами, и со вкусом одѣтая.

Она сказала ей пристально и она нахмурилась.

Глаза ее ди-
ное. Взглядъ ея
чемъ не остано-
Она была задум-
вліяніемъ обвѣ-
слыхалъ этого рече-
не добился бы ключа къ намеку княгини.

Постоявъ съ минуту передъ нею, графъ пошелъ къ выходу и на лѣстницѣ столкнулся, съ адъютантомъ, барономъ В., который вертѣлся около и видѣлъ сцену прощанія съ нѣмъ княгини: какъ она не приняла руки графа и пошла съ генераломъ. Баронъ бросился за нею и, проводивъ ее вмѣстѣ съ генераломъ до кареты, возвращался на балъ. Онъ съ пропією взглянулъ на графа. Онъ былъ равнодушенъ къ княгини и терѣтъ не могъ графа, какъ предпочтеннаго соперника. Графъ понималъ его положеніе и прощалъ ему, т. е. былъ равнодушенъ къ его ненависти. Но тотъ, какъ шекспировскій Яго, искалъ случая мстить ему.

Между тѣмъ, графъ, мучимый холодною княгини, написалъ ей письмо, въ которомъ объяснилъ, какъ онъ, наканунѣ бала, встрѣтилъ м-ме Armand, выходящую изъ одного дома и не нашедшую своей кареты. Онъ вышелъ изъ саней и пошелъ съ нею пѣшкомъ по набережной Фонтанки до Невскаго проспекта, гдѣ они и разстались. Онъ предложилъ ей свои сани и она уѣхала. Онъ прибавилъ, что эта м-ме Armand известна всей *jeunesse dorée* Петербурга, что она состоитъ въ тѣсной зависимости отъ одного известнаго лица, что весь городъ это знаетъ и что подозрѣвать его было бы недостойно ни княгини, ни его собственнаго характера, и такъ далѣе.

Но онъ не прибавилъ, какъ онъ весело болталъ съ француженкою, наклонялся къ ней, шутилъ, смѣялся, велъ съ нею живой, маскарадный разговоръ.

А княгиня видѣла это. Съѣхавъ съ моста, она велѣла кучеру остановиться и пристально слѣдила за ихъ прогулкою. Она видѣла ихъ сзади и не могла разглядѣть лицо дамы; она видѣла только ея фигуру и ростъ — все это было поразительно похоже на фигуру и ростъ Лиди, особенно двѣ длинныя булги были точь-въ-точь такія, какъ у той; и цвѣтъ такой же, и такъ же выпущенныя изъ подъ шлпки назадъ, опѣ скользили по ея плечамъ. Остальные признаки подсказало воображеніе, т. е. ревность. Княгиня нашла похожую и походку дамы, и такую же соболью шубку, какъ у Лиди, и все.

Здѣсь авторъ романа вошелъ въ тонкій психологическій анализъ ревности: какъ эта послѣдняя наблюдаетъ всѣ мелкіе признаки, сама создаетъ многіе, группируетъ ихъ, и творить адъ въ душѣ своей жертвы.

сказала она:—vous vous trompez; la voilà!—Она указала вдали вѣеромъ, гдѣ сидѣла India.—Restez auprès d'elle. — Général! donnez moi votre bras! обратилась она къ проходившему мимо генералу и пошла подъ руку съ нимъ по лѣстницѣ, не бросивъ на героя взгляда.

Онъ оцѣнивалъ на мѣстѣ, потомъ медленно воротился въ залу. Онъ посмотрѣлъ на India, прелестную молодую блондинку, въ цвѣтѣ лѣтъ, стройную, граціозную, съ умиными глазами, просто и со вкусомъ одѣтую.

Онъ сказалъ ей какую-то банальную фразу и глядѣлъ ей пристально въ глаза, въ надеждѣ, но объяснить ли она намекъ княгини.

Глаза ея дѣйствительно высказывали что-то особенное. Взглядъ ея блуждалъ разсѣянно кругомъ, ни на чемъ не останавливался; очевидно мысль ея была не тутъ. Она была задумчива, почти печальна, вѣроятно подъ вліяніемъ бѣлаго разговора съ княгиней. Но графъ не слышалъ этого разговора, да если бы и слышалъ, то все не добился бы ключа къ намеку княгини.

Постоявъ съ минуту передъ нею, графъ пошелъ къ выходу и на лѣстницѣ столкнулся, съ адъютантомъ, барономъ В., который вертѣлся около и видѣлъ сцену прощанія съ нимъ княгини: какъ она не приняла руки графа и пошла съ генераломъ. Баронъ бросился за нею и, проводивъ ее вмѣстѣ съ генераломъ до кареты, возвращался на балъ. Онъ съ пропіею взглянулъ на графа. Онъ былъ равнодушенъ къ княгинѣ и терпѣлъ не могъ графа, какъ предпочтеннаго соперника. Графъ понималъ его положеніе и прощалъ ему, т. е. былъ равнодушенъ къ его ненависти. Но тотъ, какъ шекспировскій Яго, искалъ случая мстить ему.

глазахъ ея сверкало какое-то красное пламя, внутри жгло.

«А отчего она смутилась, когда я намекнула, что видѣла ее? Отчего не договорила, гдѣ была?» терзала она себя вопросами... «Да, это была она! А Paul говорить... нѣтъ, какой онъ Paul: c'est un traître de la plus pire espèce!» казнила она его про себя: — «онъ вздумалъ увѣрить, что это ш-те Armand! Онъ съ нею и не пошелъ бы: онъ презираетъ этихъ....» Она не сказала эпитета.

Она кляла себя за то, что не бросилась вслѣдъ гудящей парѣ, что не остановила графа, не взглянула вблизи на женщину, а бросилась въ домъ Инди. «Теперь я знала бы все!»

Она не думала, даже не вѣрила, чтобы свиданья графа съ Индией, заходили далеко, чтобы въ нихъ скрывалось что нибудь похожее на то, что было между ею самою и графомъ... Нѣтъ, по она видѣла въ этой нѣжности графа къ Инди зарю — не пылкой страсти, а молодой, свѣжей — такъ сказать — законной любви, той любви, которая охватываетъ всего человѣка и наполняетъ тепломъ всю его жизнь. И она уступитъ, когда сама только что покорила этого рыцаря чести, мужской красоты, какой-то силы души и характера — и отдастъ его другой, едва расцвѣтшей, еще не начавшей жить!

«У той, разсуждала она, — жизнь вся впереди: ее ждетъ своя доля счастья! А она вдругъ отнимаетъ его у нея, изломаетъ ея страсть и вмѣстѣ съ нею и ее самою, кинигиню: потому что ей больше ничего не останется въ жизни... Нѣтъ, нѣтъ! А онъ! Заплатить ей измѣной за все... какая низость! какая низость!»

Она вздрагивала, ворочалась, послѣ бала, въ постели и уснула только подѣ утро.

Послѣ полудня ей доложили, что пріѣхалъ баронъ В., адъютантъ. Она, давно зная его чувства къ ней и виды на нее, избѣгала его и принимала неохотно и рѣдко. А теперь велѣла просить.

Она ужаснулась, взглянула на себя въ зеркало, и старалась пудрою скрыть свои слѣды бессонной ночи.

Баронъ пріѣхалъ. Онъ вчера уловилъ кое-какіе симптомы, замѣтилъ сцену между Лидіей N, у которой онъ развѣдалъ, о чемъ она вѣдала, что князь заѣзжалъ къ ней. Но баронъ принялъ за благо и поѣхалъ къ княгинѣ выпытать что можно.

Она уже шевелилась мысль о возможности разрыва графа съ княгиней; надо помочь этому, довести до конца—и... и... Словомъ, у него заиграло въ головѣ.

Ему не стоило труда узнать въ чемъ дѣло. Княгиня, послѣ пустыхъ фразъ о вчерашнемъ балѣ, сама спросила: знаетъ ли онъ т-же Агманд? Онъ конечно сказалъ, что знаетъ ее, какъ и многію другіе, т. е. весь кругъ золотой молодежи; что онъ бываетъ иногда у нея; что она очень живая, умная, любезная женщина, и наконецъ, въ свою очередь, спросилъ, почему она такъ интересуется ею.

— Такъ! сказала княгиня:—я видѣла ее на улицѣ, спросила, кто это, и мнѣ назвали ее... больше ничего.

Баронъ ничего не сказалъ. У него уже была пить въ рукахъ — и онъ, простившись съ княгиней, поѣхалъ прямо къ м-ше Armand—постучаться тамъ, выяснить эту исторію и на ней основать свой планъ дѣйствія.

Онъ безъ труда узналъ отъ м-ше Armand, что она недавно встрѣтилась съ графомъ, прошла съ нимъ по набережной Фонтанки и доѣхала въ его саняхъ домой.

Барону стало ясно все. Чтò онъ далѣе говорилъ французскѣ, осталось неизвѣстно; но только когда, послѣ этого, княгиня осторожно, стороной, черезъ преданныхъ ей людей, изъ третьихъ рукъ, стала узнавать о прогулкѣ съ нею графа, м-ше Armand jurait ses grands dieux, что она съ нимъ не встрѣчалась и не гуляла.

Отсюда начинается сложная драматическая путаница романа. Прежде всего значительно огласились въ свѣтѣ, до тѣхъ поръ только подозрѣваемые отношенія княгини къ графу. Потомъ прошелъ глухой, неизвѣстно кѣмъ пущенный изюбдишка (конечно барономъ) шепотъ о какой-то прогулкѣ Лидіи съ графомъ наединѣ. На нее стали смотрѣть съ страннымъ любопытствомъ, которое она относилла вовсе не къ прогулкѣ съ графомъ, чего и подозрѣвать не могла, а къ тому, что узнали, какъ она предполагала, одинъ ея секретъ.

А секретъ ея состоялъ въ слѣдующемъ. У нея была самая любимая ея, по институту, подруга и лучший по уму и симпатичнымъ качествамъ души и сердца другъ, Лиза Ф. Онѣ вмѣстѣ росли, учились и вмѣстѣ вступили въ свѣтъ. Лиза Ф., по выходѣ изъ института, жила въ домѣ Лидіи, потому что у ней не было состоянія. Мать ея, вдова, сама жила въ деревнѣ у родной сестры, и

предоставила дочери свою пенсію, тысячу двести рублей. Обѣ онѣ не могли содержать себя эти средствами въ Петербургѣ и Лиза пріютилась въ семействѣ .Індіи X, какъ ея лучший другъ, какъ сестра.

Такъ ихъ признавалъ и свѣтъ; онѣ два зимнихъ сезона являлись неразлучно всюду. На третій сезонъ .Індіа вдругъ осталась одна. Лиза Ф. уѣзжала на лѣто къ матери и не возвращалась изъ деревни.

Такъ объявлено было въ кругу всѣхъ знакомыхъ—и только. Ни .Індіа, ни ея отецъ и мать болѣе не распространялись объ этомъ. Это породило нѣкоторое сомнѣніе; стали наводить справки и узнали, что въ деревнѣ, у тетки, съ .Лизой разыгрался какой-то романъ, кончившійся потомъ такими послѣдствіями, за которыя тетка не захотѣла держать ее у себя, и что Лиза вернулась въ Петербургъ и живетъ съ матерью гдѣ-то въ глухомъ уединеніи, на маленькой квартирѣ, въ большой нуждѣ.

Это всѣ узнали, судили, ржали и казнили .Лизу безпощаднымъ приговоромъ. () Лизѣ перестали говорить въ свѣтѣ; нѣкогда не произносили имени ея и въ домѣ .Індіи. Всѣ какъ будто условились забыть ее и наконецъ забыли. Не могла забыть въ ней лучшаго, единственнаго друга только .Індіа—и не забыла. Она не сочла себя вправе быть ея судьей, и не только сохранила, но удвоила къ ней свою нѣжность, окружила ее заботами, утѣшеніями, помощью—всѣмъ, въ чемъ такъ нуждалась теперь бѣдная, обманутая любовью, выброшенная изъ привилегированной среды женщина. Дружба не обманула ее. .Індіа объявила отцу и матери, что она не покинетъ друга въ бѣдѣ и нуждѣ, когда именно необходимъ

Отецъ обнялъ ее, мать заплакала: оба предоставили дѣлать ей что говорить ей сердце; они сами любили и жалѣли эту Лизу, но умоляли только дѣлать это втайнѣ, поберечь себя и не оскорблять законовъ свѣта.

Лидія, разъ въ недѣлю, посвящала свободный вечеръ или утро, иногда цѣлый день, своей подругѣ и ѣздила въ пашенной каретѣ, по вечерамъ въ сопровожденіи вѣрной и скромной горничной, а днемъ—одна, въ отдаленную улицу, въ маленькую квартиру, къ своей милой и дорогой Лизѣ Ф.

Наканунѣ бала, она провела тамъ утро, и вотъ причина ея смущенія, когда княгиня сказала, что видѣла ее гдѣ-то на улицѣ.

Оскорбленная княгиня не принимала графа и не отдавала на его письма. Только на одномъ изъ нихъ, въ извѣщенномъ нераспечатанномъ, она написала карандашомъ: *vous avez menti. Adieu!*. Онъ былъ въ ужасѣ. Свѣтскій судъ не пощадилъ ее; его толки дошли до нея и она, съ первыми весенними лучами, уѣхала въ свое родовое имѣніе, заперлась, съ компаніонкой, въ замкѣ—и никуда не выѣзжала.

Лидія тоже не выдержала косыхъ взглядовъ, улыбокъ, шепота... она занемогла. Отецъ и мать ее были въ отчаяніи и наконецъ отправили ее, съ одной старой теткой, за границу. Свѣтъ не узналъ настоящаго ее секретъ, а только привязалъ, «какъ бумажку къ ея шлейфу», по выраженію автора романа, имя графа къ ее имени, пока еще не зная, что говорить далѣе.

Графъ тоже не вынесъ пытки. Онъ рѣшился на смѣлый шагъ, взялъ отпускъ за границу, переодѣлся въ статское платье, пробрался въ имѣніе графини, посе-

лился въ деревнѣ и бродилъ каждый день въ сумерки, съ ружьемъ на плечѣ, около парка княгини. Наконецъ, онъ увидѣлъ ее, сидящую въ глубокой задумчивости на скамьѣ, подъ вѣсомъ; возлѣ на травѣ валялась книга. Онъ тихо подошелъ кустами сзади: на него вдругъ зажала ее собачка, но узнавъ его, начала радостно визжать и ласкаться къ нему.

— Кто тутъ? съ испугомъ спросила княгиня.

— Я! сказалъ онъ, упавъ на траву и прижимая ее руки къ губамъ.—Простите!

— Вы... ты... вы! оторопѣвъ произнесла княгиня и залилась слезами... Отъ чего? (Отъ негодованія? Отъ оскорбленной гордости? Нѣтъ, отъ радости, отъ счастья!

— Я ждала тебя, я знала, что ты будешь! шептала она, отбѣгая на его поцѣлуй.—Еслибъ ты не пріѣхалъ, я не простила бы тебѣ...

— О рай! о небо! твердилъ онъ и т. д., и т. д.

Они провели тайкомъ въ этой глуши такое лѣто, какого, по словамъ автора, еще не было ни у нея, ни у него въ жизни. Она даже не потребовала у него объясненій эпизода прогулки съ m-me Argmand и зажала ему рукою ротъ, когда онъ заикнулся объ этомъ.

— Я здѣсь, наединѣ съ собою, сама добралась до истины, и только... женскій стыдъ мѣшалъ мнѣ написать тебѣ. Я знала, что ты пріѣдешь!

При этомъ онъ надалъ на коверъ или на траву и катался, вмѣстѣ съ собаченкой, у ся ногъ.

Онъ воротился въ Петербургъ, гдѣ объяснилъ, что ѣздилъ устроить дѣла въ пѣтшин, и отправился за границу; а княгиня заперлась опять въ своемъ замкѣ.

Въ романѣ, кромѣ самого героя, героини и дѣвицы

Отецъ обнялъ ее, мать заплакала: оба предоставили дѣлать ей что говорить ей сердце; они сами любили и жалѣли эту Лизу, но умоляли только дѣлать это тайнѣ, поберечь себя и не оскорблять законовъ свѣта.

Лидія, разъ въ недѣлю, посвящала свободный вечеръ или утро, иногда цѣлый день, своей подругѣ и ѣздила въ наемной каретѣ, но вечерамъ въ сопровожденіи вѣрной и скромной горничной, а днемъ—одна, въ отдаленную улицу, въ маленькую квартиру, къ своей милой и дорогой Лизѣ Ф.

Наканунѣ бала, она провела тамъ утро, и вотъ причина ея смущенія, когда княгиня сказала, что видѣла ее гдѣ-то на улицѣ.

Оскорбленная княгиня не принимала графа и не отвѣчала на его письма. Только на одномъ изъ нихъ, возвращенномъ нераспечатаннымъ, она написала карандашемъ: *vous avez menti. Adieu!*. Онъ былъ въ ужасѣ. Свѣтскій судъ не пощадилъ ее; его толки дошли до нея и она, съ первыми несепными лучами, уѣхала въ свое родовое имѣніе, заперлась, съ компаніонкой, въ замкѣ—и нигуда не выѣзжала.

Лидія тоже не выдержала косыхъ взглядовъ, улыбокъ, шепота... она заперлась. Отецъ и мать ее были въ отчаяніи и наконецъ отправили ее, съ одной старой теткой, за границу. Свѣтъ не узналъ настоящаго ее секрета, а только привязалъ, «какъ бумажку къ ея шлейфу», по выраженію автора романа, имя графа къ ее имени, пока еще не зная, что говорить далѣе.

Графъ тоже не вынесъ пытки. Онъ рѣшился на смѣлый шагъ, взялъ отпускъ за границу, переодѣлся въ статское платье, пробрался въ имѣніе графини, посе-

на сохраненіе «ея драгоценныхъ дней». Но когда, съ прїѣздомъ графа, ея «меланхолія» мгновенно прекратилась, княгиня перестала принимать врача, и онъ, въ свою очередь, какъ графъ, сталъ бродить съ ружьемъ около парка — но конечно безуспѣшно.

Изъ простаго званія — въ романѣ не было ничего. Авторъ постоянно держался на высотѣ только одного высшаго круга интанія.

Княгиня и князь разлѣтались за границу — и соединились въ какомъ-то уединенномъ уголкѣ.

За границей онъ бродитъ, частью на воле, частью въ Германіи, Франціи и Италіи. Романъ и пріемы видовъ природы, и цѣль любви, тонкихъ замѣтокъ о про-

Герой и героиня — страстью, оба, накопивъ, смутно на взаимнаго положенія. Кромѣ того, княгиня замѣчаетъ — сначала усталость въ своемъ другѣ, потомъ и сжиганію его къ Лидіи, которую онъ встрѣтилъ гдѣ-то въ Парижѣ, а потомъ въ Швейцаріи, съ теткой.

Графъ между тѣмъ давно просрочилъ свой отпускъ и былъ уволенъ отъ службы. Онъ былъ до того поглощенъ страстью къ княгинѣ, что не исполнилъ даже обычныхъ формальностей, не попросилъ отсрочки. Онъ и не хотѣлъ дѣлать этого; законныхъ причинъ у него не было: онъ былъ здоровъ, никакія дѣла не удерживали его за границей — а лгать, выдумывать предлоги, было не въ его характерѣ. У него былъ предлогъ, и самый уважительный, по законамъ чести — это долгъ принести въ

Лидіи, большія роли даны еще отцу ея, умному администратору, потомъ отставному генералу, съ твердымъ, упрямымъ и нѣсколько жесткимъ характеромъ, и, наконецъ, общему другу того и другаго. — Здравомыслу всего этого круга, пожилому князю.

Вся группа представителей старыхъ поколѣній въ романѣ исполнена житейской мудрости, высокихъ правдъ чести, рыцарскаго благородства.

Въ молодомъ, ближайшемъ къ нимъ поколѣніи — дѣтей и племянниковъ ихъ, еще молодыхъ офицерахъ, замѣтно отражаются родовыя черты характера старшихъ, ихъ образа мысли и традиціонныхъ убѣжденій. Обѣ линіи представляютъ собою два параллельныя поколѣнія извѣстнаго, такъ называемаго, высшаго круга.

Преобладающій элементъ въ романѣ — военный. Гражданскій занимаетъ второстепенное положеніе.

Между прочимъ, цѣлая глава посвящена описанію маневровъ войскъ, между Гатчиною, Краснымъ Селомъ и Павловскомъ. Мѣстами приводятся черты образа жизни, нравовъ, быта военныхъ высшаго круга.

Женскій кругъ тоже богатъ персоналомъ. На первомъ планѣ, кромѣ молодыхъ героинь — княгини и Лидіи, являются нѣсколько свѣтскихъ матронъ, двѣ княгини, одна — важная, добродѣтельная, другая — суевѣрная и горделивая, потомъ мать дѣвицы, мать героя и другія.

Между дѣйствующими лицами, почти нѣтъ лицъ изъ другихъ, низшихъ сферъ; только въ деревнѣ явился неожиданный поклонникъ княгини — уѣздый врачъ. Видя ея «меланхоличю», какъ онъ говорилъ, онъ сталъ увѣрять ее, что послѣдняя можетъ повести къ серьезной болѣзни и что ему судьбою предназначено посвятить всю свою жизнь

- И послѣ не скажу—зачѣмъ?
- Развѣ вы не знаете, какъ я дѣлю ваше житіе.
- У меня нѣтъ житія, а только впечатлѣніе.
- Скажите ваше впечатлѣніе.
- Не умѣю, его надо угадать.
- Въ глазахъ сфинкса трудно угадывать, развѣ нежизнѣ улыбка ваша: она у васъ добрѣе глазъ...
- Надѣюсь, не добрѣе улыбки Иллиной; посмотрите, она такъ и сіяетъ, такъ и горитъ истерическимъ сияваніемъ свое впечатлѣніе!

Она похалъ плечами и подошла къ Чешиску.

— Вы что скажете, Дмитрій Ивановичъ? спросилъ онъ старика, въ раздумьи почесавшаго головой.

— Ничего — я все еще слушаю! отвѣчалъ тотъ коротко.

Судачники, стоя группами, говорили совѣтъ о другомъ. Иные пошли къ буфету сирокладиться, кто съелтереккой подош съ шампанскимъ, кто престо шампанскимъ; другіе ушли въ кабинетъ хозяина, выкурить напирокку.

Ожиданій статскій вѣнча, прообразя къ княгинѣ Гецкой и поцѣловалъ у нея руку, съ словами: *Ma tante!*

— Ад! закричала та и киднулася.

Она выразительно улыбнулася князю.

— *En bien?* спросила она чуть слышно.

— *C'est fait, ma cousine!*

— *Où donc?*

— Тамъ, въ мѣждарекѣ, въ кашеѣ пальто.

— *Merci!*

Между тѣмъ принесла чай, морженое, выфѣтты. Григорій Петровичъ предлагалъ автору — орнаду, живо-

паду, спросилъ, не хочетъ ли онъ шампанскаго въ зельтерскую воду, наконецъ, принесъ какой-то флаконъ съ утоляющимъ жажду леденками, купленный въ англійскомъ магазинѣ.

— Въ Лондонѣ, въ парламентѣ, у всякаго оратора неизмѣнно есть въ карманѣ такой флаконъ! объяснилъ онъ. — И буду возить съ собой въ совѣтъ!

— А ты собираешься говорить тамъ рѣчи, какъ въ парламентѣ? спросилъ его пріятель, толстый Суховъ, — и оба засмѣялись.

— Лучше вози въ карбъ, въ субботу, послѣ кулебяки прохлаждаться! прибавилъ онъ.

Урановъ успокоился только тогда, когда авторъ выпилъ вина съ водой и предложилъ читать дагбѣ, прибавивъ: «если не заскучило!»

— Пусти меня, или пойдешь въ тебѣ на-верхъ! шептаетъ газетный критикъ Григоръ, восторгъ на звѣзды мужчинъ: — еще пожалуй, проврешься — вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь! — Онъ указалъ на сапожниковъ стариковъ. Студентъ засмѣялся.

— Вадоръ какой! сказалъ онъ. — Пойдемъ лучше въ буфетъ.

Все опять усѣлисъ. Лакен обирали пустыя чашки, блюдечки отъ мороженаго. Григорій Петровичъ поставилъ хрустальныя вазы съ конфетами на столикахъ передъ дамами, а передъ авторомъ усѣлъ таки положить флаконъ съ прохладительными леденками.

Фертовъ облетѣлъ опять всѣхъ слушателей.

— Comme c'est beau! On se croirait transporté à l'époque d'Homère! говорилъ онъ, то тому, то другому.

— C'est joli! вторила ему Алина.

— C'est peu dire joli — c'est sublime! кинулъ онъ ей въ отвѣтъ и нагнулся было къ графу Пестову, чтобы сказать что-нибудь въ этомъ родѣ. Но авторъ бросилъ на него внимательный взглядъ, и онъ присмирѣлъ.

Кромѣ Ченкева, еще двое гостей не ставали съ мѣсты: это пожилыи белетристы, отъ дѣли должно быть. Онъ только вытянуть немного ноги впередъ, будто потягивался. Да Иванъ Ивановичъ Калыановъ, сослуживецъ автора, точно застылъ въ своей позѣ. Даже толстый Суховъ, и тотъ уходилъ «освѣжиться» и принималъ стаканъ зельтерской воды съ шампанскимъ — отъ одышки, говорилъ онъ.

Въ буфетѣ хозяинъ учтиво предложилъ и Кракову «освѣжиться».

— Не вредить! сказали онъ и вынулъ стаканъ шампанскаго.

Калыановъ просто не зналъ, какъ ему быть. Надежда на мистификацію рушилась — онъ видѣлъ это ясно: ни пересмотра проектовъ, ни дополнительныхъ штатовъ, никакихъ смѣтъ, ничего такого въ романѣ не было. А все что было — ему было чуждо и даже противно, въ родѣ какой-то дѣтской забавы.

Сдавая вступительный экзаменъ въ университетъ, по факультету камеральныхъ наукъ, между прочимъ и изъ словесности, онъ запомнилъ имена Вальтеръ-Скота, Бальзака, у насъ — Загоскина и Лажечникова. Поодиночкѣ, въ журналахъ, онъ встрѣчалъ имена Жоржъ Занда, Виктора Гюго, помнилъ, какого шума надѣлала «Каништанская дочка» Пушкина, загѣмъ романы Лажечникова, Лермонтова и Гоголя. Но онъ, ставъ на практическую точку служебныхъ занятій, уже ничего этого послѣ не

читалъ — и на романъ смотрѣлъ... просто никакъ не смотрѣлъ. Онъ считалъ это женскимъ или, какъ онъ выражался, бабьимъ дѣломъ, и нахмурился смотрѣлъ, какъ у его сестры, старой дѣвушки, дѣлалъ уголъ, точно дровъ, навалено было русскихъ и французскихъ романовъ.

А теперь вдругъ зовутъ его слушать романъ, — да еще требуютъ критики!

«Что я ему скажу?» раздумывалъ онъ про себя. — «А онъ непременно спроситъ — вонъ, то и дѣло поглядывать на меня! Сказать коротко, «никуда не годится», это было бы всего удобнѣе и искреннѣе съ моей стороны — да нельзя, еслибъ и хватило духу; надо объяснить, почему не годится. Сказать «очень хорошо», — я рискнулъ бы и на это, а какъ спросить: что именно и почему хорошо! И когда романъ бываетъ хорошъ, когда не хорошъ — чортъ знаетъ! Итъ, не одинъ чортъ: вотъ этотъ журналистъ, сосѣдъ мой, знаетъ; вонъ и тотъ, лѣнясь смотреть — тоже знаетъ; и старикъ Чешневъ сидитъ, точно всенощную слушаетъ — и тотъ видно, что въ своей тарелкѣ!»

Онъ съ завистью поглядывалъ на того, на другого изъ слушателей, стараясь уловить, по выраженію ихъ лицъ, что имъ нравится, что нѣтъ, чтобы заготовить по этому себѣ какой-нибудь запасъ заемныхъ впечатлѣній, и продолжать туго и напряженно вслушиваться.

Авторъ между тѣмъ выводилъ лицо за лицомъ, рисовалъ рядъ тонкихъ сценъ, пейзажей; чередою текли благородныя, возвышенныя мысли, блистали искры остроумія, слышались тоны нѣжныхъ чувствъ, или являлись штрихи наблюдательности. Все это свободно вязалось между со-

бою, какъ будто разыгрывалось по нотамъ, и послушно выражало главныя задачи или тезисы автора.

Герои были представители принциповъ чести, человеческого достоинства и высокой степени умственного и моральнаго развитія — до вѣршинной выработки вѣжливости, до умения выражать въ каждомъ шагѣ и словѣ уваженіе къ себѣ и другимъ, до изящныхъ, простыхъ и естественныхъ манеръ, до языка и всѣхъ формъ общенія.

Это была чистая сфера джентльменовъ, салонъ жизни, гдѣ скорби и радости, заботы, труды и удовольствія, мысли, знаніе, искусства, даже самыя страсти, подчинялись строгому регулятору традиціонной школы вѣршинной жизни, доступной въ европейскихъ обществахъ ограниченному меньшинству.

Ничего вульгарнаго, никакой черновой, будничной стороны людскаго быта не входило въ рамки этой жизни, гдѣ все было очищено, убрано, освящено и украшено, какъ въ свѣтлыхъ и изящныхъ залахъ богатаго дома. Прихожія, кухни, дворъ, со всею внѣшнею естественностью, — ничего этого не проникало сюда; сіяли одни чистые верхи жизни, какъ свѣтловая вершинка Альпъ.

Авторъ читалъ слѣдующія за первыми главы — одушевленіе, гости слушали напряженіе. Всѣхъ охватывалъ интересъ широко раздвинувагося въ рамкахъ романа.

Только газетный критикъ Кряковъ становился все сердитѣе, но мѣрѣ того, какъ развивался ходъ романа, да еще толстый Суховъ вздыхалъ вслухъ отъ истеріи. Среди одной сцены, происходившей гдѣ-то въ Италіи, онъ даже сказалъ въ полголоса своему сосѣду генералу: «завтра дождь будетъ!»

— А что? спросил тотъ.

— Мозоли поютъ. У тебя есть мозоли?

Тотъ отрицательно покачалъ головой.

— Мозоли бываютъ только у учителей да почтальоновъ, прибавляя онъ почти обидчиво.

На нихъ разомъ взглянули и авторъ, и хозяйки; они смолкли и Суховъ началъ громко дышать носомъ.

Княгиня Тецкая, когда читались сцены свиданія молодыхъ людей наединѣ — вздрагивала, а при описаніи одной дуэли червно ахнула.

Княжна разъ шесть напускала на лицо непониманіе невниманности.

— Mais elle est prude, ta cousine, не можетъ переносить такихъ цѣломудренныхъ сценъ! тихо говорилъ офицеръ статскому, поймавъ раза два такое выраженіе на ея лицѣ.

— C'est vrai! c'est pour cela que je lui fournis les volumes de Zola. Il y en a un — dans ce moment qui l'attend dans l'antichambre: «La Curée». Elle le supporte parfaitement bien...

Оба старались подавить смѣхъ. Хозяинъ издали погрозилъ имъ.

Авторъ все чаще и чаще обращался взглядомъ къ графинѣ Спирявской, стараясь уловить ея впечатлѣніе.

При слабыхъ мѣстахъ, длиннотахъ, глаза ея разсѣянно оглядывали стѣны, останавливались на дочери, или сморгали внизъ, на коверъ. Не то — такъ она машинально доставала конфетку изъ вазы и подавала дочери.

Напротивъ, при живыхъ сценахъ, она не сводила глазъ съ автора, а когда появлялись лучи поэзии, тонкіе штрихи наблюдательности, и сверкала, неожиданностью

или смѣлость оборота, мысль—взглядъ ее дѣлался мягковъ, на губахъ бродила свойственная ей загадочная улыбка. И авторъ читалъ тогда увѣреннѣе и оживленнѣе. Когда за то брови ее немного сходились, глаза теряли загадочное выраженіе и улыбка исчезала—онъ бралъ со стола карандашъ и отмѣчалъ на поляхъ NB; это значило—худо. Чешневъ, при такихъ мѣстахъ, тоже—или глубже опускалъ голову, или перекладывалъ одну ногу на другую.

Авторъ мелькомъ замѣчалъ эти критическіе симптомы. Пожилой литераторъ гладилъ себя, при слабыхъ мѣстахъ, по лисой головѣ, какъ будто внутренне одобрялъ себя мыслью, что самъ онъ лучше написалъ бы эти мѣста.

Авторъ читалъ описаніе военныхъ маневровъ. Всѣ замерли въ безмолвіи. Въ стереотипное батальное изображеніе военныхъ рядовъ—авторъ вдохнулъ огонь, далъ душу стройной живой массѣ, и связалъ органически это цѣлое однимъ чувствомъ и одной мыслью. Кроме того онъ нѣсколькими деталями смягчилъ суровость и однообразіе картины.

Графиня Синявская не сводила глазъ съ автора. Чешневъ тоже во все глаза смотрѣлъ на него, очевидно съ одобрительнымъ чувствомъ.

— C'est bien écrit, n'est-ce pas? сказать вдругъ, точно проснувшись и отнявъ руку отъ уха, графъ Петовъ, ница глазами вокругъ, къ кому бы обратиться.

— Très bien écrit! oui, très bien, très bien! энергически подхватили два-три голоса изъ тѣхъ, что находить всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

— Pourquoi n'avez vous pas écrit cela en français?

спросилъ графъ, обращаясь къ автору и приставивъ руку къ уху, чтобъ выслушать отвѣтъ.

— И какъ вѣрно, замѣтилъ офицеръ, — а вѣдь онъ не военный! Откуда онъ знаетъ?

— А! c'est une grande capacité! Une tête, ce qu'on appelle! говорилъ въ полголоса статскій. — Мы къ Борелю отсюда? какъ бы не заперли! шепотомъ прибавилъ онъ.

— Bah! on nous ouvrira! увѣренно замѣтилъ офицеръ.

— Comme c'est joli! говорила Липпа княгиня Тецкой.

— Oui, ch-ar-ma-nt! протяжно отвѣчала княжна, играя перомъ.

— C'est divin! c'est Homère, doublé de Tasse! прибавилъ подскочившій Фертонъ, наклоняясь къ княгинѣ Тецкой. — N'est-ce pas, princesse?

— Охъ! сдѣлала она, вздрогнувъ.

Фертонъ отскочилъ.

— Чортъ знаетъ, что это такое, эти маневры!... казарма! довольно громко ворчалъ въ углу Кряковъ, такъ что нѣкоторые на него оглянулись.

Студентъ потихоньку смѣялся. Редакторъ журнала держалъ себя скромно и не выражалъ ни одобренія, ни порицанія. Профессоръ одобрительно покачивалъ головою. Пріятель Греча и Булгарина, старикъ Красноперовъ, сложилъ руки на брюшкѣ и, повидимому, скучалъ.

Но мѣръ того, какъ чтеніе подвигалось къ концу, Иванъ Ивановичъ Кальяновъ становился покойнѣе; онъ даже повеселѣлъ и смѣялся поглядывая на автора и на присутствующихъ, почти не вслушиваясь въ послѣднія

страницы романа, какъ будто онъ пришелъ въ какому нибудь критическому заключенію.

Въ половинѣ двѣнадцатаго часа авторъ кончилъ, всталъ и наклонилъ слегка голову, благодаря за вниманіе.

Стулья шумно задвигались, всѣ встали, громко аплодируя, громче всѣхъ тѣ, которые меньше всѣхъ слушали, особенно толстый Суховъ—отъ удовольствія, что кончилось.

— У меня ноги затекли! говорилъ онъ пріятелю Греча и Булгарину, потирая икры.

Хозяинъ обратился было съ благодарственными обѣщаніями къ автору, но тотъ съ улыбкою уклонился отъ нихъ.

— Mesdames и messieurs! сказалъ онъ, укладывая тетради въ портфель и передовая его Фертму: — мнѣ поздно становиться въ положеніе начинающаго автора, и я не пишу авторскихъ лапрокъ, а представляю этотъ опытъ пера пріятельскому кругу, просто какъ плодъ моего досуга. Мнѣ давно хотѣлось высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ и взглядовъ на нашу общественную жизнь, на наши дѣла, досуги, даже страсти (въ томъ кругу, какъ вы видите, въ которому я имѣю честь принадлежать), между прочимъ, взглядъ мой и на искусство, на литературу, и на романъ тоже, какъ именно я его понимаю. Кромѣ того, я еще избралъ романъ, какъ форму, въ которой мнѣ легче высказывать, а слушателямъ удобнѣе узнать мои тезисы и мой цѣли. Вотъ точка, съ которой я желалъ бы, чтобы слушатели взглянули на этотъ плодъ моихъ досуговъ! Благодарю еще разъ за вниманіе и терпѣніе!

Рукоплесканія усилились. Все окружили автора; один протягивали руки, прочіе кланялись. Только Кряковъ сердито смотрѣлъ изъ своего угла и на автора, и на гостей.

— Merci! говорилъ графъ Нестовъ автору. — C'est bien écrit!

— Très bien écrit! tout-à-fait bien! подхватили хвалители.

— Vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à côté de J. J. Rousseau.

— Oui, mon prince, je vous l'apporterai...

Авторъ старался пробраться къ графинѣ, которая стояла съ дочерью у своего мѣста и собиралась уѣхать. Молодая дѣвушка съ наивнымъ удивленіемъ смотрѣла на автора, какъ на героя. На щекахъ у нея рѣдѣли два розовыя пятнышка, она отъ волненія сильно сжимала обѣ руки у матери. Мать съ улыбкою смотрѣла на автора. Глаза у нея тоже смѣялись, должно быть благо-склонно, потому что авторъ глядѣлъ на нее съ улыбкою скромнаго торжества. Она молча подала ему руку и онъ молча пожалъ ее.

— Позвольте проводить васъ до кареты, сказалъ онъ.

— Merci, сейчасъ: вотъ она остигнетъ немного, отвѣчала графиня, указывая на дочь. — Посмотрите, какъ она взволнована! Вотъ вамъ живое и непритворное впечатлѣніе! Довольны вы?

— А вы сами что скажете?

Она улыбнулась по своему.

— Впрочемъ, нѣтъ, не говорите, не надо; я уже знаю ваше мнѣніе, прибавилъ онъ:—я его «видѣлъ».

— Запишите это выраженіе въ романъ, замѣтила

она: — «видать мѣнѣе!» Оно характеристично, какъ весь романъ.

Гости стояли толпой. Хозяинъ куда-то исчезъ. Офицеры и статскіи ускорьжили къ Борелю, однако послѣдній успѣлъ напомнить своей кузинѣ, чтобы она не забывала въ швейцарской «La Cigée» Zola, положенной ей въ пальто.

Иванъ Ивановичъ Калыновъ осторожно пробирался къ выходу—еще шагъ и онъ на эстиментъ, какъ вдругъ его кто-то мягкой рукою взялъ за плечо. Онъ издрогнулъ, какъ княгиня Тецкая, и оглянулся. Это былъ авторъ.

— Уходите, не сказавъ ни слова! Нѣтъ, вы не отдалаетесь, говорилъ онъ,-- подождите одну минуту: вотъ меня зоветъ княгиня, а сейчасъ возвращусь.

Онъ подошелъ къ княгинѣ.

— Charmant, charmant! говорила она, выцѣгивая и мигая:-- я очень рада, что вы пришли... Catherine, n'est ce pas?

Дочь отбѣжала условною улыбкою.

— Какъ только, что молодой человекъ, продолжала княгиня съ разстановкою,-- бросилъ службу; онъ испортилъ всю карьеру и огорчилъ мать!

— Видъ это бываетъ, замѣтилъ небрежно авторъ.

— Да, какъ же! вотъ молодой Ступницкій—тоже самое! Дѣлать же онъ не можетъ дурное! Это надо скрывать!

Она издрогнула, а авторъ похлѣ плечами.

— Онъ бы лучше посватался къ другой... какъ ее зовутъ -- Lydia? говорила она. -- Comme elle est gentille, cette petite Lydia! n'est ce pas, Catherine?

— Oui, maman, elle est très bien!

— Онъ жептся на ней потомъ? спросила княгиня.

— Можетъ быть... вѣроятно...

— А какъ же княгиня... что же она? Одна, въ деревнѣ, съ графомъ... Это ужасно! Зачѣмъ вы вывели княгиню: лучше бы простую!

Она сильно вздрогнула. Авторъ сталъ раскланиваться. Attendez donc, еще я хотѣла спросить. Какъ же это Лидія ѣздитъ одна къ этой... потерянной .Изъ... шепотомъ прибавила она, чтобъ не слыхала дочь. — Supprimez cela!

Она охнула и вздрогнула. Авторъ подошелъ къ Калыянову.

— Что же вы скажете: довольны или нѣтъ? спросилъ онъ.

— Прекрасно, отвѣчалъ тотъ, — какое перо!... — Онъ не зналъ какой эпитетъ прибрать. — Только...

— Только — что? пожалуйста не стѣсняйте, если не служба такъ дружба обязываетъ насъ къ откровенности. Что вы замѣтили?

— Вотъ у насъ, смѣлю заговорить Калыяновъ: — сказано, что восточный вѣтеръ нагоняетъ тучи, дождь... а я живу на дачѣ, на Выборгской сторонѣ, такъ сказать, подъ самымъ восточнымъ вѣтромъ, и всегда замѣчалъ, что онъ именно приноситъ ясную погоду. Бывало, въ ненастье, ждешь его, какъ благодати...

Авторъ засмѣялся.

— А когда вы живете на дачѣ? спросилъ онъ.

— Вотъ на дняхъ переѣзжаю, на той недѣлѣ, лишь только подуетъ восточный вѣтеръ! отвѣчалъ смѣясь же Калыяновъ.

— И останетесь тамъ...

— До половины сентября, если вы разрѣшите.

— Нѣтъ, я дамъ вамъ предписаніе остаться, по дѣламъ службы, до января, сказалъ Бебиковъ:—и наблюдать, какую погоду приносить восточный вѣтеръ осенью!

Онъ съ улыбкой глядѣлъ на Кальянова, который въ раздумьи старался припомнить, какова бываетъ погода при этихъ условіяхъ.

— Но я вамъ благодаренъ, прибавилъ авторъ:—что вы даже и на мелочи обратили вниманіе.

— За то все остальное уже безупречно! рискнулъ Кальяновъкнуть велѣдъ уходящему автору, но тотъ, улыбаясь, какъ бомбу, бросилъ ему въ отвѣтъ фразу:

— Мы еще объ этомъ поговоримъ!

«Вотъ тебѣ разъ!» размышлялъ онъ спускаясь съ лѣстницы, — «а я думалъ, что ужъ и отдѣлался! Пстой, пстой!» вспоминалъ онъ, — «у меня еще мелькали какія-то два замѣчанія: одно—ошибка противъ гражданского права, а другое... другое... что, бинъ такое?» И онъ, очень довольный, уѣхалъ домой.

Въ залѣ, слушатели въ полголоса разбирали романъ, стараясь высказать критическій тавтъ другъ другу. Авторъ опять ходилъ съ графиней взадъ и впередъ, ожидая хозяйина, чтобы проститься и уѣхать. Книгиня тоже собиралась уѣхать и укладывала свою работу въ ящики. Дочь накидывала ей мантилью на плечи.

— Et où est Woldemar? вдругъ спросила княгиня, оглядываясь.

— Il est parti, maman.

Княгиня вздрогнула.

— Il ne проводилъ насъ! сказала она,—завтра ему

надо голову вымать; онъ такой же непослушный, какъ этотъ офицеръ, про котораго читали. *N'est-ce pas?*

— Oui, maman!

Старикъ Чешневъ подошелъ къ автору.

— Что скажете, Дмитрій Ивановичъ? спросилъ онъ.

— Скажу, что вы сдѣлали подвигъ. Говорить, какъ вы сдѣлали, надо бы долго говорить и, пожалуй, пришлось бы кое о чемъ спорить. Но что это подвигъ, сказать все это, стать смѣло противъ потока, — въ томъ спорить нельзя! Вы ополчились за добрыя общественныя начала, за религію, за права, за благососитанность, за чистоту вкуса въ искусствѣ; будьте же мужественны и доведите подвигъ до конца!

— Аминь! сказала графиня.

— Подвигъ съ вашей стороны — выслушать! прибавилъ, улыбаясь, всегда находчивый авторъ. — Если у насъ достанетъ терпѣнія — я почерпну въ немъ силу довершить свое дѣло.

Пока авторъ выслушивалъ эти привѣтствія, Кряковъ собирался уходить, но студентъ его не пускалъ. Лилина вертѣлась около автора, чтобы въ десятый разъ сказать ему свое *«très joli»*. Графа Пестова — Фертовъ и другой гость вели подъ руки къ выходу.

— Dites-lui, qu'il écrive cela en français! говорилъ графъ спутникамъ.

— Oui, mon prince, отивчали они.

Некоторые гости позывали въ руку и тоже готовились уѣзжать.

— Гдѣ же Григорій Петровичъ? спросилъ кто-то громко: — бросилъ насъ и проститься не хочетъ!

Въ это время отворилась дверь изъ столовой и явился

Григорій Петровичъ съ метръ-д'отелемъ, который на всю залу возгласилъ:

— Messieurs et mesdames sont servis!

Всѣ оцѣненѣли на минуту. Въ столовой подѣвъ былъ длинный сервированный столъ, ярко освѣщенный канделябрами, и толпа официантовъ.

— Прону! mesdames, messieurs! Чтѣ это — вы соби-раетесь уѣхать! Какъ это можно, отъ ужина!

Онъ бросился къ гостямъ, къ дамамъ, упрямивалъ, у мужчинъ отнималъ шляпы: Но дамы, кромѣ Лилиной, отказались. Отказался и авторъ, извиняясь усталостью. Онъ подаль руку графинѣ Сипянской и повелъ ее съ дочерью до кареты.

Хозяинъ чуть не плакалъ; онъ убѣждалъ всѣхъ другихъ остаться, а упрямыхъ почти силою толкалъ въ столовую, въ томъ числѣ и Крякова.

— Не откажите мнѣ въ удовольствіи отужинать съ нами! вѣжливо просилъ онъ его.

— Хорошо, хорошо, свазалъ тотъ:—это кстати, я проголодался!

Онъ гостепріимнаго хозяина какъ рублемъ подарилъ.

— И прекраснѣ! сказалъ онъ, пожимая ему руку,— я очень радъ. Митя! веди гостя и постарайся занять его, чтобы онъ не соскучился у насъ!

Митя засмѣялся и повелъ его въ столовую, куда, подъ руку съ Лилиной, вошелъ Чешневъ, потомъ журналистъ, профессоръ, Красноперовъ и всѣ прочіе. Толстый Суховъ и военный генералъ были уже тамъ и закусывали.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

УЖИНЪ.

— Господа! сказалъ хозяинъ, когда всѣ усѣлись за столъ:—теперь моя очередь: я авторъ меню ужина. Поваръ только слѣпной исполнитель моей программы. Прошу подарить и мое произведеніе вниманіемъ, какимъ вы почтили нынѣшнее чтеніе. Прочти менѣ, обратился онъ къ Сухову:—вонъ оно подлѣ тебя лежитъ, чтобы гости знали, какъ распорядиться апетитомъ!

Суховъ хватился за карманъ достать очки, но тамъ ихъ не оказалось.

— Potage — nids d'hirondelles, читалъ онъ наизусть:
— filets d'éléphant и pattes de crocodile à la tortue;
légumes — junc d'Espagne au jus de scorpions...

Всѣ засмѣялись.

— Какая гадость! сказалъ Урановъ:—вѣдь ты апетитъ отобьешь!—И самъ прочиталъ меню.

Вмѣсто крокодила и слона оказались: дикая коза, стерлядь, перенелки, всѣ примѣры зелени и фруктовъ.

Послѣ первыхъ двухъ блюдъ, заговорили о читанномъ романѣ. Первая подала голосъ Лилина.

— Comme c'est joli, n'est-ce pas? Я все еще подъ вліяніемъ этого чтенія! Кажется, никогда не забуду! Charmant! Charmant! твердила она съ своею дѣтскою улыбкою, какъ дѣвочка, которой подарили новую буклу.

— Вамъ нравится? насмѣшливо спросилъ ее Кряковъ, — поздравляю васъ: у васъ хорошій вкусъ!

Она сконфузилась и посмотрѣла на другихъ.

— Вы не конфузьтесь! продолжалъ Кряковъ и самъ въ то же время ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Отъ чего мнѣ конфузиться? я думаю... и другіе того же мнѣнія! сказала она.

— Это дамское кушанье, конфетка! продолжалъ онъ, наливая себѣ краснаго вина. — «C'est joli, très joli!» хвалили мы: это для автору изъ вашихъ устъ!

Всѣ улыбались, а онъ допилъ стаканъ и улыбкою.

— Славное кушанье! продолжалъ Кряковъ къ хозяйкину, — и спасибо вамъ за это!

— Очень рада, что вамъ нравится! сказала хозяйка. — Можете ли еще? — Человѣкъ, подай!

— Что-жъ, я возьму еще!

И онъ взялъ другую порцію. Всѣ стали смотрѣть на него съ любопытствомъ.

— А романъ все таки очень хорошъ! сказалъ хозяйкинъ.

— И какъ хорошо авторъ читаетъ, какой пріятный голосъ, и манера благородная. Измкъ тоже славный! — хвалилъ профессоръ.

— Да... это замѣчательное произведеніе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ!... сдержанно замѣтилъ редакторъ журнала.

— Хорошо, очень хорошо! я съ удовольствіемъ слушалъ! похвалилъ генералъ. — Теперь что-то не идутъ такъ!

— Какъ это «такъ»? спросилъ Урановъ.

— Такъ пріятно, плавно, по-русски, чтобы всякій

понималъ! Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция — такъ и погоняютъ одно другое! Въмѣсто швейцара пишутъ тебѣ портъе, вмѣсто хозяина или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово «игнорировать»!

— Да и по-русски-то стали писать, Боже унаси, какъ! вздохнувъ, вмѣшался старикъ Красноперовъ, пріятель Греча и Вулгарина: — наприимѣръ, выдумали — «немыслимо», а чѣмъ было худо слово «невообразимо»? Нѣтъ, оно, видите, старое, такъ прочь его! Или, всѣ говорили и писали: «такой-то или такіе-то обращаются къ тому, другому, или другъ съ другомъ такъ-то»; не понравилось имъ, давай мѣнять: «такой-то относится де такъ-то». Лучше ли это, я васъ спрашиваю?

Онъ обратился къ редактору журнала.

— Одно другому не мѣшаетъ, отвѣчалъ тотъ небрежно, — «немыслимо» и «невообразимо» вовсе не одно и то же, такъ же, какъ и слова: обращаться и относиться!

— Совершенно справедливо, подтвердилъ профессор: — это даже и не синонимы. Зачѣмъ стѣснять свободу языка? пусть онъ обогащается путемъ печатнаго слова! Иезуизмы, чуждые духу языка, никогда не войдутъ въ плоть и кровь его. Чѣмъ больше словъ, тѣмъ лучше!

— Ты, Иванъ Петровичъ, не связывайся съ ними, сказалъ Суховъ тихо Красноперову: — они загоняютъ тебя. Народъ ученый!

Иванъ Петровичъ обидѣлся.

— Пожалуйста! не загоняютъ! вслухъ возразилъ

онъ. — Николай Ивановичъ и Оаддей Венедиктовичъ не чета были пишущимъ, а и тѣ уважали мое мнѣніе! Это правда, что языкъ обогащается постепенно, какъ вы позволите говорить, обратился онъ къ профессору: — только позвольте доложить, что это обогащеніе производится писателями съ вѣсомъ. Напримѣръ, вотъ Николай Михайловичъ Карамзинъ ввелъ слово промышленность, его все и приняли. Василій Андреевичъ Жуковский тоже много обогатилъ русскую словесность и облагородилъ простонародный языкъ; передъ нимъ еще Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ. Такъ вѣдь какіе же это были и люди! Одинъ — исторіографъ, другой — министръ, третій — наставникъ царскихъ дѣтей! Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ уже шелъ по ихъ слѣдамъ. Вотъ они-то и поставили нашъ языкъ на твердое основаніе. А Николай Ивановичъ Гречъ и Оаддей Венедиктовичъ Булгаринъ были на стражѣ и бдительно охраняли правильность и неприкосновенность слога. Не стало ихъ — и ворвались нововводители! Кто ихъ послушаетъ? Откуда они явились?

— Оттуда же, я думаю, откуда и Карамзинъ съ Жуковскимъ и Дмитріевымъ, и мы съ вами тоже: все изъ одного мѣста! сѣззалъ Кряковъ.

Все улыбалось. Алина вскинула.

— Что правда, то правда! съ этимъ спорить нельзя! подтвердилъ и Суховъ.

— При тѣхъ не смѣли бы такъ вольничать! продолжалъ Красноперовъ, не слушая его: — бывало, сочинители по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школѣ. Сколько ихъ, бывало, являлось къ Николаю Ивановичу на по-

хлопъ и выслушивало отъ него благіе совѣты, да слѣдовали имъ!

— Который вамъ годокъ? вдругъ спросилъ Кряковъ Краснопорова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что? спросилъ Суховъ, которому очевидно привился задоръ въ противникахъ.

— Да ужъ очень отзывается добрымъ старымъ временемъ! отбѣчалъ тотъ безцеремонно. — Вы, я думаю, родились при «старомъ и новомъ слогѣ»?

— А чтожъ, худо было, что ли, тогда, при Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ? сердито возразилъ Краснопоровъ. — Тогда умѣли слушаться старшихъ — и былъ порядокъ. Отъ Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергѣевичу, когда онъ былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, сѣбли, а Булгаринъ и Гречъ приговаривали! вдругъ провозгласилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и надо! не худо бы и теперь! ворчалъ Краснопоровъ ближайшимъ собесѣднѣмъ: Уранову, Сухову и генералу, — а то ужъ очень расходился! И бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи списки завелъ, да выдавалъ бы имъ желтые билеты на жительство.

Кругомъ его всѣ смѣялись.

— За что такъ немилостиво? спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ. — Вѣдь уже это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литера-

торовъ... Но и это не помогло: сами же вы говорите, что сочинители ушли изъ-подъ ферулы...

— А зачѣмъ выпускали? Правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! горячился Красноперовъ: — вотъ и порядка нѣтъ! Страху бы намъ, страху! вотъ что нужно, а не свободу печати!... Дать бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого!

— Какое же...? спросилъ, тоже смѣясь, журналистъ.

— Какое! В...? Развѣ не видите! Все колеблется, нѣтъ, ни у кого нѣтъ ничего святаго!

— Не печать...? — крикнулъ! сказалъ журналистъ.

— Вездѣ см...? — крикнулъ Красноперовъ не слушая.

— Потопы, трусы, братъ...? — крикнулъ на брата, подсаживая Суховъ. — Такъ, такъ, Иванъ Петровичъ, молодецъ! Хорошенько ихъ! За твоё здоровье! — У тебя нынче весело, Григорій Петровичъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Вы сами нотакаете этимъ новымъ! горячился еще больше Красноперовъ, — что мудренаго послѣ этого, что дѣти чуть не рѣжутъ родителей...

— А родители дѣтей! подсаживая опять Суховъ. — Правильно!

— Да! и правильно! Перестанешь смѣяться, какъ вонъ эдакіе новые умники (онъ кивнулъ на Крякова, а Кряковъ въ отвѣтъ кивнулъ ему) придутъ къ тебѣ, да объявятъ, что домъ твой въ Большой Конюшенной не

твой, а ихъ; что все общее... А тебя вытолкають вонъ! Будеть тогда «весело»!

— Господи помилуй! Что ты это на ночь пугаешь! говорилъ Суховъ. — Слышите, что онъ говоритъ! обратился онъ къ Уранову и генералу. — Не бойся, мой другъ, прибавилъ онъ успокоительно: — всѣ эти отрицатели и разрушители, если не обо что либо другое, такъ о собственность добъ себѣ разобьютъ!

— Я старѣ васъ всѣхъ тутъ — и могу говорить... настаивать на своемъ Красноперовъ.

— И говоришь по опыту, что ли?

— Богъ милowałъ нока, а коли вы такъ равнодушно глядите на всѣ затѣи, да идеи этихъ мальчишекъ, что величаютъ себя новымъ поколѣніемъ, и мѣръ не принимаете... такъ дождетесь, что и у насъ заведутъ комуна! Смотрите-ка, что теперь дѣлается! Старшихъ нѣтъ, перемерли, учить уму-разуму некому! Что если бы они возстали изъ гробовъ!...

— Ихъ теперь посадили бы въ кунсткамеру, а съ ними и насъ! сказалъ Кряковъ.

Красноперовъ разсердился, особенно когда это замѣчаніе встрѣтило смѣхъ даже около него.

— А насъ, милостивый государь, и всѣхъ подобныхъ вамъ сочинителей, которые такъ разсуждаютъ, ужъ, извините, я бы не туда посадилъ! горячо замѣтилъ онъ учительскимъ тономъ.

— И сажаютъ, успокойтесь, господниъ Фамусовъ; вы еще не всѣ перевелись на Русь!

Всѣ смѣялись, глядя на задоръ противниковъ.

— Что это, какъ здѣсь весело сегодня! повторилъ Суховъ.

— Ты не обижайся, Иванъ Петровичъ! шепнулъ хозяинъ старикъ, — лучше послушаемъ! Любопытно, до чего онъ договорится!

Но Красноперовъ не слушалъ.

— Что смѣтесъ! говорилъ онъ раздражительно гостямъ постарше: — вы ему въ руку смѣтесъ и угождаете новому поколѣнію; да, вы унижаетесь передъ нимъ, стыдно показаться отсталыми! Что? неправда?

— Что ты! внушительно сказалъ хозяинъ, — что намъ за надобность угождать, вѣдь мы не ребята; чего намъ занискивать у поваго поколѣнія? Мы его не боимся и ничего не ждемъ отъ него дурнаго. — Вонъ онъ (онъ указалъ на племянника) тоже новое поколѣніе: чтожъ, дуренъ что-ли? Въ большинствѣ и всѣ они такіе, и дай Богъ, чтобъ были такіе!

— Кланяйся и благодари! сказалъ Краковъ, погладивъ студента по головѣ.

— Какая же намъ причина потакать такимъ ужасамъ, какіе ты рассказываешь? продолжалъ Урановъ.

— Какая причина... изволь, я скажу.

— Говори.

— Вы всѣ сами циглисты, вотъ что! брякнулъ онъ. Всѣ весело, со смѣхомъ, глядѣли на него.

— C'est trop fort! замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобою! говорилъ Урановъ. — Объяснись, пожалуйста!

— Да такъ! мы сами за одно съ этими новыми. Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ, много изъ васъ — и я знаю кто — вѣруютъ въ Бога по своему, а не такъ, какъ указываютъ православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на исповѣдь, «для примѣра» — гово-

рать; другіе исповѣдуютъ противный господствующему строю правительства образъ мыслей и разсуждаютъ объ этомъ подъ рукой съ пріятелями, а сынки слушаютъ, да на усъ мотають! Что мудренаго послѣ этого, что они не признають и не уважають ничего и никого!

Всѣ смотрѣли на него съ любопытствомъ и слушали съ улыбкою.

— Вотъ извольте видѣть, замѣтилъ журналистъ: — а вы все на печать!

— А печать поддерживаетъ, подстрекаетъ! говорилъ Красноперовъ.

— Нельзя ли указать, гдѣ и какъ?

— Да вездѣ! Гдѣ я теперь припомню? Да и припоминать нечего...

Красноперовъ очевидно затруднился.

— Чего тутъ указывать, все нигуда не годится! ворчалъ онъ. — Вотъ Николай Ивановичъ или Фаддей Венедиктовичъ, тѣ сейчасъ бы указали, за словомъ въ карманъ не полѣзли бы! И не цензоръ — что жибъ!

Онъ не зналъ что сказать. Но заговорилъ неожиданно новый собесѣдникъ. Это былъ худощавый господинъ въ синихъ очкахъ, съ легкою просѣдью, въ бакенбардахъ, съ гладко выбритымъ подбородкомъ, прилично одѣтый. Онъ все молчалъ и слушалъ прилежно, смиренно потупля взоръ въ тарелку и по временамъ взглядываясь изъ подъ очковъ то въ того, то въ другого изъ собесѣдниковъ.

— Вы изволите спрашивать подтвержденія тому, что Иванъ Петровичъ излагали сейчасъ на счетъ распространенія путемъ печати превратныхъ идей... сказалъ онъ вкрадчиво журналисту.

— Да-съ! Не возьмете ли вы на себя трудъ доказать, чѣмъ это подтверждается въ печати?

— Нѣтъ-съ, нѣтъ... положительнымъ образомъ не подтверждается, это точно-съ...

— Вотъ видите! сказалъ журналистъ Красноперову.

— Противъ него религіи, продолжалъ новый собеседникъ, — въ печати не говорится о правде. Оно и понятно: не позволено ни одному ни одинъ журналъ не ополчается и

— Зачѣмъ? — спрашиваетъ журналистъ, — вы говорите, что на нее не нападаютъ?

— Не нападаютъ, — продолжали синіе очки, — но у насъ не было начала въ обществѣ осязательнѣе, а не какой нѣтъ... Напримѣръ, въ журналы, въ вашемъ тоже, извините, — на трехъ страницахъ нигдѣ не встрѣтишь, чтобы упоминалось имя Божіе. Это очень знаменательно...

Всѣ съ любопытствомъ глядѣли на него и на журналиста.

— Dieu-Dieu-Dieu-Dieu! зачастилъ кто-то въ концѣ стола.

— Что, не правду я говорилъ? подтвердилъ Красноперовъ. — Не я одинъ, а и другіе заключаютъ...

— Я ничего не заключаю-съ, я только хотѣлъ бы прояснить этотъ вопросъ изъ любопытства... поспѣшно прибавилъ гость въ синихъ очкахъ.

— Кто это? въ полголоса спросилъ генералъ у Сухова про синіе очки.

— Не знаю! сказалъ тотъ. — Надо спросить Григорія Петровича.

— Сикофантъ, развѣ не видите! вдругъбрякнулъ Кряковъ, услышавшій вопросъ генерала. Чопиневъ даже слегка вздрогнулъ.

— Что это: фамилія, что ли его? спросилъ генералъ и немного смутился, когда нѣкоторые засмѣялись и даже Чешиневъ улыбнулся.

— Иѣтъ! это имя ему при крещеніи нарекли! добавилъ Кряковъ.

Всѣ старались сдержать смѣхъ.

Гость въ синихъ очкахъ должно быть не слышалъ.

Ураиновъ тихонько объяснилъ, что фамилія его Трухинъ.

— Онъ служить у Алексѣя Петровича, прибавилъ онъ, — тотъ прислалъ его на чтеніе вмѣсто себя; онъ говорилъ, что этотъ господинъ все печатное читаетъ, ни слова не пропускаетъ, все знаетъ и ему обстоятельно докладываетъ, такъ что тому ни газетъ, ни журналовъ читать самому неужно.

— Что же это, по нашему мнѣнію, значить, что имя Божіе не призывается въ журналахъ всеу? спросилъ журналистъ у Трухина: — это скорѣе показываетъ уваженіе къ религіи...

— Та-та-та, не лукавьте, милостивый государь! остановилъ его Красноперовъ: — вовсе не отъ избытка благоговѣнія не упоминаете вы о Богѣ, а потому, что не вѣруете! Или вѣруете по Ренану: Спаситель-де принесъ въ міръ прекрасное ученіе, а самъ былъ хорошій человѣкъ, а не Богъ! Вотъ вѣдь что у васъ на умѣ?

Всѣ улыбались.

— Почему же вы это знаете? спросилъ журналистъ, тоже улыбаясь.

— Какъ не знать! Всѣ знаютъ! Теперь этого и не скрываетъ никто, до того дошло! Даже щеголяютъ этимъ: вотъ-молъ какіе мы умные! Иначе какъ бы не наночатать объ упадкѣ религіи и не поддерживать ее? А вы только объ упадкѣ курса пишете, да перечите правительству!

— На то спеціальныя духовныя журналы есть, замѣтилъ журналистъ:—тамъ и пишутъ о подобныхъ предметахъ...

— Да вѣдь вы сами говорили, что поповъ трогать нельзя; тронь, такъ вы грозите посадить куда-то автора! замѣтилъ Кряковъ Красноперову.

— Вы хитры! возразить тотъ:—изъ воды сухи выйдете! Трогать духовныхъ особъ не нельзя, такъ вы обзовете ихъ клерикалами, да и давай глумиться надъ ними!

— Это точно, бываетъ... подтвердилъ Трухинъ.

— За то, кажется, печать оказываетъ и не малую пользу — и правительству, и обществу. Согласитесь съ этимъ! возразилъ ему журналистъ.

— О, конечно-съ, конечно-съ... большую, большую пользу! согласился Трухинъ. — Печать горячо преслѣдуетъ кражи, убійства, всякіе скандалы! Сломлютъ ли кружку у церкви, или расхитятъ кассу въ банкѣ — вся пресса дружно и громко предастъ гласности и кражу, и вора; всякія публичныя безобразія, также несправности администраторовъ, особенно помые, тоже непременно обличить, по косточкамъ разобреть.

— Даже если пьяный съ барки упадетъ въ воду и выльзетъ—и то не пропустить! прибавилъ Суховъ.

— Чего же вы еще хотите?

— Но она перѣдко пропускаетъ безъ вниманія очень серьезныя вещи, и это меня иногда удивляло, при-

знаюсь: отъ безпечности ли, или отъ чего другаго? Вотъ въ чемъ мнѣ любопытно бы попросить разъясненія... продолжали сипія очки.

— Напримѣръ, какія вещи? спросилъ журналнсть.

— Напримѣръ, вотъ хоть бы въ прошломъ году произошла смута между молодежью: разнесли столы, стулья, выгнали профессора...

— Что же, пресса не умолчала; объ этомъ всё журналы прокричали.

— Заявила, единогласно заявила, — это правда, правда! И какъ вѣрно, точно, отчетливо...

— Такъ что же?

— Мнѣ только любопытно бы знать, смиренно продолжали сипія очки: — отчего пресса поспешила на осужденіе этого поступка по достоинству... не прибавили ни слова отъ себя? Не пожурила, не разъяснила неприличія. Это бы не могло не подѣйствовать на молодые умы благотворно, я полагаю...

— А случись противное, печать бы не молчала! замѣтилъ Красноперовъ.

— То есть, взбунтуйся профессоръ противъ учениковъ, тогда бы печать напала на него! Такъ ли, по вашему? спросилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Да! такъ, такъ! не смѣйтесь! ораторствовалъ Красноперовъ: — чуть гдѣ нибудь учитель выдеретъ ученика за вихорь, по нашему, по старому, или вытуритъ директоръ изъ училища дѣптѣя, а тотъ съ дуру тонится поидеть — сейчасъ газеты такъ и завоняютъ: «ахти, какой директоръ злодѣй!»

— Если одни журналы умалчиваютъ, по вашему мнѣнію, о чемъ вы говорите, и преслѣдуютъ какія ни-

будь свои задачи, замѣтилъ журналистъ гостю въ синихъ очкахъ: — за то другіе становятся на защиту тѣхъ вопросовъ, о которыхъ упоминали сейчасъ.

— Что пыльные журналы! Вотъ Николай Ивановичъ и Оадей Венедиктовичъ—тѣ сьужли бы постоять за порядокъ! сказалъ Красноперовъ. — То былъ вѣкъ, когда...

— Когда водились еще гориллы, отъ которыхъ и произошли пыльные сифофанты! досказалъ Кряковъ, поглядывая на синія очки.

Кругомъ его засмѣялись, больше всѣхъ студенты.

— Что это за неурядица такая, право! ну что бы всѣмъ дружно, да мирно идти однимъ путемъ, рука въ руку! мечталъ генераль, обращаясь къ Сухову.

— И нога въ ногу, по военному! договорились Суховъ.—А ты что не идешь въ своемъ комитетѣ рука въ руку и не ходишь нога въ ногу съ Кураковыми и Петришенями, а все вздорнишь?

Генераль такъ и затрясся весь.

— Съ этими... началъ онъ.

— Сифофантами, чтоли? подсказалъ Суховъ — и оба захохотали.

— Ну, и у сочинителей тоже самое! прибавилъ Суховъ.

— Духъ вѣка пробивается, генераль! сказалъ профессоръ: — кипитъ работа, совершается великая борьба идей, понятій, интересовъ... пехода которой мы, конечно, не увидимъ. Сила вещей приведетъ все къ должному концу. Нужно терпѣніе... не мы, такъ дѣти увидятъ тотъ порядокъ, который долженъ выработаться изъ этого хаоса!

— Вотъ что значить профессоръ: сейчасъ нашелъ ключъ къ ларчику! И рѣшилъ—какъ быть и что дѣлать, и средство такое простое предписалъ:—терпѣніе! Всѣхъ и успокоилъ! Покорнѣйше благодаримъ! сказать Кряковъ, кланяясь профессору.

— Страху бы намъ, страху! вотъ чего не достаетъ! твердилъ свое Красноперовъ.

— Позвольте обратиться къ нынѣшнему чтенію, сказалъ хозяинъ,—я имѣю сдѣлать предложеніе. Достоинство новаго произведенія признано, сколько я замѣтилъ, всѣми слушателями...

Кряковъ задвигался на стулѣ и хотѣлъ что-то сказать, но былъ удержанъ студентомъ.

— Мнѣ хотѣлось бы выразить благодарность автору за достигнутое всѣмъ намъ удовольствіе, продолжалъ хозяинъ.—У меня есть старинный кубокъ, работы Бенвенуто-Челлини—дѣдъ мой изъ Венеціи привезъ—воиъ онъ, въ шкафѣ.—Достаньте! обратился онъ къ дворецкому.

Тотъ ушелъ за ключомъ.

— Что если мы велимъ вырѣзать на немъ всѣ наши имена и поднесемъ автору на память нынѣшняго чтенія! Какъ вы думаете?

— Кромѣ моего имени: я не желаю! отрѣзать Кряковъ.

Всѣ взглянули на него съ удивленіемъ.

— Очень хорошо, вѣжливо, но сдержанно замѣтилъ хозяинъ, послѣ минуты молчанія: — мы васъ обойдемъ. А вы согласны? спросилъ онъ, обводя глазами собраніе.

— Конечно! конечно! Какая славная мысль! Покорнѣйше просимъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Меня, меня не забудьте! живыми голосомъ просила .Иппина.

Дворецкій подалъ кубокъ и всѣ передавали его изъ рукъ въ руки.

— Отчего вы не желаете присоединиться къ намъ? спросилъ крѣтко Крякова старикъ Чешневъ. — Вы имѣете какія нибудь свои особенныя причины?

— Да, имѣю.

— Или не находите романъ заслуживающимъ этого вниманія?

— Да, и романъ не нахожу заслуживающимъ! такъ и рубилъ Кряковъ.

— Если-бъ это было и такъ, то, независимо отъ критики, нашъ кружокъ хочетъ благодарить автора за его намѣреніе сдѣлать удовольствіе...

— Пусть благодаритъ, а я не стану!

Чешневъ вздохнулъ съ прискорбіемъ. — (Отъ чего же? спросилъ онъ.

— Зачѣмъ онъ написалъ этотъ романъ? задорно упрекнулъ Кряковъ.

— Какъ зачѣмъ? вы слышали, какъ онъ объяснялъ свои мотивы: желаніе, въ формѣ романа, высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ... И онъ успѣлъ, не только со стороны содержанія, но и формы, и далъ тонкое, изящное произведеніе...

— Незачѣмъ распространять свои донотонныя идеи и возвращать насъ за столѣтъ назадъ! Это все отжило! А если написалъ для забавы, такъ читай на ухо тому глухому графу, что подлѣ него сидѣлъ, да вонъ господину Красноперову; тѣ и удовольствятся! А онъ собралъ вонъ сколько народу, — это ужъ публика; значитъ, у

него не просто забава была на умѣ, а поученіе, претензія! Пожалуй и въ печать сунется! Покажись только— я бы ему далъ знать!

Студентъ засмѣлся.

— Этотъ критикъ, въ самомъ дѣлѣ, должно быть крокодила объѣлся! шеннулъ одинъ гость другому, изъ тѣхъ, что находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

Все молчали. Кряковъ тоже замолчалъ и сердито жевалъ, обводя гостей глазами и ожидая возраженія.

Старикъ Чешневъ былъ какъ будто лично оскорбленъ. По своей впечатлительности онъ былъ до крайности чутокъ и ощущая пріятное и непріятное, какъ тепло и холодъ, не могъ воздержаться и не выразить своего ощущенія словомъ или жестомъ, иногда рѣчью.

— Если-бъ это было и такъ, если-бъ этотъ романъ не имѣлъ достоинствъ и его не слѣдовало писать и даже читать, говорилъ онъ сосѣду своему въ полголоса, медленно, точно шѣпъ: — то неужели этотъ гость, приглашенный въ интимный кружокъ друзей автора, не понимаетъ неумѣстности своего протеста!

Онъ вздохнулъ и опустилъ голову.

— Вы обо мнѣ говорите? рѣзко обратился къ нему Кряковъ, до котораго долетѣло нѣсколько словъ.

Чешневъ взглянулъ на него какъ будто съ состраданіемъ и не сказалъ ничего.

Урановъ началъ немного безпокоиться и поглядывалъ съ недоумѣніемъ, то на Крякова, то на своего племянника, какъ бы спрашивая послѣдняго глазами: «какого это гостя привелъ ты ко мнѣ?» Но студентъ старался не смотрѣть на дядю.

— Вы требуете, чтобы я хвалил то, что нахожу турнымъ; это противно моимъ принципамъ! заключилъ Кряковъ.

— Слышите — «принципы», это стоитъ «игнорированья», тихо замѣтилъ генералъ Сухову.

— Вы дали преимущество одному принципу и забыли о другихъ, которые нужно соблюдать въ эту минуту здѣсь... сказалъ Чешневъ, глядя въ сторону.

— Вы хотите дать мнѣ... да? Благодарю! Но я ему не послѣдую — и не буду, или хозяину, за его ужинъ, не стану восхвалять, что никуда не годится. Это зачѣмъ души свои такъ поступать!

— Ого! замѣтилъ кто-то въ толпѣ.

— Этого и не нужно, и не стоитъ! учтиво замѣтилъ Урановъ, — тѣмъ болѣе, что романъ и не напечатанъ, а прочтенъ намъ по довѣрію, въ надеждѣ на списхождение...

— Ахъ, какая институтка вашъ авторъ — въ списхожденіи нуждается! Зачѣмъ и писать въ такомъ случаѣ?

— Позвольте, однако; нельзя же все порицать въ романѣ, въ немъ есть, конечно, недостатки, но есть и большія достоинства... заступился профессоръ.

— Одни только недостатки! я ничего больше не вижу! рѣшилъ Кряковъ.

— Помилуйте, когда все общество... заговорили и въ которые.

— И какой это романъ? развѣ это романъ? вызывающимъ голосомъ возражалъ Кряковъ.

— Что же вы называете романомъ? спросилъ Чешневъ.

него не просто забава была на умѣ, а поученіе, претензія! Пожалуй и въ печать сунется! Покажись только— я бы ему далъ знать!

Студентъ засмѣялся.

— Этотъ критикъ, въ самомъ дѣлѣ, должно быть крокодила объѣлся! шеннулъ одинъ гость другому, изъ тѣхъ, что находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

Всѣ молчали. Кряковъ тоже замолчалъ и сердито жевалъ, обводя гостей глазами и ожидая возраженія.

Старикъ Чемпневъ былъ какъ будто лично оскорбленъ. По своей впечатлительности онъ былъ до крайности чутокъ и ощущая пріятное и непріятное, какъ тепло и холодъ, не могъ воздержаться и не выразить своего ощущенія словомъ или жестомъ, иногда рѣчью.

— Если-бъ это было и такъ, если-бъ этотъ романъ не имѣлъ достоинствъ и его не слѣдовало писать и даже читать, говорилъ онъ сосѣду своему въ полголоса, медленно, точно иль: — то неужели этотъ гость, приглашенный въ интимный кружокъ друзей автора, не поощряетъ неумѣстности своего протеста!

Онъ вздохнулъ и опустилъ голову.

— Вы обо мнѣ говорите? рѣзко обратился къ нему Кряковъ, до котораго долетѣло нѣсколько словъ.

Чемпневъ взглянулъ на него какъ будто съ состраданіемъ и не сказалъ ничего.

Урановъ началъ немного безпокоиться и поглядывалъ съ недоумѣніемъ, то на Крякова, то на своего племянника, какъ бы спрашивая послѣдняго глазами: «какого это гостя привелъ ты ко мнѣ?» Но студентъ старался не смотрѣть на дядю.

— Революція! вызвался объяснить Кряковъ, но прежде шепотомъ спросилъ студента: «Не вру ли я? я забылъ! кажется, тамъ революцію перевозносятъ?» — «И я забылъ; да ничего, сойдеть!» отвѣчалъ тотъ и засмѣялся.

— Тамъ герои первой французской революціи удостоверяются древнимъ римлянамъ! сѣздо провозгласилъ Кряковъ громко Уранову: — такъ вотъ ваши гости, господинъ Красноперовъ, да господинъ... (онъ поглядѣлъ на синія очки) Синеговъ, кажется, и собираются высѣчь меня за то, что я хвалю этотъ романъ. Такъ ли? прибавилъ онъ, глядя на нихъ обоихъ.

— Да, теперь Марата, Робеспьера и Дантона чуть не въ святые возводятъ; это все новыя... съ своимъ прогрессомъ! добавилъ Красноперовъ.

— Ну, а что ты скажешь, Иванъ Петровичъ, обратился Урановъ къ Красноперову: — о романъ нашего автора? Ты все восвалъ противъ молодыхъ литераторовъ, а ничего объ этомъ не сказалъ!

— Не одобряю! рѣшилъ Иванъ Петровичъ.

— Что такъ? вѣдь въ немъ религія поставлена выше всего; и долгъ, и военная честь, и патріотизмъ, все есть!

— Такъ-то такъ... Но объ этомъ надо бы не въ романъ писать, — не мѣсто тамъ! — а въ серьезномъ сочиненіи положить! А то въ романъ — нашель гдѣ! Да и какой это романъ — они правду сказали... Онъ указалъ на Крякова.

— Слышишь, Митя? я най-мальчишъ сталъ, нана-Фамусовъ похвалилъ! прибавилъ осклабился Кряковъ.

... Въ романъ нѣтъ ничего особеннаго, необыкновеннаго... прибавилъ Красноперовъ.

— Какъ особеннаго?

— Такъ! описывается все, что каждый день вездѣ случается; чтожъ это за романъ?

— Значить, изображается жизнь, какъ есть, что и слѣдуетъ изображать въ картинѣ, снисходительно замѣтилъ профессоръ.

— За чѣмъ же изображать, если я это каждый день и такъ вижу!

Всѣ засмѣялись.

— А тебѣ чего же надо? спросилъ Суховъ:—чтобы люди на головахъ ходили, или бѣли другъ друга, что ли?

— Да, пожалуй; если это случится — и онъни!

— Гдѣ вы учились? вдругъ спросилъ его Кряковъ.

— А вамъ на что? сердито возразилъ старикъ.

— Любопытно бы знать! сказалъ тотъ. — И отдамъ туда своихъ дѣтей.

Смѣхъ былъ общій.

— Да вѣдь Гоголь писалъ тоже все, что каждый день происходитъ... замѣтилъ студентъ.

— Ну и скверно! хладнокровно рѣшилъ Красноперовъ. — Не даромъ Фаддей Венедиктовичъ не могъ его терпѣть! и Николай Ивановичъ тоже! Вонъ давали мнѣ «Мертвыя души»: я думалъ, судя по заглавію, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь особенное, романтическое; а тамъ паутъ какой-то собиралъ имена умершихъ послѣ ревизіи крестьянъ, чтобы заложить ихъ! Чтожъ тутъ интереснаго? И нынѣшній нашъ авторъ описываетъ, какъ молодой человѣкъ влюбился въ женщину и оба тайкомъ уѣхали въ деревню, да тамъ и пѣвничаютъ! Какая рѣдкости! И думаю, съ каждымъ побѣдомъ десятки такихъ влюбленныхъ паръ уѣзжаютъ—такъ обо всѣхъ и писать!

Всѣ съ веселой улыбкой слушали эту критику.

— Какие же романы вы признаете замечательными? спросил Чешневъ.

— Теперь я не знаю, а прежде бывали хорошие романы! сказалъ онъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... хоть бы: «Черная женщина» — Николая Ивановича, «Кошечей безжертный», «Выжигинъ» тоже, «Эвелина де-Вальеродъ» — Пестора Васильевича Кукольника, «Постоялый дворъ» — Степанова. Былъ еще помню, англійскій романъ «Мельмотъ Скитаецъ». Вотъ «Ледяной домъ» Ивана Ивановича Лажечникова... Это романъ! какъ изъ льда домище сдѣлали, свадьбу тамъ играли, человека заморозили...

— Вотъ это критикъ, такъ критикъ! Молодецъ Иванъ Петровичъ! за свое постоятъ! говорилъ Суховъ. — Превесело у тебя сегодня, Григорій Петровичъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову и поглядывая на Крякова и на Красноперова.

— Вотъ видите, какая разница во взглядахъ на романъ! смѣясь замѣтилъ Чешневъ. — Сказать — «романъ», значить, сказать: нини, что хочешь! Вотъ тутъ (онъ указавъ на Ивана Петровича) требуютъ чудесъ, небывалаго; а здѣсь называли «Histoire d'un paysan», книгу, которая мало подходитъ подъ ваше опредѣленіе романа... Онъ обратился къ Крякову.

— Пожалуй, это не романъ въ наблюнномъ смыслѣ, сказалъ тотъ: — но это великое произведеніе ума!

— Пусть произведеніе ума — по вашему мнѣнію — но не искусство же! замѣтилъ профессоръ.

— Пора бы бросить эти школьныя переторжки! поручалъ Кряковъ, глядя нѣтъ подлѣбя.

— Да не вы ли сами сейчасъ, на вопросъ Дмитрія Ивановича, сказали, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ...

— Знаю, знаю! что вы мнѣ тычете въ глаза моими словами! перебилъ Кряковъ.

Все засмѣялись.

— Ah, sapristi. quel langage! замѣтилъ кто-то въ полголоса въ концѣ стола.

— А что вамъ sapristi—какой «лангашъ», эlegantный, что ли? вдругъ обратился Кряковъ къ говорившему.

Опять все засмѣялись.

— Превесело! говорилъ Суховъ.

— И изъ вашихъ же лекцій добылъ это опредѣленіе романа! сказалъ Кряковъ профессору.

— И примѣнили его къ одному сочиненію; отчего же не примѣнить и къ другому? Позвольте, однако, возвратиться къ прочитанному сегодня произведенію и объяснить, въ какой категоріи романовъ принадлежитъ оно; тогда уже можно опредѣлить и его достоинство, сказалъ профессоръ.

— Ну, лекція начинается, слушайте! ворчалъ Кряковъ.

Профессоръ услыхалъ.

— И не имѣю претензій читать лекцію, сказалъ онъ скромно:—я только хотѣлъ выразить и свое мнѣніе... наравнѣ съ другими, ни болѣе, ни менѣе... если хозяинъ позволитъ...

— Сдѣлайте одолженіе! помолчите! продолжайте! мы просимъ! раздалось со всехъ сторонъ. Хозяинъ бросилъ недовольный взглядъ на Крякова, и на племянника тоже.

— Опредѣленіе, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ—вѣрно, началъ профессоръ:

— Какіе же романы вы признаете занимательными? спросил Чешневъ.

— Теперь я не знаю, а прежде бывали хорошіе романы! сказалъ онъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... хоть бы: «Черная женщина» — Николая Ивановича, «Кошечъ безсмертный», «Выжигинъ» тоже, «Эвелина де-Вальероль» — Пестора Васильевича Кукольника, «Постояный дворъ» — Степанова. Былъ еще помню, англійскій романъ «Мельмотъ Скитаецъ». Вотъ «Ледяной домъ» Ивана Ивановича Лажечникова... Это романъ! какъ изъ льда домикъ сдѣлали, свадьбу тамъ играли, человека заморозили...

— Вотъ это критикъ, такъ критикъ! Молодецъ Иванъ Петровичъ! за свое постоить! говорилъ Суховъ. — Превесело у тебя сегодня, Григорій Петровичъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову и поглядывая на Крыкова и на Красноперева.

— Вотъ видите, какая разница во взглядахъ на романъ! смѣясь замѣтилъ Чешневъ. — Сказать — «романъ», значить, сказать: нини, что хочешь! Вотъ тутъ (онъ указалъ на Ивана Петровича) требуютъ чудесъ, небывалаго; а здѣсь называли «Histoire d'un paysan», книгу, которая мало подходитъ подъ ваше опредѣленіе романа... Онъ обратился къ Крыкову.

— Пожалуй, это не романъ въ шаблонномъ смыслѣ, сказалъ тотъ: — но это великое произведеніе ума!

— Пусть произведеніе ума — по вашему мнѣнію — но не искусства же! замѣтилъ профессоръ.

— Пора бы бросить эти школьныя переторжки! говорилъ Крыковъ, глядя нѣтъ подлобыя.

— Да не вы ли сами сейчасъ, на вопросъ Дмитрія Ивановича, сказали, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ...

— Знаю, знаю! что вы мнѣ тычете въ глаза моими словами! перебилъ Кряковъ.

Всѣ засмѣялись.

— Ah, surpristi. quel langage! замѣтилъ кто-то въ полголоса въ концѣ стола.

— А это вамъ surpristi—какой «лангашъ», элегантный, что ли? вдругъ обратился Кряковъ къ говорившему.

Опять всѣ засмѣялись.

— Превесело! говорилъ Суховъ.

— Я изъ вашихъ же лекцій добылъ это опредѣленіе романа! сказалъ Кряковъ профессору.

— Я примѣнили его къ одному сочиненію; отчего же не примѣнить и къ другому? Позвольте, однако, возвратиться къ прочитанному сегодня произведенію и объяснить, въ какой категоріи романовъ принадлежитъ оно; тогда уже можно опредѣлить и его достоинство, сказалъ профессоръ.

— Ну, лекція начинается, слушайте! ворчалъ Кряковъ.

Профессоръ услышалъ.

— Я не имѣю претензій читать лекцію, сказалъ онъ скромно:—я только хотѣлъ выразить и свое мнѣніе... парави съ другими, ни болѣе, ни менѣе... если хозяинъ позволитъ...

— Сдѣлайте одолженіе! помилуйте! продолжайте! мы просимъ! раздалось со всѣхъ сторонъ. Хозяинъ бросилъ недовольный взглядъ на Крякова, и на племянника тоже.

— Опредѣленіе, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ—вѣрно, началъ профессоръ:

— Если хотите, продолжалъ профессоръ: — строго говоря, романъ относится къ той категоріи произведеній, которыя называются тенденціозными, и изъ которыхъ создалась въ новое время цѣлая литература. И не поклонникъ утилитаризма въ искусствѣ...

— «Тенденціозный», «утилитаризмъ»! шепталъ генералъ, пожимая плечами.

— Чего же вы поклонникъ? «поэзіи живой и ясной» или «сладкихъ звуковъ и молитвъ», что ли? перерывалъ Кряковъ.

— Да позвольте говорить профессору! останавливала хозяйнѣ Крякова.

— Да, между прочимъ, я поклоняюсь и этому, подтвердилъ профессоръ. — Но прежде всего я требую свободы для искусства, а на него въ новое время хотѣтъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинуть, конечно, изъ своей картины, страданій, бѣдъ, золь, тягостей и нуждъ человѣческихъ, — но кнѣзь его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни; тогда только и возможна художественная правда, когда и то, и другое, будетъ уравновѣшено, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа уже сдѣлала себѣ спеціальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарнымъ цѣлямъ, заставить искусство искать только всякихъ золь, подъ свѣтлымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему...

— А вы себѣ взяли привилегію, что ли, на любовь къ ближнему? И чѣмъ вы ее выразили, вы, наши «строгіе цѣнители и судьи»? рѣзко спросилъ Кряковъ. — Мы хоть путемъ отрицанія и обличенія наводимъ на эту любовь, а вы чѣмъ?

— Запретить бы эти обличенія! сказалъ Красноперовъ. — Это они пишутъ въ пикетъ правительству: «вотъ-де — не смотритъ, не печется!». Не ихъ дѣло совать носъ въ больницы, да въ тюрьмы; на то установлены комитеты!

— Открывать глаза обществу на наши общественныя нужды и недуги — цѣль, конечно, почетная, продолжалъ профессоръ, помолчавъ: — и искусство повинно принести свою ленту, и давно уже припесло ее. А наши ревнители добра наладили на эту тему и умышленно обходить свѣтлыя стороны жизни, впадаютъ въ преувѣличенія, въ односторонность и, стало быть, перестали быть правдивы!

— Какую вы дичь порете! зачѣмъ? вдругъ произнесъ Кряковъ.

На это, послѣ минутнаго оцѣненія, последовалъ взрывъ смѣха. Чаша переполнилась и обижаться было невозможно. Никто и не обидѣлся: ни ораторъ, ни холмичъ. Только Чешневъ горестно вздохнулъ и опустил голову на грудь.

— А къ тому я ирю вту дичь, упирая на слово дичь, сказалъ профессоръ, ободренный общимъ сочувствіемъ къ нему: — чтобы выяснитъ, что въ однихъ романахъ, напримѣръ, въ «Консервильдѣ» или «Шиквикскомъ клубѣ» Диккенса, въ «Père Goriot» и «Eugenie Grandet» Бальзака, въ «Канитапской дочкѣ» и «Героѣ нашего времени» — художественность задачи есть и цѣль, и средство; а въ другихъ, какъ и въ прослушанномъ нами сегодня, преобладаетъ мысль автора, на помощь которой онъ призываетъ искусство...

— А оно не пришло, сказали бы коротко и ясно! Зачѣмъ же лекцію читать? добавилъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я не скажу этого, возразилъ профессоръ.

— И никто не скажетъ! сказалъ хозяинъ.

— Никто! повторили и другіе.

— Значить, все-таки тенденція есть, замѣтилъ журналистъ, — стало быть, вы допускаете и тенденціозные романы!

— Я все допускаю, гдѣ есть умъ или талантъ, прибавилъ профессоръ.

— Покорнѣйше благодаримъ! Какъ вы добры! ironically сказалъ Кряковъ: — за что же было порчать на романъ «Исторія одного крестьянина»?

Онъ кивнулъ туда, гдѣ сидѣлъ господинъ въ синихъ очкахъ.

— Стало быть, тенденціозный романъ все-таки нуженъ и имѣетъ *sa raison d'être*, продолжалъ журналистъ.

— Что, вѣрно русскаго порока не хватило, такъ давай наъ Франціи выискивать! тихо замѣтилъ генералъ.

— Вѣдь есть моменты въ исторіи, говорилъ далѣе журналистъ: — когда совершаются такіе крутые повороты отъ одного круга идей, понятій, событій, къ другимъ, которые требуютъ усиленнаго и совокупнаго участія всѣхъ нравственныхъ силъ, какими располагаетъ общество, между прочимъ и искусство. Согласитесь, что наше время будетъ отнесено исторіею къ числу такихъ раздражительныхъ и горячихъ моментовъ...

— Совершенная правда! согласился профессоръ, — искусство и приняло на себя часть общей работы; въ немъ и возобладало отрицательное направленіе. Современная литература грѣшитъ только тѣмъ, что злоупо-

треблеть этимъ, насилуетъ искусство, признаетъ только одно обличительное направленіе и гонять все другое, какъ будто бы ненужное...

— Что-жь Ламартинъ нуженъ, что ли? отчего же онъ поблѣднѣлъ, а Гюго, напротивъ, пережилъ его? перебилъ Кряковъ. — Или отчего Гейне сдѣлался представителемъ лирической поэзіи въ Германіи, какъ не отъ того, что въ немъ есть, говоря вашими краснорѣчивыми слогами, святая злоба, по-просту — сниртъ, злой умъ и талантъ? Подите вы съ своими «слабыми звуками и молитвами»! Чего слаще Ламартина и гдѣ больше молить, какъ не у него, а его забыли; что же это значить?

— Нѣтъ, не забыли и не забудутъ, замѣтилъ профессоръ: — онъ былъ поэтъ своего вѣка и останется въ исторіи литературы; ни Викторъ Гюго, ни Гейне не превзойдутъ его, ни наосомъ чувствъ, ни высотой мысли. Но онъ жилъ въ своемъ времени и отошелъ вмѣстѣ съ нимъ, какъ отойдутъ, въ свою очередь, и другіе. Кромя стиховъ, онъ оставилъ слѣды, какъ и историкъ; его «Исторія жироидистовъ»...

— Какая это исторія! Это плохой сентиментальный романъ! сказалъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, съ этимъ позвольте не согласиться! замѣтилъ Чешневъ, — и французы не раздѣлятъ вашего мнѣнія.

— Это еще не причина! во Франціи тоже не мало сдѣлались! отозвался Кряковъ.

— Се «тоже» est impayable! Oh, l'enfant terrible! замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

Кряковъ покосился туда, какъ будто отыскивая виноватаго.

— Такимъ образомъ, по нашему, оказывается, сказалъ журналистъ профессору; — что романъ, въ тѣсномъ смыслѣ, какъ изображеніе жизни, долженъ быть произведеніемъ творческаго искусства; но никому, конечно, нельзя запретить называть романою и произведеніе ума, подъ однимъ условіемъ, чтобы онъ не былъ скученъ...

— *Conditio sine qua non*, подтвердилъ профессоръ.

— Опять пороку не хватило! сказалъ генералъ Суховъ.

— Вѣдь это ученый разговоръ, такъ какъ же безъ латини! Ахъ ты, Скалозубъ! сказалъ Суховъ, ударивъ его ладонью по колену.

— Нѣтъ ли у васъ еще чего нибудь о романѣ? Или вы все выложили изъ мѣшка? спросилъ насмѣшливо Кряковъ.

— Есть еще одно послѣднее сказанье, но я ужъ, право, не знаю, говорить ли... И, кажется, и такъ употребилъ во зло вниманіе собесѣдниковъ...

— Да, кажется! вставилъ Кряковъ.

— Эту дурную привычку говорить много...

— И говорить прекрасно! прибавилъ Урановъ.

— Эту привычку я пріобрѣлъ на каюдрѣ. Но, извините, я перестану; я вижу явные знаки истерическаго. Вошъ, господинъ Кряковъ ждетъ не дожидется...

Онъ съ улыбкою глядѣлъ на Крякова.

— Ничего, продолжайте! вѣдь и поданная къ крыльцу лошадь ржетъ и бьетъ копытомъ отъ истерическаго... но

требляеть этимъ, насилуетъ искусство, признаеть только одно обличительное направленіе и гонять все другое, какъ будто бы ненужное...

— Что-жъ Ламартинъ нуженъ, что ли? отчего же онъ поблѣднѣлъ, а Гюго, напริมѣръ, пережилъ его? перебилъ Кряковъ. — Или отчего Гейне сдѣлался представителемъ лирической поэзіи въ Германіи, какъ не отъ того, что въ немъ есть, говоря вашимъ краснорѣчивымъ слогомъ, святая злоба, по-просту — сниртъ, злой умъ и талантъ? Подите вы съ своими «слабыми звуками и молитвами»! Чего слаще Ламартина и гдѣ больше молитвъ, какъ не у него, а его забыли; что же это значить?

— Итъ, не забыли и не забудутъ, замѣтилъ профессоръ: — онъ былъ поэтъ своего вѣка и останется въ исторіи литературы; ни Викторъ Гюго, ни Гейне не превзойдутъ его, ни насосомъ чувствъ, ни высотой мысли. Но онъ жилъ въ своемъ времени и отошелъ вмѣстѣ съ нимъ, какъ отождутъ, въ свою очередь, и другіе. Кромѣ стиховъ, онъ оставилъ слѣдъ, какъ и историкъ; его «Исторія юристовъ»...

— Какая это исторія! Это плохой сентиментальный романъ! сказалъ Кряковъ.

— Ну, итъ, съ этимъ позвольте не согласиться! замѣтилъ Чешневъ, — и французы не раздѣлятъ вашего мнѣнія.

— Это еще не причина! во Франціи тоже не мало слюняевъ! отозвался Кряковъ.

— Се «тоже» est impayable! Oh, l'enfant terrible! замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

бывало, его стихами, а теперь кто их читаетъ! И самъ онъ захлебывался своею славою и провозгласилъ: «Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный, къ нему не заростетъ народная тропа!» Народъ и не подозрѣваетъ этой «тропы», а поклонники давно забыли ее... и могила-то, говорятъ, развалилась вся! Даже некому тамъ и указать ее! Нашли у кого правду! прочтите-ка, напримѣръ, хоть «Въ вратахъ эдема ангелъ и ѿжизнь» — какъ это правдоподобно!

— Позвольте, прочту! и вы сами увидите, что это правдиво; вы счастливо попали!

Профессоръ буквально исполнилъ предложеніе критика и прочелъ стихотвореніе наизусть. Всѣ аплодировали — конечно Пушкину.

— Какая ерунда! сказалъ поморщившійся Краковъ.

Студентъ покотился со смѣху и спрятался за спинку Кракова.

— Если вы, англійскій философъ Честнертъ, обращаетесь къ Кракову: — не видите передъ глазами живую картину — сіяющаго у эдема ангела и демона, летающаго надъ бездною, если не чувствуете глубокой идеи, гласящей въ этой картинѣ, то вы можете принять девизъ Данте — «оставь всякую надежду на поэзію»...

— Но не на правду! А она одна поэзія и есть! перебилъ Краковъ. — Кто сейчасъ сказалъ, что искусство должно изображать жизнь? Откуда же Пушкинъ вывелъ этого жорга надъ бездною: изъ жизни, что ли? Или онъ вывелъ этого ангела...

— Выдѣлъ, сказалъ профессоръ: — въ своей фантазіи, и вы все видите...

— Ну, пусть это будетъ въ вратахъ эдема; что

съ вами и разговаривать! Пусти, уйду! говорилъ Кряковъ, стараясь вырвать полу платья изъ руки студента.

Но однако не ушелъ.

— Боже мой! тосковалъ Чешневъ:—какая ложь, какое искаженіе человѣческой природы! Жить безъ идеала, то есть, жить безъ цѣли! Отрѣшиться отъ фантазій — значить оборвать всѣ цвѣты, погасить солнечные лучи... Обратиться въ тьму кромѣшную...

— Затѣмъ? не надо только врать! Пусть говорятъ про солнце, да не называютъ его «Фебомъ съ золотыми перстами» и т. и. дичь! Вы называете идеаломъ праздное и болное мечтаніе! У человѣка одинъ идеалъ — правда! Правда въ наукѣ, правда въ жизни, правда въ искусствѣ... и ниши ее, какъ она есть: безъ прикрасъ, безъ вашихъ лучей...

— Отлично! отлично! браво, Кряковъ! андодировалъ студентъ, такъ что Урановъ, незамѣтно отъ другихъ, сердито погрозилъ ему пальцемъ.

— Не мѣшай! строго остановилъ его и Кряковъ.

— Да такой нѣтъ правды, никто ее такою не видалъ и нельзя видѣть! говорилъ Чешневъ.

— Еще замѣчу объ объективности, сказалъ профессоръ.—Новые писатели хотятъ простереть ее слишкомъ далеко. Художникъ, конечно, не долженъ соваться своею особою въ картину, наполнять ее своимъ я—это такъ! Но его духъ, фантазія, мысль, чувство—должны быть разлиты въ произведеніи, чтобъ оно было созданное живымъ духомъ тѣло, а не вѣрный очеркъ труна, созданіе какого-то безличнаго чародѣя! Живая связь между художникомъ и его произведеніемъ должна чувствоваться зрителемъ или читателемъ; они, такъ сказать, съ помощью чувствъ

бывало, его стихами, а теперь кто их читаетъ! И самъ онъ захлебывался своею славою и провозгласилъ: «Я памятникъ себѣ воздвигъ перукотворный, къ нему не заростетъ народная тропа!» Народъ и не подозрѣваетъ этой «тропы», а поклонники давно забыли ее... и могила-то, говорятъ, развалилась вся! Даже некому тамъ и указать ее! Нашли у кого правду! прочтите-ка, напримѣръ, хоть «Въ вратахъ эдема ангелъ и ѣжикъ» — какъ это правдоподобно!

— Извольте, прочту! и вы сами увидите, что это правдиво; вы счастливо попали!

Профессоръ буквально исполнилъ предложеніе критика и прочелъ стихотвореніе наизусть. Всѣ аплодировали — конечно Пушкину.

— Какая ерунда! сказалъ поморщившись Кряковъ.

Студентъ покотился со смѣху и спрятался за спину Крякова.

— Если вы, заиѣлъ жалкимъ голосомъ Ченневъ, обращаясь къ Крякову: — не видите передъ глазами живую картину — сіяющаго у эдема ангела и демона, летающаго надъ бездною, если не чувствуете глубокой идиллической таящейся въ этой картинѣ, то вы можете принять догадку Данте — «оставь всякую надежду на поэзію»...

— Но не на правду! А она одна поэзія и есть! перебилъ Кряковъ. — Кто сейчасъ сказалъ, что искусство должно изображать жизнь? Откуда же Пушкинъ взялъ этого чорта надъ бездною: изъ жизни, что ли? Или онъ видѣлъ этого ангела?...

— Видѣлъ, сказалъ профессоръ: — въ своей фантазіи, и мы всѣ видимъ...

— Ну, такъ стало быть вы вѣрите въ чертей; что

Нѣкоторые изъ гостей въ концѣ стола сдѣлали брезгливую мину.

Всѣ молчали. Уранову было какъ-то неловко. Онъ поглядывалъ съ упрекомъ на племянника, но тотъ упорно продолжалъ избѣгать его взгляда.

— А зачѣмъ эти новыя такъ пишутъ? спросилъ генералъ.

— Какъ зачѣмъ! Чего больше спрашиваютъ, то и пишутъ. Новыя пути открываютъ... ты слышалъ? объяснилъ Суховъ. — Вѣдь и у васъ вонъ перестали теперь шагать выше носа, да глядѣть въ одну сторону, а тоже имели бѣглый шагъ и въ размышную, что ли! Солдаты грамотѣ выучили, и мало ли чего завели новаго!

— И напрасно! сказалъ со вздохомъ Красноперовъ, вступавшійся въ ихъ разговоръ: — вотъ увидите, какихъ бѣдъ наживете. У васъ, слышь, и палки отбѣили... и чуть не гладятъ по головѣ виноватыхъ!

— Вы изволите спрашивать, отчего новыя такъ пишутъ? обратился профессоръ къ генералу: — отъ того что легче. Творчество не всякому дается, а реализмъ и техника — это двѣ двери, которыя открываются передъ всѣми, кто постучится въ нихъ! Даже школу выдумали... а школы не выдумываются, а создаются гениальными талантами: такихъ теперь нигдѣ нѣтъ! Диккенсъ, Пушкинъ и Гоголь не подозревали, что создаютъ школу, а она создалась ими! А эти господа сами заявляютъ о своей школѣ!

— «Реализмъ» да «техника» — объяснилъ, нечего сказать! шепотомъ замѣтилъ генералъ Сухову.

— Все это какъ нельзя болѣе справедливо, сказалъ Чешневъ: — и я, начавъ этотъ критическій турниръ, былъ

очень радъ, что вы взяли изъ моихъ рукъ концы и ратовали побѣдоноснѣ меня. Все сказанное вами, какъ вы основательно замѣтили, послужить намъ порукою для опредѣленія достоинства прочитаннаго нами романа. Вы очень вѣрно замѣтили, что нашъ авторъ не строго объективный творецъ-художникъ...

— Однако съ задатками творчества! прибавилъ профессоръ.

— И онъ далъ намъ увлекательное изображеніе, продолжалъ Чешневъ: — въ широкой рамѣ той жизни, въ сферѣ которой онъ живетъ... и мы всѣ здѣсь — за отсутствующихъ мы тоже поручимся — должны признать за этимъ романомъ...

— Большія достоинства! подтвердилъ профессоръ.

— Да, замѣчательное произведеніе! равнодушно прибавилъ журналистъ.

Кряковъ повернулся на стулѣ при этихъ похвалахъ.

— Да перестаньте! сердито замѣтилъ онъ.

Но ему не отвѣчали.

— Стало бытъ авторъ вполнѣ достигъ цѣли, къ которой шелъ, и мы можемъ — если позволите — прибавилъ Чешневъ, обращаясь къ хозяину: — выннть за его здоровье и благодарить за удовольствіе, доставленное намъ...

Всѣ чокнулись и выпили.

— Выннть-то и я вынню! замѣтилъ Кряковъ и выпилъ, но не чокнулся ни съ кѣмъ.

— А какой правильный, обработанный языкъ! сказалъ профессоръ.

— Да, славно пишеть! подтвердилъ генералъ, — только жаль, что и у него попадаются — то иностран-

ним, то мудренія слова, напримѣръ: коалиція, элементы, еще что-то...

— Въ корректурѣ это все вѣроятно будетъ исправлено, сказалъ журналистъ. — Хорошо бы немного придать разнообразія, небрежности языку, что называется abandon. А то ужъ слишкомъ гладко, прибранно, стилисто!

— Вы, конечно, обратились Чешневъ къ журналисту, — охотно приняли бы его на страницы вашего журнала?

Журналистъ задумался и не сразу отвѣчалъ.

— Я не знаю... надо подумать... поговорить съ моимъ сотрудникомъ по части белетристики, отвѣчалъ онъ уклончиво.

— Но вѣдь вы находите въ романѣ достоинства?

— О, конечно; но этого мало. Журналъ мой издается въ извѣстномъ направленіи — слѣдовательно все, что входитъ въ него, должно, или отвѣчать этому направленію, или, по крайней мѣрѣ, не противорѣчить ему рѣзко...

— Кажется авторъ отдѣльнаго самостоятельнаго сочиненія отвѣчаетъ самъ за себя, замѣтилъ Чешневъ: — и журналъ, помещающій его на своихъ страницахъ, играетъ тутъ роль только магазина, принимающаго вещь для продажи.

— Нѣтъ, это не такъ! сказалъ засмѣявшійся журналистъ. — Тогда это былъ бы не журналъ, а сборникъ, альманахъ...

— Кому охота разводить скуку въ своемъ журналѣ? замѣтилъ Кряковъ, шептавшійся съ студентомъ и услышавшій послѣднія слова.

— Позвольте не согласиться съ вашимъ отзывомъ, твердо сказалъ хозяинъ: — романъ не скучный. Мы всё на лицо — и всё скажемъ противное.

— Всё! всё! дружно сказали голоса.

— Скучный! утомительный! твердилъ Кряковъ: — я не могъ выспѣть...

— Это еще не причина! съ учтивымъ смѣхомъ возразилъ Ченцевъ.

— Однакожъ выспѣли! замѣтилъ хозяинъ, — я даже, извините, видѣлъ, что, при чтеніи иныхъ страницъ, ваши глаза, какъ бы это сказать, блистали, — значитъ было занимательно...

— Я хотѣлъ бѣжать, да потъ онъ не пускалъ! сказалъ Кряковъ, указывая на студента.

— *C'est très-joli, charmant!* тутъ нельзя соскучиться... Когда и кончилось, всё еще слушали, хотѣли продолженія!.. говорила Инлина и другіе.

— Да и скука — дѣло условное, сказалъ Ченцевъ: — есть много умныхъ, почтенныхъ людей, которымъ скученъ и Гомеръ, и Шекспиръ! Я сама знаю такихъ, которые тотчасъ уходятъ, лишь только заиграютъ при нихъ изъ Моцарта или Бетховена, но съ удовольствіемъ слушаютъ оперетки изъ «Елены прекрасной» или «*Duchesse de Gérolstein*». Другіе не терпятъ исторической школы въ живописи и отворачиваются отъ Тициана и Рубенса, а засматриваются на *tableaux de genre*. Многимъ даже всякій разговоръ образованныхъ людей въ салонѣ скученъ...

— *C'est vrai, c'est vrai! Bien dit!* Да! это вѣрно, метко! одобрили въ концѣ стола.

Кряковъ обводилъ глазами говорившихъ, какъ буль-догъ, будто выбирая, на кого бы наброситься.

— Такі вы сравниваете вашего автора съ Гомерами, Рубенсами и Тиціанами! Ха! ха! ха! захохоталъ онъ: — поздравляю васъ и пью за ваше здоровье!

Онъ, иронически кланяясь Чешневу, выпилъ свой бокалъ.

— И вынью за ваше и пожелаю, — медленно, съ жалостью въ голосъ, возразилъ Чешневъ: — чтобы на васъ палъ лучъ человѣческой правды!

И онъ выпилъ.

— Развѣ я лгу? съ азартомъ спросилъ Кряковъ.

Чешневъ сдѣлалъ отрицательный знакъ достоинства.

— О нѣтъ, Боже сохрани! вы весь искренность! но вы заблуждаетесь, и къ тому же сердитесь — слѣдовательно вы вдвойнѣ не правы! И въ эту минуту не правы, зная, что я вовсе не сравниваю автора, ни съ Гомеромъ, ни съ Тиціаномъ — и говорите въ гнѣвъ. Пошли же Господь миръ душѣ вашей!

— Аминь! сказалъ Суховъ, при общемъ смѣхѣ. — Пошли за попомъ, прибавилъ онъ тихо Урахову: — можетъ быть тотъ отчитаетъ его! Превесело, право! И непременно познакомлюсь съ нимъ, поѣду къ нему и пригласю къ себѣ обѣдать.

— Да поѣдемъ ужъ вмѣстѣ; мнѣ надо же ему карточку завести! сказалъ хозяинъ. — Митю возьмемъ съ собой! А знакомиться — нѣтъ, Богъ съ нимъ! Вонъ онъ какой оригиналъ!

Кряковъ между тѣмъ смотрѣлъ на всѣхъ разсѣянно, позванивая вилкой по тарелкѣ. Онъ, повидимому, начиналъ терять, при сосредоточенномъ на него общемъ

вниманіи, то, что называется *contenance*, или сталъ уставать отъ неловкости своего положенія.

— Помогни мнѣ выбраться какъ нибудь незамѣтно! шепталъ онъ студенту.

— Посиди еще немного, выѣстъ уйдемъ! А пока скажи еще что нибудь, отвѣчалъ тотъ.

— Вотъ вы говорили, вдругъ началъ Кряковъ, довольно покойно обращаясь къ профессору: — что романъ долженъ изображать жизнь — значитъ изображать правду. А вы, (онъ обратился къ Чешневу), нашли, что авторъ изобразилъ ее вѣрно: я спрашиваю васъ, гдѣ же у него эта жизнь и гдѣ ея правда? въ чемъ?

— Какъ гдѣ жизнь! цѣлый огромный кругъ живетъ во всемъ мірѣ этою жизнью!... съ удивленіемъ возразилъ Чешневъ.

— Какая это жизнь? развѣ такъ живутъ? И какой это «кругъ»: высшій, что ли, хотите вы сказать?...

— Не высшій, не низшій, а просто кругъ благовоспитанныхъ людей, то что называется — джентльменовъ у англичанъ, или порядочныхъ людей у насъ!

— Зачѣмъ же эти порядочные люди взять у него въ графскихъ и княжескихъ фамиліяхъ, или въ высшей военной и административной сферѣ? Развѣ онъ же предполагаетъ джентльменство въ другихъ слояхъ общества? Порядочность есть всадѣ, она бываетъ и подъ армякомъ!

— Это правда; но онъ между армяками никого не знаетъ. Онъ взялъ дѣйствіе и лица въ знакомомъ ему кругу. Не все ли это равно?

— Нѣтъ, не все равно! Зачѣмъ онъ взялъ ихъ

именно въ этомъ кругу? Зачѣмъ понадобилось ему изображать только ихъ?

— Какое право имѣете вы судить автора за то, чего онъ не далъ? Критика должна смотрѣть только на то, что онъ далъ! Каламъ пишетъ болото, Клодь-Торрени — убранный, расчищенный лѣсъ и свѣтлый ручей. И никому въ голову не приходитъ требовать, чтобы Каламъ писалъ сады, и упрекать Клодь-Торрени, зачѣмъ онъ не писалъ болота? И въ литературѣ тоже самое!

— Но нашему, что не аристократическій кругъ, то и болото? вставилъ Кряковъ.

— Тогда можно, продолжать, не слушая его, Чешневъ: — требовать къ суду тѣхъ авторовъ, которые изображаютъ, напримѣръ, одни — правы и быть купцовъ и мѣщанъ, другіе — крестьянъ. Были и такіе, которые писали изъ быта духовенства. Почему же сфера изъ высшего, какъ вы называете, или богатаго, знатнаго, благовоспитаннаго круга, должна оставаться недоступною писателю?

— А потому, что этого высшего круга нѣтъ на свѣтѣ, следовательно нѣтъ въ этой картинѣ и художественной правды, о которой вы оба съ профессоромъ говорили такъ краснорѣчиво сейчасъ!

Всѣ въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга.

— Какъ же это такъ «нѣтъ!» разсуждалъ генераль, обратясь къ хозяину и Сухову. — А всѣ твои сегодня гости, мы, какого же круга?

— Не принимай къ сердцу, что онъ говоритъ, тихо отвѣчалъ Суховъ: — вѣдь это антихристъ, но только

презлюбопытный малый; какъ бы его къ намъ въ клубъ затащить!

— Да такъ же, нѣтъ! порядочные люди или джентельмены есть во всякомъ классѣ; на верху ихъ меньше. Тамъ только бари. Развѣ они — высшій классъ? почему?

Все молчали.

— Вотъ и полюбуйтесь: каковъ образъ мыслей! вдругъ проговорилъ Красноперовъ, который во время спора объ искусствѣ уже задремалъ два раза.

— Замѣчаніе, что одного высшего класса нѣтъ, довольно вѣско и отчасти основательно, замѣтилъ журналистъ.

— Въ чемъ же, позвольте узнать? спросилъ хозяинъ, съ любопытствомъ; другіе тоже ждали отвѣта.

— Одной и цѣльной этой жизни дѣйствительно нѣтъ: она соприкасается съ жизнью другихъ круговъ, другаго воспитанія и нравовъ, а авторъ обходитъ ее и пишетъ одни верхи...

— Но вѣдь другіе пишутъ же одни низы и обходятся безъ верховъ, какъ я сейчасъ замѣтилъ! возразилъ Чешневъ.

— Да, это правда; но эти низы и въ дѣйствительности обходятся безъ верховъ.

— Вы думаете? пронычски спросилъ генералъ.

— Я говорю только про бытовую сторону, доступную искусству — прибавилъ торопливо редакторъ — и оставляю все прочее въ сторонѣ. Верхи не участвуютъ, т. е. не присутствуютъ въ правахъ низинныхъ слоевъ, въ ихъ житьѣ-бытьѣ. Они такъ и существуютъ сами по себѣ. Но одни верхи безъ низовъ — и для не просу-

ществуютъ. А нашъ авторъ умышленно обходитъ всякій другой, не высшій кругъ, замѣтно брезгуетъ имъ, а къ своему кругу относится пристрастно. Вотъ въ этомъ намѣреніи и цѣли автора — и нѣтъ художественной правды, какъ сейчасъ замѣтилъ г. Кряковъ!

— Слышишь, тебя цитируютъ? сказалъ смѣясь молодой Урановъ.

— Я же вѣдь говорилъ, что я одинъ правдивѣе всѣхъ! замѣтилъ тотъ.

— Художникъ-писатель долженъ быть объективенъ, т. е. безпристрастенъ, продолжалъ редакторъ: — долженъ писать, какъ напимѣръ, графъ Толстой, всякую жизнь, какая попадется ему подъ руку, потому что жизнь всего общества — смѣшанна и слитна. У него всѣ слои перетасованы, какъ оно и есть въ дѣйствительности. Рядомъ съ лицомъ изъ высшего круга, онъ пишетъ и мужика, и бабу-ключницу, и даже взбѣсившуюся собаку. Изъ столичныхъ салоновъ онъ переноситъ читателя въ избу домовитаго крестьянина, на ичельникъ, на охоту, и съ такою же артистическою любовью рисуетъ — и военныхъ, и статскихъ, и баръ, и слугъ, кучера и лошадей, лѣсъ, траву, пашню... все! Онъ, какъ птицеловъ сѣтью, покрываетъ своей рамкой цѣлую панораму всякой жизни и пишетъ — *sine ira*, какъ справедливо говоритъ профессоръ. Сдѣлай онъ иначе — онъ бы солгалъ, а талантъ лгать не можетъ, если же солжетъ, т. е. одно выставитъ, а другое утаитъ, одно напишетъ съ любовью артиста, а другое пристрастно, т. е. умышленно дурно, то онъ перестанетъ быть талантомъ; выйдетъ блѣдно, вяло, безжизненно, или односторонне, невѣрно...

прелюбопытный малый; какъ бы его къ намъ въ клубъ затащить!

— Да такъ же, нѣтъ! порядочные люди или джентельмены есть во всякомъ классѣ; на верху ихъ меньше. Тамъ только бары. Развѣ они — высшій классъ? почему?

Все молчали.

— Вотъ и полюбуйтеся: каковъ образъ мыслей! вдругъ проговорилъ Красноперовъ, который во время спора объ искусствѣ уже задремалъ два раза.

— Замѣчаніе, что одного высшего класса нѣтъ, довольно вѣско и отчасти основательно, замѣтилъ журналистъ.

— Въ чемъ же, позвольте узнать? спросилъ хозяйникъ, съ любопытствомъ; другіе тоже ждали отвѣта.

— Одной и цѣльной этой жизни дѣйствительно нѣтъ: она соприкасается съ жизнью другихъ круговъ, другаго воспитанія и нравовъ, а авторъ обходитъ ее и пишетъ одни верхи...

— Но вѣдь другіе пишутъ же одни низы и обходятся безъ верховъ, какъ я сейчасъ замѣтилъ! возразилъ Чешневъ.

— Да, это правда; но эти низы и въ дѣйствительности обходятся безъ верховъ...

— Вы думаете? проницески спросилъ генералъ.

— Я говорю только про бытовую сторону, доступную искусству — прибавилъ торопливо редакторъ — и оставляю все прочее въ сторонѣ. Верхи не участвуютъ, т. е. не присутствуютъ въ правахъ низшихъ слоевъ, въ ихъ житьѣ-бытьѣ. Они такъ и существуютъ сами по себѣ. Но одни верхи безъ низовъ — и дѣла не просу-

ками, идутъ цѣлые ряды — по профессіямъ, положенію, воспитанію, правамъ...

— Да еслибъ вашъ авторъ сталъ писать харчевню, то онъ посмотрѣлъ бы, не попалъ ли туда какойнибудь баринъ, и написалъ бы его одного, а мужиковъ обошелъ бы! сказалъ Кряковъ.

— Онъ вовсе не написалъ бы харчевни! спорилъ Чешневъ: — онъ тамъ не былъ и не знаетъ ся пошлителей.

— И знать не хочетъ! вотъ что скверно! Русская жизнь не на верхахъ! Ея тамъ нѣтъ!

Чешневъ пожалъ плечами, другіе улынулись.

— Вамъ хотѣлось бы, чтобъ онъ изобразилъ ту русскую жизнь, гдѣ и грязь, и пятна на скатерти, и несметный полъ...

Онъ вздохнулъ.

— Зачѣмъ опять брать крайности? говорилъ примирительно журналистъ, обращаясь и къ Чешневу, и къ Крякову. — Нѣтъ надобности умышленно искать сора и пачки, чтобы щеголять ими; но нельзя и обходить бережно и брезгливо все обыденное, гдѣ не всегда блещетъ чистота и изящество! А авторъ очень тщательно сортируетъ и лица, и вещи — даже какъ будто чистить и самую природу, подкабливаетъ пейзажи, чтобъ не попалъ туда какаянибудь соломенка или соринка. Это значитъ выскабливать и жизнь. Если можно обчистить и обдѣлать такъ людей, то изъ природы не выкинешь всего лишняго; будетъ ненатурально. Удалите и изъ людскихъ фигуръ все характеристическія, типичныя особенности, детали — выйдетъ безлично и безжизненно.

Чешневъ, склоня голову, слушалъ въ раздумьѣ этотъ стройный критическій періодъ.

— Тутъ есть, конечно, нѣкоторая доля правды, сказалъ онъ, наконецъ, съ легкимъ вздохомъ: — авторъ... нуристъ не въ одномъ языкѣ, но и въ герояхъ своихъ, и въ декораціяхъ романа. Но вѣдь и въ людяхъ, и въ природѣ, разлито много этой прибранныости и изыщества, если не владѣваться слишкомъ пристально; онъ и пишеть, какъ ему кажется то, на чемъ останавливается его взглядъ! Вы, конечно, не замѣтили патянутости, чопорности въ его романѣ? Онъ только въ высшей степени приличенъ, но простъ и естественъ...

— Приличенъ, пожалуй; но естественъ — едва-ли можно сказать, именно потому, что слишкомъ заботится, чтобъ не попалъ въ его салонъ «фламандскаго сора», по выраженію Пушкина, т. е. обиденной жизни, сказалъ журналистъ.

— Ему тамъ и не мѣсто — согласенъ!

— Не знаю; но отсутствіе живыхъ деталей отнимаетъ много жизни у людей и природы — опять скажу. Уловить и передать правдивую черту чувства въ данный моментъ, или движеніе мысли въ лицѣ человѣческомъ — это психологическій, внутренній реализмъ; обстановка сцены реальными, вѣрными деталями — это внѣшній реализмъ, а все вмѣстѣ ведетъ къ правдѣ.

— Но вѣдь писатели-художники и живописцы, соизнайтесь, часто рисуютъ и пишутъ много ненужныхъ правдъ, которыхъ можно бы избѣжать. Напримѣръ...

— Напримѣръ, — перебилъ Краковъ: — занахъ, который Петрушка, лакей Чичикова, поситъ вездѣ съ собой; этотъ примѣръ, что ли, хотите вы привести?

Всѣ засмѣялись, .Илиппа покраснѣла.

— Да... хоть этотъ и многіе другіе, все ненужные признаки.

— Объ этомъ ужъ давно спорили, и Бѣлинскій рѣшилъ этотъ споръ! сказалъ Кряковъ. — Почитайте его страницы, гдѣ онъ разсуждаетъ объ этой фарисейской опрятности; нельзя, видите, сказать, «воплетъ», нельзя поговорить при дамахъ (онъ покосился на .Илиппу) слово блоха и т. п. Послушать этихъ привередниковъ и передрать русскій языкъ на хорошій тонъ, такъ придется не говорить по русски, а только тыкать пальцемъ въ воздухъ! Понужное! что въ жизни есть — все нужно!

— Вы идете по слѣдамъ Гегеля, замѣтилъ съ улыбкой профессоръ: — все существующее разумно! Но не все нужное въ жизни — нужно въ искусствѣ, позвольте добавить вамъ афоризмъ!

— Напротивъ, ненужное играетъ и въ искусствѣ большую роль — сказалъ Кряковъ, — какъ и въ самой жизни, стало быть оно и нужно.

— Какъ ненужное въ жизни — нужно? спросилъ пронычекъ Суховъ; — напримѣръ... насморкъ?

Всѣ захохотали. Кряковъ махнулъ рукой.

— Ужъ это черезъ-чуръ парадоксально — позвольте замѣтить! сказалъ хозяинъ.

— Нѣтъ, не парадоксально! Я разумью подъ ненужнымъ всякій излишекъ сверхъ необходимаго. И въ жизни только излишки и даютъ намъ то, что называютъ счастьемъ; кто какъ понимаетъ счастье — это другой вопросъ!

— Какъ это такъ? позвольте, позвольте!

— Так! оглядитесь вокругъ, сказалъ Кряковъ. Въ самомъ дѣлѣ оглядѣлись.

— Вонъ что у васъ тамъ на верху поставлено, на шкапѣ?

— Какъ что, съ удивленіемъ отозвался хозяинъ: — статуи...

— А въ шкапѣ?

— Въ шкапѣ старинное серебро... вы видите!

Чепишевъ весело улыбнулся, редакторъ, профессоръ и нѣкоторые изъ гостей тоже, предвидя, къ чему пойдетъ рѣчь Кряковъ. Другіе же наивно глядя на предметы, которые они называли.

— Вонъ и на столѣ серебро, продолжалъ Кряковъ: — подъ ногами коверъ, вонъ бронзовые канделябры... разъ, два, три — четыре... вонъ тридцать или сорокъ свѣчей горять вмѣсто двухъ или трехъ! Развѣ все это нужно? А эти переноски, а дорогая зелень, десертъ, а вина двадцать бутылки?..

— Какъ же иначе? всадъ все это есть! говорили хозяинъ: — стало быть нужно!

— Нѣтъ, не всадъ; взгляните только въ окошко. Все это ненужное, лишнее... и они составляютъ ваше, и — вотъ всѣхъ ихъ — счастье. Можно есть на глиняныхъ тарелкахъ, а не на серебряхъ, пить воду или квасъ, ну, пиво — а вы пьете и ѣдите все ненужное, лишнее... Издержки на одно необходимое не сдѣлали бы намъ ни малѣйшаго удовольствія... напиримъ, покупка дровъ, или говядины себѣ на обѣдъ, овса лошадамъ. А вотъ васъ радуешь закупать всего этого, ненужнаго... или въ карты выиграть и проиграть.

— Tiens, cela c'est vrai! сказалъ одинъ гость.

Урановъ, генералъ, Суховъ и Иванъ Петровичъ — слушали, добродушно улыбаясь, не зная, что отвѣтить на этотъ парадоксъ. Всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на Крякова.

— Диогена корчить! тихо замѣтилъ кто-то.

— Что вы всѣ устались на меня? сказалъ онъ: — не правда, что ли? — Всѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, тутъ есть и правда! отозвался Урановъ.

— Ну, и въ искусствѣ то же: изобразите, тамъ, любовь, что ли, безъ реальныхъ атрибутовъ, безъ обстановки...

— Атрибуты! шепталъ генералъ.

— И выйдетъ вздоръ! какая-нибудь дѣва на скалѣ... чего не бываетъ! добавилъ Кряковъ.

— Но вѣдь Пушкинъ, какъ великій реалистъ и въ то же время классикъ, прибавилъ къ дѣлѣ въ одеждѣ бѣлой надъ волнами, бурю и покрывало, которымъ игралъ вѣтеръ—и вышло картинно и правдиво, т. е. реально! сказалъ профессоръ. —!то и есть поэзія!

— Куда его клубничное влеченіе завело: на скалу! смѣялся Кряковъ. —!то ужъ вовсе ненужное!

— Позвольте, позвольте, остановилъ его профессоръ: — вы противорѣчите сами себя: вы сейчасъ возвели ненужное въ законъ—и въ жизни, и въ искусствѣ...

— Ненужное, да правдивое! поймите меня: — что бываетъ! а черти надъ бездною не летаютъ и дѣвы на скалахъ не рисуются! огрызнулся Кряковъ.

— Авторъ нашъ классикъ, онъ чуждается реализма—это правда, заговорилъ опять профессоръ. — Онъ строго придерживается во всемъ классическаго стиля. Онъ ближе къ идеалу, нежели къ типу, и отъ того, между прочимъ,

чуждается житейских обыденных мелочей жизни. Это его вкусъ, воспитаніе или природа, какъ хотите. Но вѣдь и вкусы дробятся на роды, какъ само искусство дѣлится на школы. Различіе школъ и стилей обуславливается между прочимъ различіемъ вкусовъ эстетическихъ натуръ. Это тропинки, по которымъ расходятся артисты, слѣдуя каждый своей натурѣ...

— Ну, заиграла музыка! поставилъ Кряковъ въ полголоса, но его услышали и замѣлились, и ораторъ тоже.

— Одинъ ищетъ, напрямѣръ, природы въ глубинѣ дремучаго лѣса, въ степи, въ днѣхъ скалахъ, продолжаетъ онъ, — а другой видитъ и любитъ ее въ паркахъ, подлѣванныхъ садахъ и цвѣтникахъ! Кто ищетъ мадоннъ, библейскіе или мифологическіе сюжеты; другіе — повседневную неструю жизнь. Новые художники хотятъ смѣшати все, поднести подъ генералъ...

— Не вконеците на новыхъ художниковъ; они не смѣшиваютъ никакихъ школъ и стилей, а просто знаютъ ихъ не хотятъ! забываютъ опять Кряковъ. — Искъ — и Юпитеры, и Венеры, ваши ангелы у вратъ адама и черти надъ бездною, отжали свой вѣкъ и ничего не говорятъ болѣе представленію артиста. Новые художники ищутъ, что видать и знаютъ въ природѣ и въ жизни, и если заглядываютъ въ исторію, то и библейскія событія угадываютъ и ищутъ, какъ онѣ случились, а не какъ смотрятъ на нихъ идеалисты въ свои очки, сквозь тысячелѣтія...

Послѣ этого наступила пауза и Чешневъ съ грустью поникъ головой, прошепталъ: — «Боже мой! будетъ ли конецъ этому дикому разгулу!»

— Такъ вы полагаете — обратился онъ потомъ къ

Урановъ, генералъ, Суховъ и Иванъ Петровичъ — слушали, добродушно улыбаясь, не зная, что отвѣтить на этотъ парадоксъ. Всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на Крякова.

— Диогена корчить! тихо замѣтилъ кто-то.

— Что вы всё устались на меня? сказалъ онъ: — не правда, что ли? — Всѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, тутъ есть и правда! отозвался Урановъ.

— Ну, и въ искусствѣ то же: изобразите, тамъ, любовь, что ли, безъ реальныхъ атрибутовъ, безъ обстановки...

— Атрибуты! шепталъ генералъ.

— И выйдетъ вздоръ! какал-нибудь дѣва на скалѣ... чего не бываетъ! добавилъ Кряковъ.

— По идѣ Пушкинъ, какъ великій реалистъ и въ то же время классикъ, прибавилъ къ дѣвѣ въ одеждѣ бѣлой надъ полями, бурю и покрывало, которыми игралъ вѣтеръ—и вышло картинно и правдиво, т. е. реально! сказалъ профессоръ. — Это и есть поэзія!

— Куда его клубничное влеченіе завело: на скалу! смѣялся Кряковъ. — Это ужъ вовсе ненужное!

— Позвольте, позвольте, остановилъ его профессоръ: — вы противорѣчите сами себѣ: вы сейчасъ возвели ненужное въ законъ—и въ жизни, и въ искусствѣ...

— Ненужное, да правдивое! поймите меня: — что бываетъ! а черти надъ бездною не летаютъ и дѣвы на скалахъ не рисуются! огрызнулся Кряковъ.

— Авторъ нашъ классикъ, онъ чуждается реализма—это правда, заговорилъ опять профессоръ. — Онъ строго придерживается во всемъ классическаго стиля. Онъ ближе къ идеалу, нежели къ типу, и отъ того, между прочимъ,

Генераль, Суховъ и Урановъ засмѣялись. — *Bien dit!* раздалось съ другого конца стола:

— И это подвигъ со стороны автора, продолжалъ Чешневъ. — Давно пора было поднять консье противъ бурнаго натиска на все то, чѣмъ живетъ и держится общество!

— Напримѣръ—на что? почти грубо спросилъ Краковъ.

— Напримѣръ, на человѣческія приличія, уваженіе въ человѣческому достоинству, сдержанность, обузданіе дикихъ страстей — и вмѣстѣ съ этимъ, конечно, и на соотвѣствующія формы общежитія, на утонченность нравовъ, такъ же, какъ на чистый вкусъ и здравыя понятія... и въ искусствахъ! Словомъ, протестъ противъ всякой расхлябанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ, противъ всякаго звѣроподобія! Вотъ въ чемъ состоитъ подвигъ автора! Человѣчество долгимъ и труднымъ путемъ достигало этихъ результатовъ, а тутъ вдругъ появилось поколѣніе, которое хочетъ стереть все добытое тысячелѣтіями... И что оно поставитъ на это мѣсто? Вотъ противъ этой лени и грубаго насилія и протестуетъ авторъ!

— Нѣтъ, бурно заговорилъ Краковъ: — онъ протестуетъ противъ простоты нравовъ, сественности быта, требованій времени, противъ человѣческихъ правъ, личной свободы, равенства!.. Вотъ въ чемъ подвигъ вашего автора! Онъ хочетъ защитить положеніе своихъ героевъ на верху, ихъ привилегированную утонченность, роскошь, уклоненіе отъ прямаго и положительнаго труда!

— Пошла за полиціей! тихо, удерживая смѣхъ, сказалъ Суховъ хозяину.

— Постои, не мѣшай! Это любопытно! отвѣчалъ тотъ.

— Труды! съ горькимъ смѣхомъ повторилъ Ченшевъ:— да развѣ эти новые тунсыдцы не отъ труда бѣжали въ свои трущобы и проповѣдуютъ раздѣлъ чужой собственности!

Кряковъ вынулъ стаканъ краснаго вина.

— А на скромные, низшіе классы общества вашъ авторъ-аристократъ брызжетъ презрѣніемъ! Такъ, Митя? ты вѣдь слышалъ, обратился онъ къ студенту: — брызжетъ?

— Не помню! сказалъ тотъ со смѣхомъ: — что ты ссылаешься на меня? говори за себя!

— Гдѣ же? спросилъ Ченшевъ, — о низшемъ классѣ тамъ даже не упомянуто!

— А зачѣмъ не упомянуто? рѣзко отозвался Кряковъ.

— Вотъ, прошу угодить! сказалъ Ченшевъ и засмѣялся.

— Объ этомъ сейчасъ только говорили, прибавилъ онъ, — и исчерпали этотъ предметъ. Мы сказали уже, что авторъ не знаетъ другихъ классовъ....

— И знать не хочетъ! значитъ, презираетъ! И какъ ему не презирать! всѣ герои его — образцы взящества, уточенности мыслей, чувствъ, рѣчи — и всѣ ничего не дѣлаютъ! Какъ же вдругъ ввести въ ихъ кругъ труженника, отъ котораго можетъ почуваться запахъ трудового пота... виноваты... транспираціи — (неправился онъ съ улыбкой и проническимъ поклономъ во всѣмъ), и который, пожалуй, скажетъ «воняетъ дымомъ», вмѣсто «пахнетъ дымомъ». Еще, того гляди, явится въ поношенномъ платьѣ, безъ перчатокъ... вотъ какъ я пришелъ: извините! сказалъ онъ хозяйну, показывая голыя руки.

Генераль, Суховъ и Урановъ засмѣялись. — *Bien dit!* раздалось съ другого конца стола.

— И это подвигъ со стороны автора, продолжалъ Чешиневъ. — Давно пора было поднять копьё противъ бурнаго натиска на все то, чѣмъ живетъ и держится общество!

— Напримѣръ—на что? почти грубо спросилъ Краковъ.

— Напримѣръ, на человѣческія приличія, уваженіе къ человѣческому достоинству, сдержанности, обузданіе дикихъ страстей — и вмѣстѣ съ этимъ, конечно, и на соотвѣствующія формы общежитія, на утопичность нравовъ, такъ же, какъ на чистый вкусъ и здравыя понятія... и въ искусствахъ! Словомъ, протестъ противъ всякой расхлябанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ, противъ всякаго звѣроподобія! Вотъ въ чемъ состоитъ подвигъ автора! Человѣчество должно и труднымъ путемъ достигать этихъ результатовъ, а тутъ вдругъ появилось поколѣніе, которое хочетъ стереть все доброе тысячелѣтіями... И что оно поставитъ на это мѣсто? Вотъ противъ этой лжи и грубаго насилія и протестуетъ авторъ!

— Нѣтъ, бурно заговорилъ Краковъ: — онъ протестуетъ противъ простоты нравовъ, естественности быта, требованій времени, противъ человѣческихъ правъ, личной свободы, равенства!.. вотъ въ чемъ подвигъ нашего автора! Онъ хочетъ защитить положеніе своихъ героевъ на верху, ихъ привилегированную утопичность, роскошь, уклоненіе отъ прямого и положительнаго труда!

— Пошли за полиціей! тихо, удерживая смѣхъ, сказалъ Суховъ хозяину.

вмѣстѣ съ высшей властью, судьбами нашей страны (горячо обратился онъ къ Крякову)? Кто поставилъ ее на высокую ступень извинѣ и кто держитъ силу, порядокъ, и ходъ жизни внутри—какъ не лица того же круга, изъ котораго авторъ изялъ своихъ героевъ?

— Итъ! трудомъ, кровью и духомъ народа держится все! рыкалъ, какъ левъ, Кряковъ, съ блистающими глазами.

Студентъ поталкивалъ его тихонько въ бокъ.

— Да развѣ мы всѣ—не народъ? развѣ эти графы, князья, ихъ предки — не изъ народа и не народъ? спорилъ Чешневъ.

— Были! а теперь лѣзутъ изъ кожи, чтобы уйти отъ него дальше, не походить на него! Разрушаютъ даже послѣднюю связь съ нимъ—языкъ; стараются быть ему непонятнымъ, говорятъ по-французски, по англійски, всячески, лишь бы не по-русски!

Чешневъ вздохнулъ и покачалъ головой передъ этой послѣдней, конечно, неоспоримой правдой на счетъ языка.

— Да и въ своемъ-то языкѣ много иностранныхъ словъ употребляютъ, въ полголоса сказалъ генералъ:— что правда, то правда!

— Это отчасти справедливо, съ оттѣнкомъ грусти замѣтилъ Чешневъ: — и въ этомъ смыслѣ мы всѣ, пожалуй, давно не народъ. И вы тоже: одѣты вы не по-русски и употребляете много не русскаго и кромѣ языка. Да и русскій языкъ, которымъ вы говорите, не тотъ, которымъ говорить народъ; онъ васъ не пойметъ, а вы на его языкѣ говорить не умѣете.

— Отъ того, что его не учатъ понимать насъ, держать умышленно въ невѣжествѣ...

— Но вѣдь если онъ выучится одѣваться, говорить не по-русски, пить, ѣсть не русское, какъ мы теперь, такъ вѣдь онъ перестанетъ быть тѣмъ народомъ, какой вы разумѣете. Все это всегда такъ было и будетъ; это вѣчное колесо! Стало быть, вы негодуете, зачѣмъ не все вверху, или зачѣмъ мы все не внизу! Но вѣдь это физически невозможно? Вы не хотите понять, что народъ составляетъ только часть того, что называется націей! Вы, по крайней мѣрѣ, скажите, чего вы хотите? Какое ребячество!

— Не ребячество, а социализмъ это называется! Голубы, получите нашихъ съ вами, рѣшаютъ этотъ вопросъ; а намъ нечего спорить!

Все опять громко засмѣялись. Рѣшительно всѣмъ было весело отъ этихъ дебатовъ. И Чешневъ засмѣялся. Героизмъ вечера былъ не авторъ и его романъ, а Краковъ и оригинальные приемы его полемики.

— Чему вы обрадовались! сердито сказала Краковъ. Смѣхъ удвоился.

— Что же это такое этотъ социализмъ? спросилъ генералъ.

— Вамъ любопытно? обратился къ нему Краковъ:— спросите того фельдфебеля, котораго Скалозубъ хотѣлъ дать Ренетилу въ Вольтеры, а меня увольте отъ отвѣта!

— Въ нашъ огородъ камешки бросаетъ! добродушно замѣтилъ генералъ, видя общій смѣхъ.

— Народность или, скажемъ лучше, національность— не въ одномъ языкѣ выражается, сказалъ послѣ нѣкотораго молчанія Чешневъ.— Она въ духѣ единенія мысли, чувствъ, въ совокупности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтаютъ о будущемъ отдаленномъ

слиянні всѣхъ племенъ и національностей въ одну человеческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой цѣли — еслибъ такова была, въ самомъ дѣлѣ, конечная цѣль людскаго бытія—необходимо каждому народу переработать всѣ соки своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, весь смыслъ, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и принести эти національные дары въ общечеловѣческій капиталъ! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человеческого бытія.

Онъ въ раздумьѣ понылъ головой.

— Comme c'est profond! шептали въ одномъ концѣ.

— Это... это... знаете... началъ Суховъ: — это правда!... И онъ занялъ виномъ.

Белетристъ Скудельниковъ на минуту опять поднялъ глаза на Ченишева и потомъ снова впасть въ апатію.

— Какъ это хорошо сказано! très joli, n'est-ce pas? говорила Алина.

— Затѣйливо нечего сказать; ну, такъ что же? сказалъ Кряковъ:—что вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою великую и національную и человеческую задачу, и что въ ней ровно и дружно работаютъ всѣ силы великаго народа, отъ царя до пахара и солдата! Когда все тихо, покойно, всѣ, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя и для себя; говорятъ, пожалуй, и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонтѣ, загремѣтъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ—смотрите, какъ соеди-

иются всё нравственными и вещественными силами, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю—и какъ вдругъ всё, будто подъ напѣвомъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Баринъ, мужикъ, купецъ—всѣ идутъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ миліоны и копейки... и умираютъ, если нужно—и какъ умираютъ! Передъ нами уже не графы, князья, военные или статскіе, не мѣщане или мужики—а одна великая, будто изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя—Россія!

— Bravo! C'est sublime! отлично! закричали всѣ.— За здоровье Дмитрія Ивановича! человекъ, наливай шампанское! приказывалъ Урановъ.

— За что? Вы всё это думаете и чувствуете! говорилъ онъ, отбѣгая чоканьемъ на чоканье: — это общій отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да! подтвердили всѣ.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ, началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не договорилъ: его заглушилъ общій хохотъ.—А вы просто на просто повинность! выналили онъ, когда всѣ утикли.

Съ минуту длилось молчаніе. Профессоръ потупилъ глаза, журналистъ конфузливо улыбался, Студельниковъ вдругъ взглянулъ широко на Крякова и на Чешнева. Красноперовъ, Урановъ, Суховъ и генераль съ недоумѣніемъ поглядывали другъ на друга. — «Что это еще такое?» шепотомъ спросилъ генераль у Сухова. Тотъ спросилъ о томъ же Уранова, Урановъ у Чешнева. Про-

че съ усиленнымъ любопытствомъ смотрѣли на Чешнева и Крякова. Трухинъ даже протеръ очки платкомъ и ждалъ отвѣта. Чешневъ взглянулъ на Крякова какъ будто съ сожалѣніемъ. Студентъ прятался отъ недовольныхъ взглядовъ дяди за спину сосѣда.

— Вы назвали меня «шовинистомъ», сказалъ Чешневъ тихо и почти печально: — нѣтъ, я не ослабляюсь условными сентиментами и не поддаюсь ходячему, дешовому патріотизму! И могъ бы съ большимъ основаніемъ, въ свою очередь, назвать насъ «псевдо-либераломъ»...

— Чтожъ, назовите; я не обижусь! развязно сказалъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я этого не сдѣлаю, мягко перебилъ его Чешневъ:—вы гость здѣсь и ваша личность должна быть неприкосновенна.

— Ah, bravo! oui, c'est ça! это урокъ! Leçon bien méritée! пробѣжалъ тихій говоръ за столомъ. Кряковъ поглядывалъ кругомъ и слушалъ этотъ говоръ какъ-то равнодушно.

— Дайте же мнѣ вашу руку! прибавилъ Чешневъ, протягивая свою.

— Извольте! сказалъ Кряковъ и подаль руку.

— Но оставляя личность въ сторонѣ, я не могу молчать передъ псевдо-либерализмомъ, ноты котораго, извините, звучали въ вашихъ рѣчахъ. Этотъ псевдо-либерализмъ точить корни того истиннаго либерализма, который одинъ ведетъ къ прогрессу. Онъ избралъ своимъ девизомъ разрушеніе гражданственности, цивилизаціи, онъ не останавливается ни передъ какими средствами— даже пожарами, убійствами... и не знаетъ самъ, чего

хотѣть, и мчится... куда? задумчиво спросилъ какъ будто самого себя Чешневъ, поныкая головою.

— Вотъ, вотъ — да, это сямое! Что я, дивачи, по правду говорилъ? вдругъ прорекъ Красноперовъ.

— Ты... сдѣлалъ ему Суховъ. Кряковъ усѣхнулся.

— Ужъ объ этомъ говорили-говорили, писали-писали, а намъ все нейдетъ!—сказалъ онъ.

— Онъ еще съѣдется, каконъ молодецъ! шепталъ Красноперовъ сосѣдямъ:—какъ будто не его дѣло! Цѣтъ, вы отвѣчайте, куда онъ мчится, этотъ нашъ либерализмъ? прибавилъ старикъ громко.

— Почему я знаю, куда! сказалъ Кряковъ. — Пусть рѣшитъ нашъ мудрецъ!—Онъ указалъ на Чешнева.

— «Почему я знаю—куда», повторилъ Чешневъ: — это вѣрно! Это одинъ возможный, искренній отвѣтъ псевдо-либерализма! А онъ мчится мало по малу къ той безднѣ, заключилъ онъ: — отъ которой, умирая, отвернулся и Герценъ и куда отчаянно бросился маниакъ Бакуининъ, увлекая за собой Панургово стадо...

— Bravo! bravo! закричали многіе, гремя тарелками, звеня стаканами.

— Ну, я туда васъ не зову! сказалъ Кряковъ и опять засмѣялся.

Засмѣялся и студентъ.

— Правда, Митя? вѣдь я не такой? прибавилъ Кряковъ.

— Ну, послушались мы сегодня и новой и старой мудрости, сказалъ Суховъ своимъ сосѣдямъ:—законо-то спать будемъ?—А все-таки весело, прелееело здѣсь! заключилъ онъ.

— Да, весело, сказалъ тихо Урановъ:—только какъ

мигъ придется раздѣливаться? Вонъ, Чешневъ, и тотъ взволнованъ, Иванъ Петровичъ оскорбленъ, Лилина скопфужена и все озадачена! Митя одинъ только въ усь себя не дусть; уже выхою я ему голову! А теперь надо какъ нибудь загладить дурное впечатлѣніе!

— Вы что-то хотѣли еще сказать о нынѣшнемъ чтеніи, Дмитрій Ивановичъ? обратился онъ къ Чешневу.

— Я хотѣлъ напомнить, отвѣчалъ Чешневъ, — какъ нашъ авторъ выразилъ живо, рельефно, и патріотизмъ, и чувство долга, въ одной картинѣ...

— «Рельефно!» «синовичность!» какъ еще: «сикофантъ»? менталь генераль Сухову: — въ ушахъ даже звенить!

— Я говорю объ описаніи маневровъ, продолжалъ Чешневъ, — со стороны посмотрѣть — кажется, пожалуй, монотонно; но авторъ поставилъ читателя въ средину картины, слить его съ строемъ этихъ русскихъ душь, сердець, — и вы чувствуете себя единицею какой-то великой моральной и физической силы, и въ каждомъ солдатѣ, офицерѣ, генералѣ, видите роднаго брата, друга, самого себя!

— Величественная картина! подтвердилъ профессоръ.

— Да, эффектная! замѣтилъ редакторъ, — но въ романѣ она кажется несколько официальною... натянутою...

— Грандіозная! сказалъ Урановъ, — воли ваша!

— Грандіозная казарма! рѣшилъ Кряковъ.

— C'est très-joli! и какъ похоже! я много разъ бывала... такъ похоже, такъ похоже! твердила съ дѣтскою радостью Лилина.

— Да вотъ какъ, воображался генераль: — что я заблѣлъ, гдѣ я сижу; такъ и кажется, что веду бригаду; и

хотѣть, и мчится... куда? задумчиво спросилъ какъ будто самого себя Чешневъ, поныкая головою.

— Вотъ, вотъ — да, это самое! Что я, дивеча, по правду говорилъ? вдругъ прорекъ Красноперовъ.

— Ты... сдѣлалъ ему Суховъ. Кряковъ усмѣхнулся.

— Ужъ объ этомъ говорили-говорили, писали-писали, а намъ все нейдетъ! — сказалъ онъ.

— Онъ еще смѣется, каконъ молодець! шепталъ Красноперовъ сосѣдямъ: — какъ будто не его дѣло! Нѣтъ, вы отвѣчайте, куда онъ мчится, этотъ нашъ либерализмъ? прибавилъ старикъ громко.

— Почему я знаю, куда! сказалъ Кряковъ. — Пусть рѣшитъ нашъ мудрецъ! — Онъ указалъ на Чешнева.

— «Почему я знаю — куда», повторилъ Чешневъ: — это вѣрно! это одинъ возможный, искренній отвѣтъ псевдо-либерализма! А онъ мчится мало по малу къ той безднѣ, заключилъ онъ: — отъ которой, умирая, отвернулся и Герценъ и куда отчаянно бросился маниакъ Бакунинъ, увлекая за собой Панургово стадо...

— Bravo! bravo! закричали многіе, гремя тарелками, звеня стаканами.

— Ну, я туда васъ не зову! сказалъ Кряковъ и опять засмѣялся.

Засмѣялся и студентъ.

— Правда, Митя? вѣдь я не такой? прибавилъ Кряковъ.

— Ну, послушались мы сегодня и попой и старой мудрости, сказалъ Суховъ своимъ сосѣдямъ: — како-то спать будемъ? — А все-таки весело, превесело здѣсь! заключилъ онъ.

— Да, весело, сказалъ тихо Урановъ: — только какъ

оружіе! Можно бороться со всякою силою, но какъ одолѣть это гробовое молчаніе невидимаго врага, это непризнаваніе значенія, правъ, — и за кѣмъ: за воинами!

— Вы это все объ офицерахъ, что ли, говорите? спросилъ Криковъ; — да, ихъ не трогаютъ, это правда! но прежде всего оттого, что обругать не позволяютъ, а по головѣ только гладить не за что! Да и невѣрно будетъ, одностороннее, — какъ сейчасъ разсуждали — если только хвалить! Вотъ и молчать! — и хорошо дѣлаютъ! Что же общаго у военнаго званія съ офицерами?

— Ба! ба! ба! А они къ какому же званію принадлежать? Чѣмъ они провинились? Позвольте, позвольте, милостивый государь! горячился генералъ. — За что ихъ не любятъ и обходятъ?

— Обходятъ ихъ — я сейчасъ сказалъ почему, отвѣчалъ Криковъ: — не вѣлію трогать. А не любятъ — потому что... За что ихъ любить? Съ молодю они щеголяютъ, барствуютъ, роскошничаютъ у Борелей, въ обществѣ воятокъ, катаются на рысакахъ и давятъ народъ...

— Когда? гдѣ? позвольте спросить. — Вѣдь ужъ была возбуждена исторія, по навету печати, о какихъ-то офицерахъ, будто они скачутъ и давятъ народъ — и оказалось клеветой!

— Давите сколько хотите, все будетъ клевета; на то и привилегированное званіе! добавилъ Криковъ.

Генералъ и другіе проницески улыбались.

— Ну-съ, роскошничаютъ у Борелей... еще чѣмъ они виноваты? спросилъ генералъ.

— Потомъ изъ нихъ дрессируютъ губернаторовъ, разныхъ директоровъ, правителей... нужды нѣтъ, что, бы-

вало, въ обществѣ ходили рассказы объ ихъ милыхъ скапдальчикахъ...

— Боже мой! Боже мой! стоналъ Чешневъ: — какая злая несправедливость! И это русскій человѣкъ говорить о русскихъ, о своихъ братьяхъ!

Въ обществѣ сдѣлалось серьезное движеніе.

— Скажите, сколько на одинъ скандалъ между военными приходилось скандаловъ между статскими? Вся разница только въ томъ, что одинъ собиравлись у Норелей и Дюсо, а другіе на какой нибудь «Средней Рогаткѣ» платили дань молодости! Сами же вы говорите «бывало»; вѣдь измѣнились же съ тѣхъ поръ нравы, явились главный судъ, пресса... Зачѣмъ же вы хотите возвращать насъ къ давно минувшему однимъ злыми воспоминаніями?

Онъ поникъ головою и вздохнулъ.

— Офицеры, конечно, бываютъ молоды, какъ и студенты, и правовѣды, и семинаристы, прибавилъ онъ: — тѣхъ вы извиняете, а офицеровъ нѣтъ! Ужели вы не видите благородной цѣли автора — поправить эту несправедливость. напомнить о нихъ, изобразить характеръ этого прекраснаго, хотя и непріятнаго намъ круга общества, той группы его, которая идетъ въ эту минуту бороться и умирать за Россію?

Раздались рукоплесканія. Генералъ всталъ съ бокаломъ въ рукѣ.

— Хотя я и воинъ, но такъ мужественно и искусно сразиться за военныхъ не стѣмѣлъ бы. Позвольте выпить за ваше здоровье! сказалъ онъ.

— И мы! и мы! подтвердили всѣ.

— Щеголяютъ... барствуютъ... роскошничаютъ!.. началъ опять Чешневъ, когда всѣ затихли. — Да развѣ есть

оружіе! Можно бороться со всякою силою, но какъ одолѣть это гробовое молчаніе невидимаго врага, это непризнаваніе значенія, правъ, — и за чѣмъ: за воинами!

— Вы это все объ офицерахъ, что ли, говорите? спросилъ Кряковъ; — да, ихъ не трогаютъ, это правда! но прежде всего оттого, что обругать не позволятъ, а по головѣ только гладить не за что! Да и невѣрно будетъ, одностороннее, — какъ сейчасъ разсуждали — если только хвалить! Вотъ и молчатъ! — и хорошо дѣлаютъ! Что же общаго у воинскаго званія съ офицерами?

— Ба! ба! ба! А они въ какому же званію принадлежать? Чѣмъ они провинились? Позвольте, позвольте, милостивый государь! горячился генераль. — За что ихъ не любить и обходить?

— Обходить ихъ — я сейчасъ сказалъ почему, отвѣчалъ Кряковъ; — не вѣльно трогать. А не любить — потому что... За что ихъ любить? Съ молодости щеголяютъ, барствуютъ, роскошничаютъ у Борелей, въ обществѣ кокотокъ, катаются на рыскахъ и давятъ народъ...

— Когда? гдѣ? позвольте спросить. — Вѣдь ужъ была возбуждена исторія, по навѣту печати, о какихъ-то офицерахъ, будто они скачутъ и давятъ народъ — и оказалось клеветой!

— Давите сколько хотите, все будетъ клевета; на то и привилегированное званіе! добавилъ Кряковъ.

Генераль и другіе прощически улыбались.

— Ну-съ, роскошничаютъ у Борелей... еще чѣмъ они виноваты? спросилъ генераль.

— Потому изъ нихъ дрессируютъ губернаторовъ, разныхъ директоровъ, правителей... ну, жды пѣтъ, что, бы-

также, даже шире и роскошнѣе, — а въ кругу товарищей они все такъ ограничены условіями своего быта. Но вѣдь это исключенія; много ли ихъ? А не-богачи, живущіе въ казармахъ, жалованьемъ? А въ арміи — разбросанные по селамъ и деревнямъ? Спросите, какъ они роскошичаютъ?

— Этихъ авторъ не коснулся, съ злою улыбкой замѣтилъ Кряковъ.

— Пусть такъ! авторъ показалъ квинтъ-эссенцію военнаго званія: высшія, тонко выработанныя типичныя черты чести и военнаго достоинства — словомъ, взялъ вершины...

— Да развѣ честь — это привилегія военная, полковая, какъ полковая музыка, что-ли... а не свойство всѣхъ порядочныхъ людей въ мундирахъ и не мундирахъ? А онъ усвоилъ ее имъ какъ исключеніе!

— Онъ этого нигдѣ не говоритъ, онъ только коснулся нѣкоторыхъ формъ ея; есть степени и отбѣнки, своеобразные обычаи, условія, существующія во всякомъ дѣлѣ для однихъ, несуществующія для другихъ...

— Въ дѣлѣ чести все равно! все равно! твердилъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, замѣтилъ генераль: — уйти, напримеръ, изъ департамента или уйти съ военнаго поста — есть разница!

Послѣ этого настала пауза.

— Да, романъ замѣчательный, разсуждалъ журналистъ: — еслибъ онъ явился лѣтъ сорокъ назадъ, онъ произвелъ бы сильную сенсацію въ обществѣ!

— А теперь?

— Теперь, съ Гоголя, все до того охвачено отрицательнымъ направленіемъ, что положительный типъ

лица почти невозможенъ въ литературѣ. Къ этому подошлъ реализмъ, ввелъ новыя приемы въ искусство и одержалъ безповоротную побѣду надъ классицизмомъ.

— Вы думаете, что классицизмъ исчезнетъ въ искусствѣ? возможно ли это? сказалъ Чешневъ.

— Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ господствовалъ прежде, конечно — да...

— Это зависитъ отъ степени галанта, вмѣшался профессоръ. — Гений можетъ реставрировать (при этомъ словѣ генералъ поморщился) тотъ или другой стиль искусства! Въѣдъ отказался отъ классиковъ, значить отказаться отъ всякаго наслѣдія предковъ, отъ всякой преемственной связи съ прошедшимъ...

— Ну, опять запѣла канарейка! ворчалъ Кряковъ сосѣдямъ, которые не могли не засмѣяться.

— Если мы въ живыхъ организмахъ слѣдующихъ одно за другимъ поколѣній замѣчаемъ, продолжаемъ профессоръ: — поразительную наслѣдственность отличительныхъ признаковъ, моральныхъ и физическихъ свойствъ, переходящую изъ рода въ родъ — то какъ же мы отвергнемъ передачу умственного, духовнаго или эстетическаго достоянія?... Это значить отвергнуть цивилизацію — и начинать сначала. Зачѣмъ?

— Это совершенно справедливо, замѣтилъ редакторъ, — но вы берете въ обширномъ смыслѣ...

— Позвольте, позвольте! перебилъ Кряковъ: — отвѣйте на мой вопросъ, только неспремѣнно правду!

Опять общій смѣхъ.

— Oh, l'enfant terrible! говорили въ концѣ стола.

— Давно ли вы читали вашихъ классиковъ и часто ли читаете ихъ? спросилъ онъ.

Всѣ вдругъ смолкли.

— У меня Гомеръ, Гораций, Виргилій и всѣ классики, и древніе, и новыя — всегда подъ рукой! послѣ нѣкотораго молчанія сказалъ профессоръ.

— Я не васъ спрашиваю: это ваша служба! Вамъ классики нужны, какъ чиновнику сводъ законовъ; а вы? вы? — Онъ обратился къ Чешневу, редактору и къ прочимъ.

— Я заглядываю иногда... отвѣчалъ редакторъ.

— Для справокъ по журналу, по части критики и беллетристики?

— Я помню многое какъ будто вчера читалъ, сказалъ Чешневъ: — и многое знаю наизусть...

— Что заучили въ школѣ; а теперь?

— Я теперь, хотя рѣдко, не беру въ руки. Что же изъ этого?

— А вотъ эти всѣ господа, пожалуй, или вовсе, или со школьной скамьи не читали, прибавилъ Краковъ, указывая безъ церемоніи на прочихъ гостей: — или перезабыли!

«Читалъ прилежно Анзель»,

«А Цицерона не читалъ».

сказалъ улыбаясь Урановъ.

— Вотъ видите: и вашъ «великій» поэтъ этою прописію только прикрылъ правду; никто ихъ не читаетъ, а учать ихъ въ школѣ сами не знаютъ зачѣмъ, какъ учать и тому, что міръ сотворенъ въ шесть дней, что волчица кормила Ромула и Рема и т. п.; не вѣрять, а учать, потомъ забываютъ!

— Пусть волчица и не кормила Ромула и Рема, а вставки нельзя не выучить этой фабулы, замѣтилъ Чеш-

лствъ: — вы безъ всего этого въ жизни и шагу не сдѣлаете! Пожалуй забыть можно, но узнать нужно. Эти преданія сжились съ исторіей. Мало ли вы выучиваете такого, что вамъ не понадобится потомъ въ жизни; но все изученное входитъ въ плоть и кровь всего вашего нравственнаго, умственнаго и эстетическаго образованія! Безъ этой подкладки древнихъ классиковъ, ихъ образцовъ во всемъ—смѣлю скажу, человѣкъ образованнымъ назваться не можетъ...

— Да зачѣмъ же учить ложь? Зачѣмъ не передѣлать этого вздора, чтобы не набивать пухъ головы людскія? вонилъ сердито Кряковъ.

— Вы правы, заговорилъ редакторъ профессору: — классицизмъ будетъ присутствовать въ наукѣ и въ искусствѣ и во всей жизни, пожалуй, какъ фундаментъ... или корень, если хотите; онъ будетъ скрытъ въ глубинѣ земли. Но вѣдь человѣчество идетъ впередъ и все производитъ, творить; нарастаютъ новыя роды, виды, и образуютъ со временемъ новое зданіе, которое въ свою очередь сдѣлается классическимъ. Отъ древняго же, начальнаго классицизма — мы, воля ваша, ушли далеко! И дальше все будутъ нарастать новыя, свѣжіе словъ... Развитие остановиться не можетъ!

— Позвольте однако замѣтить, сказалъ профессоръ, — что произведенія искусства, какъ образцы, и сами по себѣ не отжили, и не одна только школа и молодость наслаждаются ими. Конечно, мы избалованы новыми и свѣжими побѣгами—это такъ, и вкусъ нашъ отчасти пригупился и сталъ мало чувствителенъ къ простой и величавой эстетической транеэ. Но, какъ я хотѣлъ сказать, по временамъ является реставрація древности, произво-

дима гениальными талантами, и въ законъ потусторонней
возстають тогда великіе покойники! Напримѣръ—Раменъ
развѣ не воскресила намъ древнихъ библейскихъ и героическихъ
женщинъ! Мы видѣли ихъ какъ живыхъ!

— Но Расину воскрешала древность! хороша древность!
замѣтилъ Крыковъ.—Развѣ Расинъ и Корнель тѣ классики,
которыхъ вы разумѣете; полиоте! А кто писалъ по классическимъ
образцамъ, всѣ провалились съ своими эпосами, одами, дифирамбами;
отъ нихъ ничего не осталось, все умерло!

— Это отъ того, что повторить ихъ не легко, и даже
близко къ нимъ подойти! сказалъ профессоръ.

— Потому что не нужно! вставилъ Крыковъ.—Учи и
пиши новую жизнь!

— Да, прибавилъ Чешневъ: — воиъ статуя Венеры
Милосской пролежала въ землѣ двѣ тысячи лѣтъ, но и
теперь никто изъ новыхъ, въ своихъ произведеніяхъ,
не подошелъ и близко къ ней! Или наша, хоть бы керченская
ваза!... Да все, все, что ни найдутъ: руку, торсъ, черепокъ
вазы—все оказывается неподражаемо!

— Теперь все это машинами стали дѣлать на фабрикахъ,
сказалъ хозяинъ:—*magnifique—et pas cher!*

— Да, кажется къ этому идти! со вздохомъ замѣтилъ
Чешневъ.

— Вы съѣхали на пластическія искусства, а мы, кажется,
говорили объ искусствѣ слова! сказалъ Крыковъ.

— И Гомера никто не повторилъ! замѣтилъ профессоръ:—сами
вы сказали!

— Наладили! въ полголоса замѣтилъ Крыковъ. — И я
то связался спорить! Кто бы сталъ читать нонаго Гомера!
Новый Гомеръ у насъ — это Гоголь!

Старик засмѣялся.

Опять настала пауза.

— Скажите, какъ вы находите женщинъ въ романѣ? спросилъ Ченненъ редактора.

— Граціозныя, нѣжныя созданія, прозрачныя какъ видѣнія... хвалилъ профессоръ.

— Да, именно видѣнія! повторилъ журналистъ тономъ легкой ироніи:—такъ воздушно и тонко очерчены онѣ, что плоти и крови въ нихъ какъ будто нѣтъ! Это болѣе тѣни, нежели живыя фигуры. Иначе впрочемъ и быть не могло: авторъ, какъ я замѣтилъ, нишетъ условныя, лицевыя стороны жизни, не вводитъ насъ ни въ психологическую глубину, ни въ интимную реальную жизнь, оттого очерки его и блѣдны. Притомъ женщины у него, какъ актрисы на сценѣ, дѣйствуютъ будто и на свободѣ, сами по себѣ, по во всякомъ ихъ словѣ и движеніи замѣтно, что на нихъ обращены тысячи глазъ. Мало того, что называется... abandon и вообще натуры...

— Завели рѣчь о «клубничкѣ!» сказалъ съ пренебреженіемъ Кряковъ:—объ этомъ и говорить-то тошно! Нѣтъ романа, гдѣ авторъ самъ не захлебывался бы отъ юбочнаго счастья и не отравлялъ бы имъ и читателя! Ужели въ зрѣломъ обществѣ только въ этомъ вся жизнь и все дѣло и состоитъ, и другаго содержанія нѣтъ!

— Есть, какъ не быть! вонъ — Совѣтъ, пожалуй, дѣла... есть клубъ, есть карты; а уברי женщинъ со-вѣтъ—ничего безъ нихъ и не падо! Это главное, это на перномъ планѣ; на этомъ все вергнется! вдругъ провозгласилъ хозяинъ.—И не пишу ни романовъ, ни драмъ, ни комедій, а знаю, что и тамъ, и въ жизни, безъ нихъ—хоть въ гробъ ложись. Такъ ли?

— Такъ! такъ! закричали всѣ. — За здоровье женщинъ! За ваше здоровье!

Всѣ обратились къ Лилиной.

— Bravo! воскликнула она, сверкая дѣтскими глазами. — Я принимаю за всѣхъ женщинъ этотъ тостъ и благодарю! — Она кокетливо отпила изъ бокала.

— Да, женщины — все! прибавилъ и профессор. — Онъ иногда явный, иногда скрытый мотивъ всякаго человѣческаго дѣла; ихъ присутствіе, вліяніе, такъ сказать, женской атмосферы, даетъ цвѣтъ и плодъ жизни. Мы, мужчины, только орудіе, рабочая сила, на насъ лежитъ всякая черная работа... словомъ, мы — матерія, а женщины — духъ...

— Перестаньте, вѣдь мерзко слушать! при общемъ смѣхѣ сказалъ Кряковъ. — Вотъ вѣдь, кажется, и культурный вѣкъ, и культурное общество...

— «Культурный вѣкъ», остановилъ его генералъ: — позвольте спросить, поймутъ ли васъ въ харчениѣ, въ нашемъ народѣ, если вы скажете эдакъ?

Кряковъ поморщился и отмахнулся рукой отъ генерала, какъ отъ большой собаки.

— Авторъ, изображая сцены любви, замѣтилъ редакторъ опять съ проноіей: — держался болѣе теоріи «неземнаго чувства», какъ его называли, бывало, въ стихахъ; у него любовь похожа скорѣе на религіозный экстазъ католическихъ монахинь, а не на живое, страстное человеческое чувство...

— Какъ у Золя, напримѣръ? спросилъ Чешневъ. — Да, надо прибавить и этотъ цытокъ къ вѣсну автора; онъ не стеснялся своихъ страницъ ни однимъ пятномъ грубой чувственности! Свѣтъ и огонь чувства сквозить

и грѣсть всадѣ, а горячихъ углей пѣтъ! Это одна изъ его заслугъ!

— Онъ скушесекъ на поцалуи, это правда! сказалъ (Фуховъ:—пѣтъ, чтобы того... эдакъ... (онъ поглядывалъ на Лилину, какъ будто ея присутствіе стѣсняло его) — что-нибудь на счетъ... какъ, напримѣръ, тамъ графъ съ княгиней... въ паркѣ, что ли, въ ея деревнѣ... ну, жаркую сценку... какъ водится... но человѣчески!...

Всѣ посмѣивались.

— Вотъ, чего захотѣлъ; смотри, узнать Анна Андреевна! сказалъ ему хозяинъ.

— Да, вы правы; если ужъ писать объ этомъ, такъ пиши реально, замѣтилъ и Кряковъ: — клубничка такъ клубничка! Изображай правду! не краснѣй! рассказывай, какъ амурничаютъ эти бары и барыни между собой! Или графы и княгини иначе дѣлаютъ любви, нежели мужики? Открой намъ тайны ихъ будуаровъ и алькововъ, если открываешь всю ихъ жизнь! А то дѣлаютъ любовь съ напускнымъ, невиннымъ лицомъ, какъ будто играютъ пьесу въ панашинныя пмяшны!

— А кто видалъ эти тайны? спросилъ Чешневъ.

— Какъ кто? я думаю, всѣ! со смѣхомъ сказалъ Кряковъ.

— Кого же? себя видали въ чувственныхъ изліліяхъ любви? продолжалъ Чешневъ. — И у художника достанетъ духа писать съ себя и съ любимой женщины! Скажите, какое чувство испытываетъ порядочный человѣкъ, если ему случится быть постороннимъ свидѣтелемъ самой скромной ласки между любящимися, даже между мужемъ и женой? Его коробитъ; а вы требуете, чтобы худож-

никъ вносилъ въ искусство то, на что сама природа набросила покровъ, — стыдитесь!

Кряковъ улыбнулся.

— Какимъ изящнымъ слогомъ рассказываете вы все это! замѣтилъ онъ.

— Очень желалъ бы вамъ сдѣлать такой же complimentъ, но, къ сожалѣнію, не могу...

Общій смѣхъ не далъ договорить ему.

— Препесело, право! твердилъ Суховъ.

И хозяинъ развеселился.

— Да, благодаря Митѣ! сказалъ онъ.

— А отдѣлаю я автора, покажись только въ печать! грозилъ Кряковъ.

— Да, если вы скажете печатно то, что вы говорили здѣсь, то, конечно, произведеніе нашего автора не выдержитъ такой критики. Это все равно, еслибъ сюда вошелъ гость — и мы, вмѣсто того, чтобы раздвинуть стулья, очистить между нами мѣсто и встрѣтить его вѣжливо и радушно, вдругъ поднялись бы на него толпой, съ крикомъ, съ упреками, что онъ не такъ одѣтъ, не такъ пригожъ, уменъ! Вотъ образъ новой критики! Новый авторъ тоже, что новый гость въ литературѣ! Какіе же это нравы? какая критика?

— Это называется теперь critique militante... воинствующая! съ прощаніемъ замѣтилъ профессоръ.

— Да, правда! критика — это война! сказалъ Чепневъ: — но одни воюють мечемъ или конемъ какъ рыцари...

— Больше пороховъ и свинцомъ! поправилъ генералъ.

— А другіе...

— Кулакомъ!.. да, это бываетъ; и хоть не такъ

больно, какъ свинцомъ, а все-таки морды до крови разбиваются! добавилъ Кряковъ и самъ засмѣялся, когда засмѣялись другіе. — Впрочемъ до этого рѣдко доходить; больше ругаются! заключилъ онъ.

— Что это за прелесть—малый! сказалъ Суховъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, провозгласилъ вдругъ хозяинъ, обращаясь къ Скудельникову: — что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали...

— Ну, говорите теперь: что такое?

— А вотъ дыню и ананасъ забыли, такъ и остались неразрѣзанными! сказалъ онъ. Всѣ засмѣялись.

— Въ самомъ дѣлѣ! сейчасъ, сейчасъ! захопотался хозяинъ. — Да что вы о дынѣ, вы о романѣ-то ничего не сказали.

— Я все слушалъ...

— Ну, и скажите что-нибудь.

— Все скажу.

— Говорите: мы слушаемъ.

— Я не помню, а самому автору скажу.

— Что скажете?

— Все что здѣсь происходило и что говорили о его романѣ...

— Нельзя: мало ли что тутъ говорили! Онъ обидится.

— Вы не знаете его, а еще друзья! Все скажу, что дѣлали и говорили...

— Все?

— Все, даже и про ананасъ съ дыней не забуду!

— Скорѣй! скорѣй! кончимъ ихъ...

— Некогда: смотрите, на дворъ день!

Всѣ оглянулись къ окнамъ. Майское утро пронесло-
гало, даже сквозь густые занавѣсы, блескъ свѣчей.

Кряковъ вдругъ всталъ съ мѣста и спорими шагами
подошелъ къ хозяину, вѣстѣ съ студентомъ.

— Прощайте, мнѣ пора! сказалъ онъ: — спасибо
вамъ! Прекрасный вечеръ! Мнѣ очень весело было...
Ужинъ отличный, и вино тоже!

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой; хозяинъ, Суховъ,
генералъ окружилъ его. Прочіе сидѣли.

— Не хотите ли рюмку на прощанье? сказалъ хо-
зяинъ.

— Хоть стаканъ, съ удовольствіемъ!

Ему подали вина.

— За ваше здоровье! Благодарю! Я очень доволенъ
вами! очень!

Всѣ хохотали.

— А мы-то вами какъ! сказалъ Суховъ. Урановъ
пожималъ ему обѣ руки.

— Намъ надо васъ благодарить! Вы доставили намъ
такъ много удовольствія... говорилъ онъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, я радъ! Прощайте и вы
всѣ! сказалъ онъ прочимъ собесѣдникамъ: — я на васъ
не сержусь, господа!

Общій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

— Il ne manquait que ça! Est-il drôle! раздалось
среди смѣха въ другомъ концѣ стола.

— Право, не сержусь! ни на кого! даже и на васъ!
обратился онъ къ Красноперову. — И на ваше пренесо-
дительство тоже! обратился онъ къ генералу. — Дайте
руку!

— Вы очень добры! сказалъ генералъ и весело хлопнулъ рукой по его ладони.

Красноперовъ надулся. Хохотъ такъ и гудѣлъ.

— Что же вы смѣтаетесь? упрекнулъ Кряковъ.— Скажите имъ, что это неучтиво! обратился онъ къ Чешневу,— вы мнѣ дали урокъ въ учтивости, а они вонъ что! Смѣйтесь, когда уйду!

Но у всѣхъ лица такъ и сіяли отъ смѣха.

— Dieu, Dieu, Dieu, Dieu! повторялъ гость въ концѣ стола.

— Я самъ приѣду къ вамъ съ визитомъ благодарить васъ за посѣщеніе! сказалъ хозяинъ.

— Хорошо, хорошо! очень радъ! Славная мысль! буду ждать васъ! отвѣчалъ Кряковъ.— Зачѣмъ съ визитомъ, да еще благодарить? Просто такъ приѣзжайте! Не обманите!

Урановъ молчалъ и въ недоумѣніи поглядывалъ на него.

— И мнѣ позвольте покороче познакомиться съ вами и просить васъ когда-нибудь сдѣлать мнѣ честь пожаловать ко мнѣ! сказалъ Суховъ.— Я приѣду къ вамъ вотъ съ Григоріемъ Петровичемъ...

— Буду ожидать; чтожъ, я радъ!.. И васъ всѣхъ прошу: милости просимъ ко мнѣ, кому угодно...

Всѣ смѣялись.

— Я теперь въ Павловскѣ! прибавилъ онъ.

— На дачѣ? Гдѣ же васъ тамъ найти? спросилъ съ улыбкой Суховъ.

— Вотъ онъ знаетъ! отвѣчалъ Кряковъ, указывая на молодого Уранова.— Съ нимъ приѣзжайте! вотъ бы въ четвергъ: тамъ музыка въ этотъ день... Право!

Гдѣ же мы васъ тамъ, на музыкѣ встрѣтимъ? спросилъ Урановъ съ улыбкой.

И всѣ улыбались.

— Да, хоть на музыкѣ, а потомъ ко мнѣ...

— Прощайте, прощайте, не поминайте лихомъ! твер-
дилъ онъ обходя столъ. Чешиеву онъ молча подаль руку
и крѣпко пожалъ. [] ему тѣмъ же и съ
какимъ то состра[] ему въ слѣдъ.—
«Теперь, кажется, [] онъ тихо со-
сѣду:—это одинъ []
могнѣанъ!»

— И этот, я указывая глазами, отвечал тот тихо,

Кряковъ все пр

— Eh, vous, le...
подходя къ концу...
скія фразы.

— Tiens! il parle correctement! замѣтили тамъ.

Потомъ онъ остановился около .Илиной.

— Прощайте, барыня! сказалъ онъ: — я и на васъ не сержусь; видите, какой я добрый! — Хохотъ возобновился.

— Дображите же и вы доброту: дайте миѣ руку на прощанье: не бойтесь, я не укушу!

Все съ любопытствомъ и смѣхомъ смотрѣли на нихъ обоихъ. Лилия робко и нерѣшительно положила свою руку на его ладонь, особенно когда увидѣла, что у него рука была чистая и въ рукава виднѣлись манжеты безукоризненной бѣлизны.

— Не сердитесь? иѣтъ? спрашивалъ онъ, держа ея руку.

— Нѣтъ, нисколько! сказала она, поглядывая на окружающих:— мыѣ тоже было весело!

— II прекрасно! А какая у васъ славная ручка: стройная, правильная, образцовая....

Она хотѣла отнять руку, особенно когда всѣ, не удерживая смѣха, смотрѣли на эту сцену. Но онъ держалъ ее крѣпко.

— Только пухла очень, мягка... изнѣжена она! Я знаю однако одну руку, которая не уступитъ вашей, особенно если на нее надѣтъ вотъ такую лепешку!— Онъ указалъ на ея браслетъ съ большимъ изумрудомъ и съ бриллиантами вокругъ.— Но та рука грубѣе; она не изжится, а работаетъ и иглой; при случаѣ и сваритъ что-нибудь, и около дѣтей повозится!

— Чья же эта такая счастливая рука, что удостоилась вашего вниманія? съ кокетливой пропѣй спросила Лилина, уже переставшая робѣть.— Извините за нескромный вопросъ! прибавила она.

— Москѣ жены, вотъ чья! славная бабенка! сказалъ Кряковъ.— Но все-таки и у васъ ручка образцовая!

Онъ вдругъ чмокнулъ ея руку и быстро побѣжалъ вонъ, преслѣдуемый дружнымъ хохотомъ и восклицаніями всѣхъ гостей. За нимъ слѣдовалъ студентъ, а сзади провожалъ хозяинъ. Двери затворились и хозяинъ воротился на свое мѣсто.

— Каковъ! а! раздавалось съ разныхъ сторонъ.

— Mais c'est une horreur! c'est une peste!

— Помилуйте, прелесть! говорилъ Суховъ.

— L'ours mal léché! Oh, quelle horreur!

— А я вижу, что онъ добрый малый, воля ваша! сказалъ генераль.

— II какой умный, образованный! прибавилъ редакторъ.

Гдѣ же мы васъ тамъ, на музыкѣ встрѣтимъ? спросилъ Урановъ съ улыбкой.

И всѣ улыбались.

— Да, хоть на музыкѣ, а потомъ ко мнѣ...

— Прощайте, прощайте, не забывайте лихомъ! твердилъ онъ обходя столъ. Чешинеу онъ молча подалъ руку и крѣпко пожалъ ее; тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же и съ какимъ то состраданіемъ посмотрѣлъ ему въ слѣдъ. — «Теперь, кажется, мало такихъ, замѣтилъ онъ тихо со-сѣду:—это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ!»

— И этотъ, я думаю, тоже? отвѣчалъ тотъ тихо, указывая глазами на Красноперова.

Кряковъ все прощался.

— Eh, vous, là-bas, sans gancine! сказалъ онъ вдругъ, подходя къ концу стола, откуда раздавались французскія фразы.

— Tiens! il parle correctement! замѣтили тамъ.

Потомъ онъ остановился около Лилиной.

— Прощайте, барыня! сказалъ онъ:—я и на васъ не сержусь; видите, какой я добрый!—Хохотъ возобновился.

— Докажите же и вы доброту: дайте мнѣ руку на прощанье: не бойтесь, я не укушу!

Всѣ съ любопытствомъ и смѣхомъ смотрѣли на нихъ обонхъ. Лилина робко и нерѣшительно положила свою руку на его ладонь, особенно когда увидѣла, что у него рука была чистая и изъ рукава видѣлись манжеты безукоризненной бѣлизны.

— Не сердитесь? нѣтъ? спрашивалъ онъ, держа ее руку.

— Нѣтъ, нисколько! сказала она, поглядывая на окружающихъ:—и нѣ тоже было весело!

данъ будетъ, въ пользу Герцеговинцевъ, спектакль, съ участіемъ артиста Императорскихъ театровъ...»

Онъ не успѣлъ договорить имени артиста, какъ все общество гостей привстало съ мѣсто, хоромъ ахнуло и вдругъ оцѣнило въ молчаніи.

— Это онъ! возможно ли! шепнулъ кто-то точно въ испугѣ.

— Diable! diable! nous sommes joliment attrapés! проговорилъ про себя другой.

Общая картина, которую вполнѣ наслаждался только одинъ зритель, молодой Урановъ.

Затѣмъ послѣдовалъ общій, силовитой смѣхъ. — «А мы-то!» «А я-то!» вырывалось, среди хохота, то у того, то у другого. Чешневъ такъ и заливался дѣтскимъ смѣхомъ надъ собою. Только Красноперовъ угрюмо молчалъ.

— Какъ это тебѣ въ голову пришло, Митя! обвиняя племянника, сказалъ Урановъ.

— Вы просили, дядя, помочь, чтобъ весело было! сказалъ тотъ.

— Спасибо! я въ долгу у тебя не останусь! заключилъ Урановъ.

Еще собесѣдники не очнулись отъ смѣха, какъ вошелъ человѣкъ и сказалъ, что швейцаръ принесъ снизу доложить что-то нужное. Швейцаръ и самъ выглядывалъ изъ-за дверей въ залу.

— Что такое случилось? что тебѣ? спросилъ Григорій Петровичъ швейцара. — Войди!

— На счетъ гостя, вотъ что сейчасъ изволили уйти...

— Ну?

Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ ждали.

— Когда они вышли, я подаль имъ пальто; а они

— Паршивая овца! сказалъ Красноперовъ:—все стадо перепортить!

— Заблудшая овца! поправилъ съ сожалѣніемъ профессоръ.

— А вы, Дмитрій Ивановичъ, какъ находите его?

— Онъ для меня... загадка! сказалъ тотъ задумчиво.

— Вы, конечно, знаете его? спросилъ онъ у редактора журнала.

— Нѣтъ, въ первый разъ слышу его имя, сказалъ тотъ.—Теперь такъ много пишущихъ въ газетахъ и журналахъ!

Въ эту минуту воротился молодой Урановъ и съ несильнымъ видомъ смотрѣлъ на гостей.

— Ну что, проводилъ гостя? спросилъ его дядя.

— Да! Какъ онъ вамъ понравился?

Все повторили ему свои отзывы.

— Еще приглашаетъ къ себѣ! сказалъ Красноперовъ.— Кто поѣдетъ къ такому уроду, куда-нибудь въ труппу, на чердакъ!

— Мы поѣхали бы—вотъ съ нимъ! сказалъ хозяинъ, показывая на Сухова:—еслибы это было въ городѣ. Но, конечно, онъ не серьезно приглашалъ насъ, да еще въ Павловскъ! Ты, Митя, завези ему просто наши карточки.

— Напротивъ, онъ очень серьезно приглашаетъ насъ всехъ—сказалъ студентъ съ лукавымъ смѣхомъ;—и даже васъ! обратился онъ къ Инлиной.—Вотъ и приглашеніе!

Онъ подавъ дядѣ какой-то листокъ. Все наострили уши и жадно впились глазами въ хозяина.

— Что это такое? сказалъ тотъ и началъ читать въ слухъ:

«Въ четвергъ, 12-го Мая, въ Павловскомъ театрѣ,

съ разными вещами. Общое вниманіе обратилъ поданный изъ ложи, черезъ капельдинера, большой старинный серебряный кубокъ, изысцной работы, который Урановъ показывалъ за ужиномъ своимъ гостямъ.

Артистъ принялъ кубокъ, узналъ его, взглянулъ на доску, откуда его подали, и не могъ даже поклониться. Онъ только приложилъ руку къ сердцу.

На кубкѣ были вырѣзаны имена всѣхъ присутствующихъ на ужиномъ.

«Истинному виновнику вечера 7-го Мая—благодарю васъ всеобщими», сказано было въ запискѣ, вложенной въ кубокъ.

Тамъ же оказался футляръ съ браслетомъ, украшеннымъ большимъ изумрудомъ съ брилліантами вокругъ.

«Съ одной женской руки на другую, достойнѣйшую, супругу сурруги знаменитаго артиста—отъ женщины», написано было мелкимъ женскимъ почеркомъ на бумажкѣ.

Наконецъ, со дна кубка артистъ досталъ начку разужныхъ ассигнацій. Онъ сосчиталъ—оказалось пятьсотъ рублей. Онъ отнесъ ихъ въ кассу, взялъ росписку въ полученіи пожертвованія отъ такихъ-то лицъ въ пользу славянъ—и отправилъ ее на другой день съ своею визитною карточкою къ Уранову.

Сентябрь 1877.

МНІОНЪ ТЕРЗАПІЙ. |

съ разными вещами. Общее вниманіе обратилъ поданный изъ ложъ, черезъ капельдннера, большой старинный серебряный кубокъ, изящной работы, который Урановъ показывалъ за ужиномъ своимъ гостямъ.

Артистъ принялъ кубокъ, узналъ его, взглянулъ на ложу, откуда его подали, и не могъ даже поклониться. Онъ только приложилъ руку къ сердцу.

На кубкѣ были выгравированы имена всѣхъ присутствовавшихъ за ужиномъ.

«Истинному виновнику вечера 7-го Мая—благодарные собесѣдники», сказано было въ запискѣ, вложенной въ кубокъ.

Тамъ же оказался футляръ съ браслетомъ, украшеннымъ большимъ изумрудомъ съ бриліантами вокругъ.

«Съ одной женской руки на другую, достойнѣйшую, руку супруги знаменитаго артиста—отъ женщины», написано было мелкимъ женскимъ почеркомъ на бумажкѣ.

Наконецъ, со дна кубка артистъ досталъ пачку радужныхъ ассигнацій. Онъ сосчиталъ—оказалось пятьсотъ рублей. Онъ отнесъ ихъ въ кассу, взялъ росписку въ полученіи пожертвованія отъ такихъ-то лицъ въ пользу славянъ—и отправилъ ее на другой день съ своею визитною карточкою къ Уранову.

Сентябрь 1877.

«МИЛІОНЪ ТЕРЗАНІЙ».

(Критическій этюдъ).

Горе отъ ума, Грибодовъ. — Бенедикъ Монова, ноябрь,
1871 г.

Комедія «Горе отъ ума» держится какимъ-то особнякомъ въ литературѣ и отличается молоджавостью, свѣжестью и болѣе яркою живучестью отъ другихъ произведеній слова. Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умирають и валятся, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда-нибудь и его чередъ.

Всѣ знаменитости первой величины конечно не даромъ поступили въ такъ-называемый «храмъ безсмертія»: у всѣхъ у нихъ много, а у иныхъ, какъ, напримѣръ, у Пушкина, гораздо болѣе правъ на долговѣчность, нежели у Грибодова. Нѣтъ нельзя близко и ставить одного съ другимъ. Пушкинъ громаденъ, неподотворенъ, силенъ, богатъ. Онъ для русскаго искусства тоже, что Помпонсоъ для русскаго просвѣщенія вообще. Пушкинъ занялъ собою всю свою эпоху, самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ. — взять себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что успѣлъ взять Грибодовъ и до чего не договорился Пушкинъ.

Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Геніальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству — сами становятся исторіей. Мы изучили Онегина, его время и его среду, извѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа останется неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ Лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онегинъ, свою эпоху, каменѣютъ, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ о явившихся позднѣе ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ и въ которыхъ права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедію «Недоросль» Фонвизина, — и основательно — она живая, горячая пора продолжалась около полувѣка: это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намёка въ «Недоросль» на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

«Горе отъ ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило ихъ, прошло невредимо чрезъ Гоголевскій періодъ, прожило эти полувѣка со времени своего появления и все живетъ своею петербургскою жизнью, переживаетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей живучести.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе отъ ума?»

Критика не трогала комедію съ однажды занятого ею мѣста, какъ будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изуст-

ная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оцѣнила ее фактически. Сразу понявъ ея красоты и не найдя недостатковъ, она разнесла рукопись на ключа, на стихи, подустинія, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи, точно обратила миллионъ въ гривенники, и до того испецировала Грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія.

Но пьеса выдержала и это испытаніе — и не только не оцѣнилась, но сдѣлалась, какъ будто, дороже для читателей, нашла себѣ въ каждомъ изъ нихъ покровителя, критика и друга, какъ басни Крылова, не утратившія своей литературной силы, переходя изъ книги въ живую рѣчь.

Печатная критика всегда относилась съ большою или меньшею строгостью только къ сценическому исполненію пьесы, мало касаясь самой комедіи, или высказывалась въ отрывочныхъ, неполныхъ и разнорѣчивыхъ отзывахъ. Рѣшено разъ всѣмъ навсегда, что комедія образцовое произведеніе — и на томъ всѣ помиралась.

И мы здѣсь не претендуемъ произнести критическій приговоръ, въ качествѣ присяжнаго критика: рѣшительно уклоняясь отъ этого — мы, въ качествѣ любителей, только высказываемъ свои размысленія, тоже по поводу одного изъ послѣднихъ представленій «Горя отъ ума» на сценѣ. Мы хотимъ подѣлиться съ читателемъ этими своими мнѣніями, или лучше сказать сомнѣніями о томъ, такъ ли играется пьеса, т. е. съ той ли точки зрѣнія смотреть обыкновенно на ея исполненіе и сами артисты и зрители? А заговоривъ объ этомъ, нельзя не высказать мнѣній и сомнѣній и о томъ, такъ ли должно по-

Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Гениальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству — сами становятся исторіей. Мы изучили Онегина, его время и его среду, взвѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа останется неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ Лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онегинъ, свою эпоху, камениются, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ о явившихся позднѣе ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ нѣкоторыя права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедію «Недоросль» Фонъ-Визина, — и основательно — ея живая, горячая пора продолжалась около полушѣка: это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намека въ «Недорослѣ» на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

«Горе отъ ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило ихъ, прошло непредимо чрезъ Гоголевскій періодъ, прожило эти полшѣка со времени своего появленія и все живетъ своею нетлѣнною жизнью, переживаетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе отъ ума?»

Критика не трогала комедію съ однажды занятого ею мѣста, какъ будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изуст-

Другіе, отдавая справедливость картинѣ нравовъ, вѣрности типовъ, дорожатъ болѣе синграмматической солью языка, живой сатирой — моралью, которую шлепа до сихъ поръ, какъ нестоющимъ колодезь, снабжаетъ всякаго на каждый обиходный шагъ жизни.

Но и тѣ и другіе цѣнители почти обходятъ молчаніемъ самую «комедію». дѣйствіе, и многіе даже отказываютъ ей въ условномъ сценическомъ движеніи.

Несмотря на то, всякій разъ однако, когда мѣняется персональ въ роляхъ, и тѣ и другіе судьи идутъ въ театръ, и снова поднимаются оживленные толки объ исполненіи той или другой роли и о самихъ роляхъ, какъ-будто въ новой пьесѣ.

Всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія и на нихъ основанная своя точка зрѣнія у всѣхъ и у каждого служатъ лучшимъ опредѣленіемъ пьесы, т.-е., что комедія «Горе отъ ума» есть и картина нравовъ, и галерея живыхъ типовъ, и вѣчно-острая, жгучая сатира, и вмѣстѣ съ тѣмъ и комедія, и скажемъ сами за себя—больше всего комедія — такая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять совокупность всѣхъ прочихъ указанныхъ условій. Какъ картина, она, безъ сомнѣнія, громадна. Полотно ея захватываетъ длинный періодъ русской жизни—отъ Екатерины до императора Николая. Въ группѣ двадцати лицъ отразилась, какъ лучъ свѣта въ капль воды, вся прежняя Москва, ея рисунокъ, тогдашній ея духъ, историческій моментъ и нравы. И это съ такою художественною, объективною законченностью и опредѣленностью, какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю.

Въ картинѣ, гдѣ нѣтъ ни одного блѣднаго пятна, ни

одного посторонняго, лишняго штриха и звука — зритель и читатель, чувствуютъ себя, и теперь, въ нашу эпоху, среди живыхъ людей. И общее, и детали, все это не сочинено, а такъ цѣлкомъ взято изъ московскихъ гостиныхъ и перенесено въ книгу и на сцену, со всей теплотой и со всеѣмъ «особымъ отпечаткомъ» Москвы, — отъ Фамусова до мелкихъ штриховъ, до князя Тугоуховскаго и до лакея Петрушки, безъ которыхъ картина была бы неполна.

Однако для насъ она еще не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись отъ эпохи на достаточное разстояніе, чтобъ между ею и нашими временемъ легла непроходимая бездна. Колоритъ не сгладился совсѣмъ,¹ въѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть: мы кое-что оттуда унаслѣдовали. Хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и проч. и недоумѣвались такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу Грибоѣдовскихъ типовъ. Рѣзкія черты отжили конечно: никакой Фамусовъ не станетъ теперь приглашать въ шуты и ставить въ примѣръ Максима Петровича, по крайней мѣрѣ, такъ положительно и явно. Молчалины, даже передъ горничной, вѣхомолку, не сознается теперь въ тѣхъ заповѣдяхъ, которыя завѣщалъ ему отецъ; такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможенъ даже въ дальнемъ захолустѣ. Но пока будетъ существовать стремленіе къ почестямъ помимо заслуги, пока будутъ водиться мастера и охотники угождать и «награждать братья и весело пожить», пока снѣтны, бездѣлье, пустота, будутъ господствовать, не какъ пороки, а какъ стихіи общественной жизни —, до тѣхъ поръ, конечно, будутъ мелькать и въ современномъ обществѣ черты

Фамусовыхъ, Молчаливыхъ и другихъ, нужды нѣтъ, что съ самой Москвы стерся тотъ «особый отпечатокъ», которымъ гордился Фамусовъ.

Общечеловѣческіе образцы конечно останутся всегда: хотя и тѣ превращаются въ неузнаваемо отъ времени-ныхъ переѣвъ типы, такъ что, на сѣбѣ старому, художникамъ иногда приходится обновлять, по прошествіи долгихъ періодовъ, явившіяся уже когда-то въ образахъ основныя черты правды и вообще людской натуры, облачая ихъ въ новую плоть и кровь въ духѣ своего времени. Тартюфъ, конечно, вѣчный типъ, Фальстафъ — вѣчный характеръ — но и тотъ и другой, и многіе еще знаменитые подобные имъ первообразы — страстей, пороковъ и проч., исчезая сами въ туманѣ старины, почти утратили живой образъ и обратились въ идею, въ условное понятіе, въ нарицательное имя порока — и для насъ служатъ уже не живымъ урокомъ, а портретомъ исторической галлерей.

Это особенно можно отнести къ Грибоедовской комедіи. Въ ней мѣстный колоритъ слишкомъ ярокъ, и обозначеніе самихъ характеровъ такъ строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловѣческія черты едва выдѣляются изъ-подъ общественныхъ положеній, ранговъ, костюмовъ и т. п.

Какъ картина современныхъ правды, комедія «Горе отъ ума» была отчасти анахронизмомъ и тогда, когда въ 30-хъ годахъ появилась на московской сценѣ. Уже Щенкинъ, Мочаловъ, Львова-Синицкая, Ленскій, Орловъ и Сабуровъ играли не съ натуры, а по свѣжему преданію. И тогда стали исчезать рѣзкіе штрихи. Самъ Чацкій гремитъ противъ «вѣка мицуннаго», когда ни-

салась комедія, а она писалась между 1815 и 1820 годами.

«Какъ посмотрѣть да посмотрѣть» (говорить онъ),

«Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ *минувшій*,

«Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ»—

а про свое время выражается такъ:

«Теперь волюнѣ всякій дышетъ»—

или:

«Бранилъ *оанъ* вѣкъ я безпощадно»,

—говоритъ онъ Фаусову.

Слѣдовательно, теперь остается только немного отъ мѣстнаго колорита: страсть къ чинамъ, низкопоклонничество, пустота. Но съ какими-нибудь реформами чины могутъ отойти, низкопоклонничество до степени лакейства Молчалинскаго уже прячется и теперь въ темноту, а поля фронта уступила мѣсто строгому и рациональному направленію въ военномъ дѣлѣ.

Но все же еще кое-какіе живые слѣды есть, и они пока мѣшаютъ обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этотъ разговорный стихъ, кажется, никогда не умрутъ, какъ и самъ, разсыпанный въ нихъ острый и ѣдкій живой русскій умъ, который Грибоедовъ заключилъ, какъ волебникъ духа какого-нибудь въ свой замокъ, и онъ разсыпается тамъ злобными смѣхомъ. Целья предстать себѣ, чтобъ могла явиться когда-нибудь другая, болѣе естественная, простая, болѣе ваятая изъ жизни рѣчь. Проза и стихъ слѣпсъ здѣсь по что-то нераздѣльное, затѣмъ кажется, чтобы, ихъ легче было удержать въ памяти и пустить опять

въ оборотъ весь собранный авторомъ умъ, юморъ, шутку, и злость русскаго ума и языка. Этотъ языкъ такъ-же дался автору, какъ далась группа этихъ лицъ. Какъ дался главный смыслъ комедіи, какъ далось все выйтѣ, будто вышло разомъ, и все образною необыкновенную комедію—и въ тѣсномъ смыслѣ какъ сценическую пьесу,—и въ обширномъ, какъ комедію жизни. Другихъ ничѣмъ какъ комедіей она и не могла бы быть.

Оставляя двѣ капитальныя стороны пьесы, которыя такъ явно говорятъ за себя, и потому имѣютъ большинство почитателей,—т.-е. картину эпохи, съ группой живыхъ портретовъ, и соль языка,—обратимся сначала въ комедіи, какъ къ сценической пьесѣ, потомъ какъ къ комедіи вообще, къ ея общему смыслу, къ главному разуму ея въ общественномъ и литературномъ значеніи, наконецъ, скажемъ и объ исполненіи ея на сценѣ.

Давно привыкли говорить, что пѣтъ движенія, т.-е. пѣтъ дѣйствія въ пьесѣ. Какъ пѣтъ движенія? Есть—живое, непрерывное, отъ перваго появленія Чацкаго на сценѣ до послѣдняго его слова: «Карету мнѣ, карету!»

Это—тонкая, умная, изящная и страстная комедія, въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ,—вѣрная въ мелкихъ психологическихъ деталяхъ,—но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героевъ, гениальной рисовкой, колоритомъ мѣста, эпохи, предельно языка, всеми поэтическими силами, такъ обильно развитыми въ пьесѣ. Дѣйствіе, т.-е. собственно интрига въ ней, передъ этими капитальными сторонами, кажется блѣднымъ, лишнимъ, почти ненужнымъ.

Только при разлѣдѣ въ сѣняхъ зритель точно про-

буждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между главными лицами, и вдругъ принимаетъ комедію-интригу. Но и то не надолго. Передъ нимъ уже вырастаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи.

Главная роль конечно—роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина правды.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, польстилъ ему въ заглавіи, какъ будто предупредивъ читателя, что герой его уменъ, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій, не только умнѣ всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Речь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ—это человѣкъ, не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомандуетъ его горничная Лиза, онъ «чувствителенъ, и веселъ и остеръ». Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его игралъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между тѣмъ Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣ Онегина и Лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣлатель, а тѣ—паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненные порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинается новый вѣкъ—и въ этомъ все его значеніе и весь «умъ».

И Онегинъ, и Печоринъ, оказались неспособны къ

лѣзу, къ активной роли, хотя оба смутно понимали, что около нихъ все истлѣло. Они были даже «озлоблены», носили въ себѣ и «недовольство» и бродили какъ тѣни съ «тоскующею лѣнью». Но презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали, ни бороться съ нимъ, ни бѣжать окончательно. Недовольство и озлобленіе не мѣшали Оуѣгину фривитить, «блестѣть» и въ театрѣ, и на балѣ, и въ модномъ ресторанѣ, кокетничать съ дѣвицами и серьезно ухаживать за ними въ замужествѣ, а Печорину блестѣть интересной скукой и мѣшать свою лѣнь и озлобленіе между княжной Мери и Валою, а потомъ рисоваться равнодушіемъ къ нимъ передъ тушымъ Максимомъ. Максимъ: это равнодушіе—считалось квинтэссенціей донъ-жуанства. Оба томилась, задыхались въ своей средѣ, и не знали, чего хотѣть. Оуѣгинъ пробовалъ читать, но лѣннулъ и бросилъ, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нѣжной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и какъ-нибудь»—и имъ нечего было дѣлать.

Чацкій, какъ видно, напротивъ готовился серьезно къ дѣятельности. Онъ «славно пишетъ, переводитъ», говоритъ о немъ Фахусовъ, и всѣ твердятъ о его высокомъ умѣ. Онъ, конечно, путешествовать не даромъ, учился, читалъ, принимался, какъ видно, за трудъ, бился въ отношеніяхъ съ министрами и разошелся—не трудно догадаться почему:

«Служить бы радъ, прислуживаться тошно»,

—намекаетъ онъ самъ. О «тоскующей лѣни, о праздной скукѣ» и помину нѣтъ, а еще менѣе о «страсти нѣжной»,

буждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между главными лицами, и вдругъ принимается комедій-пятиригу. Но и то не надолго. Передъ нимъ уже вырастаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи.

Главная роль конечно—роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина нравовъ.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, похвалилъ ему въ заглавіи, какъ будто предупреждая читателя, что герой что умный, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій, не только умнѣ всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно умный. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ—это человѣкъ, не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомандуетъ его горничная Анна, онъ «чувствителенъ, и веселъ и остеръ». Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его играетъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между тѣмъ Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣ Онегина и Лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣлатель, а тѣ—паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ божественныя порожденія отжившаго вѣка. Ихъ заканчивается ихъ время, а Чацкій начинается новый вѣкъ—и въ этомъ все его значеніе и весь «умъ».

И Онегинъ, и Печоринъ, оказались неспособны къ

ничто не помогает. Онъ терпитъ онъ неа одинъ го-
лодомости, пока, идео задѣвъ Молчалина, онъ не задѣлъ
за живое и се. Она уже съ скрытой злостью сираши-
насть его, случилось ли ему хоть печально «добро е-
комъ-нибудь сказать», и исчезаетъ при выходѣ отца, вы-
давъ послѣднему почти головой Чацкаго, т. е. объявить
его героемъ разсказаннаго передъ тѣмъ отцу сна.

Съ этой минуты между со и Чацкимъ начинается го-
рѣчій поединокъ, самое живое дѣйствіе. комедія въ тѣ-
сномъ смыслѣ, въ которой принимаютъ близкое участіе
два лица. Молчалинъ и Лиза.

Великій шагъ Чацкаго, почти всякое слово въ шестѣ,
тѣсно связано съ игрой чувства его въ Софій, раздра-
женнаго какою-то довью въ ея поступкахъ, которую онъ
и бьется разгадать до самаго конца. Весь умъ его и всѣ
силы уходятъ въ эту борьбу: она и послужила жонпромъ,
поводомъ въ раздраженіямъ, въ тому «миллону терзаній»,
подъ вліаніемъ которыхъ онъ только и могъ сыграть ука-
занную ему Грибоедовымъ роль, роль гораздо бо нѣнго,
внѣшняго значенія, нежели неудачная любовь, словомъ
роль, для которой и рождается эта комедія.

Чацкій почти не замѣчаетъ Фамусова, холодно и раз-
сѣлано отвѣчаетъ на его вопросъ, гдѣ была? «Теперь
мнѣ до того ли?» говорить онъ, и обидѣя прѣлхати
опять ухадати, проговаривая изъ того, что его посто-
насть:

«Какъ Софя Павловна у гасъ вхоронилась!»

Въ второмъ послѣдніи онъ начинается разговоръ опять
о Софій Павловнѣ. — «Не болѣла ли она? не приключи-
лось ли ей печаль?» — и до такой степени охваченъ, и
подогрѣтымъ ея раздѣлѣнней красотой чувствомъ, и ея

холодностью къ нему, что, на вопросъ отца, не хочетъ ли онъ на ней жениться, въ разсѣянности спрашивать: «А вамъ на что?» И потомя равнодушно, только пзъ приличія, допозняетъ:

«Пусть я посвятаюсь, вы что бы мнѣ сказали?»

И почти не слушая отвѣта, вяло замѣчаетъ на со-
вѣтъ «послужить:»

«Служить бы радъ,—прислуживаться тошно!»

Онъ, и въ Москву, и къ Фамусову, пріѣхалъ оче-
видно для Софьи и къ одной Софьѣ. До другихъ ему
дѣла нѣтъ; ему и теперь досадно, что онъ, вмѣсто нея,
нашелъ одного Фамусова. «Какъ здѣсь бы ей не быть?»
задастся онъ вопросомъ, припоминая прежнюю юноше-
скую свою любовь, которую въ немъ «ни даль не охла-
дила, ни развлеченіе, ни перемѣна мѣстъ». — и мучается
ея холодностью.

Ему скучно и говорить съ Фамусовымъ — и только
положительный вызовъ Фамусова на споръ выводитъ Чац-
каго изъ его сосредоточенности:

«Вотъ то-то, все вы гордецы:

«Смотрѣли бы какъ дѣлали отцы,

«Учились бы на старшихъ глядя!»

—говорить Фамусовъ и затѣмъ чертитъ такой грубый и
уродливый рисунокъ рабодчества, что Чацкій не вытер-
пѣлъ и въ свою очередь сдѣлать параллель вѣка «ми-
нутаго» съ вѣкомъ «нынѣшнимъ».

Но все еще раздраженіе его сдержанно: онъ какъ
будто совѣтится за себя, что вздумалъ отрезвлять Фа-
мусова отъ его понятій; онъ снѣшить вставить, что «не
о дядюшкѣ его говорить», котораго привелъ въ при-
мѣръ Фамусовъ, и даже предлагаетъ послѣднему побра-
нить и свой вѣкъ, наконецъ, всячески старается замать

разговоръ, вида. какъ Фамусовъ заткнулъ уши, — утробивасть его, почти извиняется:

«Дать споры не мое желанье»

— говоритъ онъ. Онъ готовъ опять войти въ себя. Но его будить неожиданный намекъ Фамусова на слухъ о сватовствѣ Скалозуба.

«Вотъ будю женится на Софьюшкѣ!... и т. д.

Чацкій наострилъ уши.

«Какъ съестися, что за приты!»—

«А Софья? Пить ли прямо тутъ жениха какого?» говоритъ онъ, и хотя потомъ прибавляется:

«Ахъ—тотъ скажи любви конецъ»

«Кто на три года вдаль уйдетъ!»

—но самъ еще не вѣрить этому, но прищипу всѣхъ влюбленныхъ, пока эта любовная аксіома не разыгралась надъ нимъ до конца.

Фамусовъ подтверждаетъ свой намекъ о женитьбѣ Скалозуба, навязывая послѣднему мысль «о генеральнѣ», и почти явно вызываетъ на сватовство.

Эти намеки на женитьбу возбудили подозрѣнія Чацкаго о причинахъ перемѣны къ нему Софьи. Онъ даже согласился-было на просьбу Фамусова бросить «завиралишныя идеи» и помолчать при гостѣ. Но раздраженіе уже шло crescendo, и онъ вмѣшался въ разговоръ, пока небрежно, а потомъ, раздосадованный неслухомъ похвалой Фамусова его уму и проч., возмущается тономъ и разрывается рѣзкимъ монологомъ:

«А судьи кто?» и т. д. Тутъ уже развивается другалъ борьба, важная и серьезная, цѣлая битва. Здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ раздается, какъ въ увертюру оперы, главный мотивъ, намечается на истинный смыслъ и цѣль

комедіи. Оба, Фамусовъ и Чацкій, бросили другъ другу перчатку:

«Смотрѣли бы, какъ дѣлали отцы,

«Учились бы на старшихъ глѣда!»

—раздался военный кликъ Фамусова. А кто эти старшіе и «судьи?»

...«За дряхлостію лѣтъ

«Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима,»

— отвѣчаетъ Чацкій и казнитъ—

«Промедлѣнаго житея подлѣшніи черты».

Образовались два лагеря, или съ одной стороны, цѣлый лагерь Фамусовыхъ и всей братіи «отцовъ и старшихъ», — съ другой, одинъ пылкій и отважный боецъ, «врагъ исканій». Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существованіе, какъ новѣйшіе натуралисты опредѣляютъ естественную смѣну поколѣній въ животномъ мірѣ. Фамусовъ хочетъ быть «тузомъ» — «ѣсть на серебрѣ и на золотѣ, ѣздить цугомъ, весь въ орденахъ, быть богатымъ и видѣть дѣтей богатыми, въ чинахъ, въ орденахъ и съ ключемъ» — и такъ безъ конца, и все это только за то, что онъ подписываетъ бумаги, не читая и боясь одного, «чтобъ множество не накопилось ихъ».

Чацкій рвется къ «свободной жизни», къ занятіямъ наукой и искусствомъ и требуетъ «службы дѣлу, а не лицамъ» и т. д. На чьей сторонѣ побѣда? Комедія даетъ Чацкому только «миліонъ терзаній» и оставляетъ, по видимому, въ томъ же положеніи Фамусова и его братію, въ какомъ они были, ничего не говоря о послѣдствіяхъ борьбы.

Теперь намъ извѣстны эти послѣдствія. Они обнаружались съ появленіемъ комедіи, еще въ рукописи, въ свѣтъ — и какъ эпидемія охватили всю Россію.

разговоръ, видя, какъ Фамусовъ заткнулъ уши, — успокоиваетъ его, почти извиняется:

«Длилъ споры не мое желанье,»

— говоритъ онъ. Онъ готовъ опять войти въ себя. Но его будить неожиданнй намекъ Фамусова на слухъ о сватовствѣ Скалозуба.

«Вотъ будю женится на Софьюшкѣ... и т. д.

Чацкій наострилъ уши.

«Какъ съется, что за притѣ!»—

«А Софья? Путь ли впрямь тутъ жениха какого?» говоритъ онъ, и хотя потомъ прибавляетъ:

«Ахъ—тогъ скажи любви конецъ,

«Кто на три года вдалъ уйдетъ!»

— но самъ еще не вѣрить этому, по примѣру всѣхъ влюбленныхъ, пока эта любовная аксіома не разыгралась надъ нимъ до конца.

Фамусовъ подтверждаетъ свой намекъ о женитбѣ Скалозуба, навязывая послѣднему мысль «о генеральнѣ», и почти явно вызываетъ на сватовство.

Эти намеки на женитбу возбудили подозрѣнія Чацкаго о причинахъ перемены къ нему Софьи. Онъ даже согласился-было на просьбу Фамусова бросить «завирающія идеи» и помолчать при гостѣ. Но раздраженіе уже шло crescendo, и онъ выѣшался въ разговоръ, пока небрежно, а потомъ, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова его уму и проч., повышаетъ тонъ и разрѣшается рѣзкимъ монологомъ:

«А судьи кто?» и т. д. Тутъ уже начинается другалъ борьба, важная и серьезная, цѣлая битва. Здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ раздается, какъ въ увертюрѣ оперы, главный мотивъ, намечается на истинный смѣсль и цѣль

рѣшаетъ онъ—чтобъ «разгадать загадку», а собственно, чтобъ удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стрѣлѣ, пущенной въ Молчалина. Это не при творство, а уступка, которою онъ хочетъ выпросить то, чего нельзя выпросить — любви, когда ея нѣтъ. Въ его рѣчи уже слышится молящій тонъ, нѣжные упреки, жалобы:

«Не есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та...

«Чтобъ, ярой вась, ему міръ цѣлый

«Казался прахъ и суета?

«Чтобъ сердца каждое бие

«Любовью ускорялось къ вамъ...»

—говоритъ онъ—и наконецъ:

«Чтобъ равнодушнѣ мнѣ понести утрату,

«Какъ человеку—вы, который съ вами взросъ—

«Какъ другу нашему, какъ брату,

«Мнѣ дайте убѣдиться въ томъ...»

Это уже слезы. Онъ трогаетъ серьезныя струны чувства—

«Отъ сумасшествія могу я остеречься

«Нищусь, подайте простить, охолодѣть...»

—заканчиваетъ онъ. Затѣмъ оставалось только унасть на колѣни и зарыдать. Остатки ума спасаютъ его отъ без-
полезнаго униженія.

Такой мастерской сцены, высказанной такими сти-
хами, едва ли представляетъ какое-нибудь другое драма-
тическое произведеніе. Нельзя благороднѣе и трезвѣе
высказать чувство, какъ оно высказалось у Чацкого,
нельзя тоньше и граціознѣе вынутаться изъ ловушки,
какъ вынутається Софья Павловна. Только Пушкинскія
сцены Онегина съ Татьяной напоминаютъ эти тонкія
черты умныхъ натуръ.

Софьѣ удалось-было совершенно отдѣлаться отъ рев-
нивой подозрительности Чацкого, но она сама увлеклась
своей любовью къ Молчалину и чуть не испортила все

дѣлю, высказавшись почти открыто въ любви. На вопросъ Чацкаго:

«Зачѣмъ же вы его (Молчалина) такъ коротко узнали?»

Она отвѣчаетъ:

«Я не старалась: Богъ насъ свелъ».

Этого довольно, чтобъ открыть глаза слѣпому. Но ее спасъ самъ Молчалинъ, т.-е. его ничтожество. Она въ увлеченіи поспѣшила нарисовать его портретъ во весь ростъ, можетъ быть въ надеждѣ примирить съ этою любовью не только себя, но и другихъ, даже Чацкаго, не замѣчая какъ портретъ выходитъ пошлѣ:

«Смотрите, дружбу всѣхъ онъ въ домѣ приобрѣлъ.

«При батюшкѣ три года служить;

«Тотъ часто безъ толку сердить,

«А онъ безмолвіемъ его обезоружить,

«Отъ доброты души просить».

«А между прочимъ —

«Веселостей искать бы могъ, —

«Ничуть, отъ старичковъ не ступить за порогъ;

«Мы рѣзались, хохочемъ;

«Онъ съ нами цѣлый день засидеть, радъ не радъ,

«Играетъ»...

Далѣе:

«Чудеснѣйшаго свойства...

«Онъ наконецъ: уступчивъ, скромнѣе, тихъ,

«И на душѣ проступковъ никакихъ;

«Чужихъ и акривъ и вкося не рубить...

«Вотъ я за что его люблю!»

У Чацкаго разсѣялись всѣ сомнѣнія:

«Она его не узнаетъ!»

«Илалитъ, она его не любитъ».

«Она не стачитъ въ грошъ его!»

— утѣшаетъ онъ себя при каждой ея похвалѣ Молчалину, и потомъ хватается за Скалозуба. Но отвѣтъ ея — что онъ «герой не ея романа», уничтожилъ и эти со-

миѣнія. Онъ оставляетъ ее безъ ревности, но въ раздумьѣ — сказать:

«Кто разгадаетъ васъ!»

Онъ и самъ не вѣрилъ въ возможность такихъ соперниковъ, а теперь убѣдился въ этомъ. Но и его надежды на взаимность, до сихъ поръ горячо волновавшія его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться съ нимъ подъ предлогомъ, что «инципы остынуть», и потомъ, на просьбу его позволить зайти къ ней въ комнату, при новой колкости на Молчалина, она ускользнула отъ него и заперлась.

Онъ почувствовалъ, что главная цѣль возвращенія въ Москву ему измѣнила, и онъ отходить отъ Софьи съ грустью. Онъ, какъ потомъ сознается въ сѣняхъ, съ этой минуты подозреваетъ въ ней только холодность ко всему — и послѣ этой сцены самый обморокъ отнесъ не «къ прищипкамъ живыхъ страстей», какъ прежде, а «къ прищипкѣ избалованныхъ нервъ».

Слѣдующая сцена его съ Молчалинымъ, вполне обрисовывающая характеръ послѣдняго, утверждаетъ Чацкаго окончательно, что Софья не любитъ этого соперника.

«Облажница съжалась надо мной!»

— замѣчаетъ онъ и идетъ на встрѣчу новымъ лицамъ.

Комедія между нимъ и Софьей оборвалась; жгучее раздраженіе ревности унялось и холодъ безнадежности нахнулъ ему въ душу.

Ему оставалось уѣхать; но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедія, открывается разомъ нѣсколько новыхъ перспективъ московской жизни, которыя, не только вытѣсняють изъ памяти зрителя интригу Чацкаго, но и самъ Чацкій какъ будто забываеетъ о ней и

хѣшается въ толпу. Около него группируются и играютъ, каждое свою роль, новыя лица. Это балъ, со всей московской обстановкой, съ радостью живыхъ сценическихъ очерковъ, въ которыхъ каждая группа образуетъ свою отдельную комедію, съ полною обрисовкою характеровъ, усѣвшихъ въ нѣсколькихъ словахъ разыгратъ въ заключенное дѣйствіе.

Развѣ не полную комедію разыгрываютъ Гориченъ? Этотъ мужъ, недавно еще бодрый и живой человекъ, теперь опустившійся, облекшійся, какъ въ халатъ, въ московскую жизнь, баринъ, «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга идеалъ московскихъ мужей», по меткому опредѣленію Чацкаго, — подъ баннакомъ притворной, жеманной, ситской супруги, московской дамы?

А эти шесть князей и графиня-виучка, — сѣсь этотъ контингентъ не вѣсть «умбующихъ, по словамъ Фахусова принарядить себя тафтинцей, бархатцомъ и диванкой» «новощихъ верхнія потки и льнущихъ къ военнымъ дамъ?»

Эта Хлестова, остатки екатерининскаго вѣка, съ москвой, съ аранкой-дѣвочкой. — эта княгиня и князь Петръ Ильичъ — безъ слова, но такая говорящая руина прошлаго — Загорѣцкій, явившій мошенникъ, спасающійся отъ тюрьмы въ лучшихъ гостинныхъ и откупающійся угодиливостью, въ родѣ собачьихъ поносовъ — и эти X. N. — и всѣ толки ихъ и все занимающее ихъ содержаніе!

Наплывъ этихъ лицъ такъ обилитъ, портреты ихъ такъ рельефны, что зритель хлѣбѣтъ къ питрису, не успѣвая ловить эти быстрые очерки новыхъ лицъ и вслушиваться въ ихъ оригинальный говоръ.

Чацкаго уже нѣтъ на сценѣ. Но онъ до ухода далъ

обильную пищу той главной комедіи, которая началась у него съ Фамусовымъ, въ первомъ актѣ, потомъ съ Молчаливымъ.—той битвѣ со всею Москвою, куда онъ, по цѣлямъ автора, затѣмъ и пріѣхалъ.

Въ краткихъ, даже мгновенныхъ встрѣчахъ съ старыми знакомыми, онъ успѣлъ всѣхъ вооружить противъ себя ѣдкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрогиваютъ всякіе пустяки — и онъ даетъ волю языку. Разсердилъ старуху Хлестову, далъ невпопадъ нѣсколько совѣтовъ Горичеву, рѣзко оборвалъ графиню-внучку и опять задѣлъ Молчалина.

Но чаша переполнилась. Онъ выходитъ изъ заднихъ комнатъ уже окончательно разстроенный, и по старой дружбѣ, въ толпѣ опять идетъ къ Софѣ, надѣясь хоть на простое сочувствіе. Онъ повѣряетъ ей свое душевное состояніе:

«Миліонъ терзаній!»

—говоритъ онъ:

«Трудн отъ дружескихъ тисковъ,
«Ногамъ отъ шарканья, ушамъ отъ поскликаній,
«А нуще головѣ отъ всякихъ пустяковъ!
«Видѣсь у меня душа какими-то горемъ сжата!»

—жалуется онъ ей, не подозревая, какой заговоръ созрѣлъ противъ него въ непріятельскомъ лагерѣ.

«Миліонъ терзаній» и «горе!»—вотъ что онъ пожалъ за все, что успѣлъ посяять. До сихъ поръ онъ былъ непобѣдимъ: умъ его безпощадно поражалъ больныхъ мѣста враговъ. Фамусовъ ничего не находилъ, какъ только зажать уши противъ его логики, и отстрѣливается общими мѣстами старой морали. Молчалинъ смолкаетъ, княжна, графини—пятятся прочь отъ него, обоженный вранивой его смѣха, и прежній другъ его, Софья, ко-

мѣшается въ толпу. Около него группируются и играютъ, каждое свою роль, новыя лица. Это балъ, со всей московской обстановкой, съ рядомъ живыхъ сценическихъ очерковъ, въ которыхъ каждая группа образуетъ свою отдельную комедію, съ полною обрисовкою характеровъ, успѣвшихъ въ нѣсколькихъ словахъ разыгратъ въ законченное дѣйствіе.

Развѣ не полную комедію разыгрываютъ Горичевы? Этотъ мужъ, недавно еще бодрый и живой человѣкъ, теперь опустившійся, облекшійся, какъ въ халатъ, въ московскую жизнь, баринъ, «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, идеаль московскихъ мужей», по меткому опредѣленію Чацкаго, — подъ башмакомъ притворной, жеманной, свѣтской супруги, московской дамы?

А эти шесть князей и графиня-внучка, — всѣхъ этотъ контингентъ не вѣсть «умѣющихъ, по словамъ Фамусова, принарядить себя тафтиней, бархатцомъ и дыжкой», «поющихъ верхнія нотки и льнущихъ къ военнымъ людямъ?»

Эта Хлестова, остатокъ екатерининскаго вѣка, съ москвой, съ аранкой-дѣвочкой. — эта княгиня и князь Петръ Ильичъ — безъ слова, но тасая говорящая руина прошлаго — Загорѣцкій, явный мошенникъ, спасающійся отъ тюрьмы въ лучшихъ гостинныхъ и откупающійся угодиностью, въ родѣ собачьихъ поносокъ — и эти N. N. — и всѣ толки ихъ и все занимающее ихъ содержаніе!

Наплывъ этихъ лицъ такъ обилитъ, портреты ихъ такъ рельефны, что зритель хлѣбеть въ интригѣ, не успѣвая ловить эти быстрые очерки новыхъ лицъ и везушираться въ ихъ оригинальный говоръ.

Чацкаго уже нѣтъ на сценѣ. Но онъ до ухода далъ

Онъ точно «самъ не свой», начиная съ монолога «о французикѣ изъ Бордо»—и такимъ остается до конца пьесы. Впередѣ наполняется только «миллионъ терзаний».

Пушкинъ, отказывая Чацкому въ умѣ, вѣроятно, всего болѣе имѣлъ въ виду послѣднюю сцену 4-го акта, въ сѣняхъ, при разлѣдѣ. Конечно, ни Онегинъ, ни Печоринъ, эти франты, не сдѣлали бы того, что продѣлалъ въ сѣняхъ Чацкій. Тѣ были слишкомъ дрессированы «въ науку страсти нѣжной», а Чацкій отличается между прочимъ искренностью и простотой, и не умѣетъ и не хочетъ рисоваться. Онъ не франтъ, не лезъ. Здесь имѣняется ему, не только умъ, но и здравый смыслъ, даже простое приличіе. Такихъ пустяковъ надѣлалъ онъ!

Отдѣлавшись отъ болтовни Ренетилова и спрятавшись въ швейцарскую въ ожиданіи кареты, онъ подглядѣлъ свиданіе Софьи съ Молчаливымъ и разыгралъ роль Огелло, не имѣя на то никакихъ правъ. Онъ упрекаетъ ее, зачѣмъ она его «надеждой завлекла», зачѣмъ прямо-таки сказала, что прошлое забыто. Тутъ что ни слово—то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и дѣлала, что уходила отъ него, едва говорила съ нимъ, призналась въ равнодушіи, назвала какой-то старый детский романъ и прятанье по угламъ «ребячествомъ» и даже намекнула, что «Богъ ее свѣтъ съ Молчаливымъ.»

А онъ, потому только что —

«.....такъ страстно и такъ низко

«Былъ расточитель нѣжныхъ словъ»,

—въ ярости, за собственное свое безполезное униженіе, за пачущенный на себя добровольно самъ собой об-

манъ, — пазнить всѣхъ, а ей бросаетъ жестокое и несправедливое слово:

«Съ нами я горжусь жонкѣ разрывомъ»,
— когда нечего было и разрывать! Наконецъ прямо до-
ходить до брани, заливая желчь:

«На дочь и на отца

«И на любовника *любовника*,

— и винить бѣшенствомъ на всѣхъ, «на учителей тво-
ихъ, предателей, нескладныхъ умишловъ, ласковыхъ про-
стаковъ, старухъ злобидицъ» и т. д. И указываетъ пазъ
Москвы искать «угонка оскорбленному чувству», прона-
нося всему безпощадный судъ и приговоръ!

Еслибъ у него явилась одна здоровая минута, еслибъ
не жегъ его «миллионъ терзаній», онъ бы конечно самъ
сдѣлать себѣ вопросъ: «зачѣмъ и за что надѣлала я
всю эту кутерьму?» И конечно не нашелъ бы отпѣга.

За него отвѣчаетъ Грибодовъ, который не просто
кончилъ пьесу этой катастрофой. Въ ней, не только для
Софьи, но и для Фамусова и всѣхъ его гостей, «ужь»
Чацкаго, езерзавицъ, какъ лучъ свѣта въ цѣлой пьесѣ,
разразился въ концѣ въ готъ громъ, при которомъ про-
стается, по послонницѣ, мужики.

Отъ грома первая перекрестилась Софья, оставая-
шаяся до самаго появленія Чацкаго, когда Молчалинъ
уже позвалъ у ногъ ея, все тою же безознательною
Софьей Павловною, съ тою же ложью, въ какой ее по-
читать отецъ, въ какой онъ прожилъ самъ, весь его
домъ и весь кругъ. Еще не опомнившись отъ стыда и
ужаса, когда маска упала съ Молчалина, она прежде
всего радуется, что «ночью все узнала, что пять укоро-
пающихъ свидѣтелей въ глазахъ!»

А нѣтъ свидѣтелей, слѣдовательно все шито да крыто, можно забыть, выйти замужъ, пожалуй, за Скалозуба, и на прошлое смотрѣть....

Да никакъ не смотрѣть. Свое нравственное чувство сгнѣтъ, Лиза не проговорится, Молчалинъ никуда не съѣдетъ. А мужъ? По какой же московскій мужъ, «изъ женскихъ накей», станетъ озираться на прошлое!

Это и ея мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тѣмъ Софья Павловна индивидуально не безправственна: она грѣшитъ грѣхомъ невѣдѣнія, слѣпоты, въ которой жили все—

«Свѣтъ не караетъ заблужденій»

«Но тайны требуетъ для нихъ!»

Въ этомъ двустишіи Пушкина выражается общій смыслъ условной морали. Софья никогда не прозрѣвала отъ нея и не прозрѣла бы безъ Чацкого никогда, за неизмѣнимъ случая. Послѣ катастрофы, съ минуты появления Чацкого—останаться слѣпой уже невозможно. Его суда, ни обойти забвеніемъ, ни подкупить ложью, ни успокоить—нельзя. Она не можетъ не уважать его—и онъ будетъ вѣчнымъ ея «укоряющимъ свидѣтелемъ», судей ея прошлаго. Онъ открылъ ей глаза.

До него она не сознавала слѣпоты своего чувства къ Молчалину, и даже, разбирая послѣдняго, въ сценѣ съ Чацкимъ, по инстинкту, сама собою не прозрѣла на него. Она не замѣчала, что сама вызвала его на эту любовь, въ которой онъ, дрожа отъ страха, и подумать не смѣлъ. Ее не смущали свиданія наединѣ ночью, и она даже проговорила въ благодарности къ нему въ послѣдней сценѣ, за то, что «въ ночной тиши онъ держался больше робости во правѣ!» Слѣдовательно и тѣмъ, что она

не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себя самой, а ему!

Наконецъ, въ самомъ началѣ, она проговаривается еще наивнѣе передъ горничной:

«Подумасни, какъ счастье сиюсправно»,
—говоритъ она, когда отецъ засталъ Молчалина рано утромъ у ней въ комнатѣ:

«Бываетъ хуже—съ рукъ сойдеть!»

А Молчалинъ просидѣлъ у нея въ комнатѣ цѣлую ночь. Что же разумѣла она подъ этими «хуже»? Можно подумать Богъ-знаетъ что: но *hoppy wit qui mal y pense!* Софья Павловна вовсе не такъ виновна, какъ кажется.

Это—смѣсь хорошихъ инстинктовъ съ ложью, живого ума съ отсутствіемъ всякаго намёка на идеи и убѣжденія,—путаница понятій, умственная и нравственная слѣпота—все это не вытекаетъ изъ ней характера личныхъ пороковъ, а является, какъ общія черты ея круга. Въ собственной, личной ея физиономіи, прячется въ тѣни что-то свое, горячее, иѣжное, даже мечтательное. Остальное принадлежитъ воспитанію.

Французскія книжки, на которыя сѣтуешь Фамусовъ, фортепіано (еще съ аккомпаньементомъ флейты), стихи, французскій языкъ и танцы—вотъ что считалось классическимъ образованіемъ барышни. А потомъ «Кузнецкій мостъ и вѣчныя обновы», балы, такіе какъ этотъ балъ у ея отца, и это общество—вотъ тотъ кругъ, гдѣ была заключена жизнь «барышни.» Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолствовала: говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали онѣ изъ романовъ, новѣ-

стей — и оттуда пустыньки развивались въ уродливыя, жалкія, или глупыя свойства: мечтательность, сентиментальность, исканіе идеала въ любви, а иногда и хуже.

Въ спотворномъ застоѣ, въ безвыходномъ морѣ лжи, у большинства женщинъ снаружи господствовала условная мораль — а втихомолку жизнь кипѣла, за отсутствіемъ здоровыхъ и серьезныхъ интересовъ, вообще всякаго содержанія, тѣмъ романами, изъ которыхъ и создалась «наука страсти нежной». Онегинъ и Печоринъ — вотъ представители цѣлаго класса, почти породы ловкихъ кавалеровъ, *jeunes premiers*. Эти передовыя личности въ *high life* — такими являлись и въ произведеніяхъ литературы, гдѣ и занимали почетное мѣсто со временъ рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Самъ Пушкинъ, не говоря о Лермонтовѣ, дорожилъ этимъ внѣшнимъ блескомъ, этою представительностью *du bon ton*, манерами высшаго свѣта, подъ которою крылось и «озлобленіе», и «тоскующая лѣнь», и «интересная скука». Пушкинъ щадитъ Онегина, хотя касается легкой проницей его праздности и пустоты, но до мелочи и съ удовольствіемъ описываетъ модный костюмъ, бездѣлки туалета, франтовство — и ту напущенную на себя небрежность и невниманіе ни къ чему, эту *fatuité*, позирванье, которымъ цеголяли дэнди. Духъ позднѣйшаго времени снялъ заманчивую драпировку съ его героя и всѣхъ подобныхъ ему «кавалеровъ», и опредѣлилъ истинное значеніе такихъ господъ, согнавъ ихъ съ перваго плана.

Они и были героями и руководителями этихъ романовъ, и обѣ стороны дрессировались до брака, который поглощалъ всѣ романы почти безслѣдно, развѣ

попадалась и оглашалась какой-нибудь сдобносервиз, сентиментальная—словомъ, дурочка, или героюсъ оказывался такой искренній «сумасшедшій», какъ Чацкій.

Но въ Софѣ Павловѣ, сибиримъ огорчитсѣ, т.е. въ чувствіи ея къ Молчалину есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними владеть «московскій отпечатокъ», потому доброты, умѣнье владѣть собой, которое имѣлось въ Татьянѣ при встрѣчѣ съ Онегинымъ уже послѣ замужества, а до тѣхъ поръ она не сѣмѣла смѣгать о любви даже намѣ. Но Татьяна—деревенская дѣвушка, а Софя Павловна—московская, по тогдашнему, развитая.

Между тѣмъ она въ любви своей точно такъ же готова видѣть себя какъ Татьяна: обѣ, какъ въ лунатизмѣ, бродить въ упощеніи, съ дѣтской простотой. И Софя, какъ Татьяна же, сама начиняетъ романъ, не находя въ этомъ ничего предожудительнаго, даже не догадывается о томъ. Софя удивляется хохоту горничной при разсказѣ, какъ она съ Молчалинымъ проводитъ всю ночь: «Ни слова вольнаго!—и такъ вся ночь проходитъ!» «Врагъ дерзости, всегда застѣчивый, смирный!» Вотъ чѣмъ она восхищается въ немъ! Это смѣшно, но тутъ есть какая-то почти дѣтскія грація — и куда далеко до безиравственности, нужды нѣтъ, что она проговорила словомъ хуже: это тоже наивность. Громадная разница между ею и Татьяной, а между Онегинымъ и Молчалинымъ. Выборъ Софи конечно не рекомѣндуетъ ее, и выборъ Татьяны тоже былъ случайный, даже едва ли ей и было изъ кого выбрать.

Вглядываясь глубже въ характеръ и въ обстановку Софи, видишь, что не безиравственность (но и не

«Богъ», конечно) «свели ее» съ Молчалинымъ. Прежде всего, влеченіе покровительствовать любимому человѣку, бѣдному, скромному, не смѣющему поднять на него глазъ,—возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейныя права. Безъ сомнѣнія ей въ этомъ улыбалась роль властвовать надъ покорнымъ созданіемъ, сдѣлать его счастье и имѣть въ немъ вѣчнаго раба. Не ся вина, что изъ этого выходилъ будущій «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга—идеаль московскихъ мужей!» На другіе идеалы негдѣ было наткнуться въ домѣ Фамусова.

Вообще въ Софьѣ Павловнѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильныя задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотѣ, куда не проникалъ ни одинъ лучъ свѣта, ни одна струя свѣжаго воздуха. Не даромъ любилъ ее и Чацкій. Послеъ него, она одна изъ всей этой толпы направляется на какое-то грустное чувство, и въ душѣ читателя противъ нея нѣтъ того безучастнаго смѣха, съ какимъ онъ разстается съ прочими лицами.

Ей, конечно, тяжело всѣхъ, тяжело даже Чацкаго, и ей достается свой «миліонъ терзаній».

Чацкаго роль—роль страдательная: оно иначе и быть не можетъ. Такова роль всѣхъ Чацкихъ, хотя она въ то же время и всегда побѣдительная. Но они не знаютъ о своей побѣдѣ, они сѣютъ только, а пожинаютъ другіе—и въ этомъ ихъ главное страданіе, т.-е. въ безнадежности успѣха.

Конечно, Павла Леопольдовича Фамусова онъ не образумилъ, не отрезвилъ и не исправилъ. Еслибъ у Фамусова при разлѣдѣ не было «укоряющихъ свидѣтелей»,

т.-е. толпы лакеевъ и швейцара—онъ легко справился бы съ своимъ горемъ: далъ бы головоюйку дочери, выдралъ бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи съ Скалозубомъ. Но теперь нельзя: на утро, благодаръ сценѣ съ Чацкимъ, вся Москва узнастъ—и цунь всѣхъ княгиня Марья Алексѣевна. Покой его возмутится со всѣхъ сторонъ—и по неволѣ заставитъ все о чемъ подумать, чего ему въ голову не приходило. Онъ едва ли даже кончитъ свою жизнь такимъ «тучнымъ», какъ прежде. Толки, порожденные Чацкимъ, не могли не всколыхать всего круга его родныхъ и знакомыхъ. Онъ уже и самъ противъ горячихъ монологовъ Чацкаго не находилъ оружія. Всѣ слова Чацкаго разнесутся, повторятся всюду и произведутъ свою бурю.

Молчаливъ, послѣ сцены въ сѣняхъ — не можетъ оставаться прежнимъ Молчаливымъ. Маска сдернута, его узнали, и ему, какъ пойманному вору, надо прятаться въ уголъ. Горичены, Загорѣцкій, княжны—всѣ поняли подъ градъ его выстрѣловъ, и эти выстрѣлы не останутся безслѣдными. Въ этомъ, до сихъ поръ согласномъ хорѣ, иные голоса, еще слыше вчера, смолкнутъ, или раздадутся другіе, и за, и противъ. Битва только разгоралась. Чацкаго авторитетъ извѣстенъ былъ и прежде, какъ авторитетъ ума, остроумія, конечно знаній и проч. У него есть уже и единомышленники. Скалозубъ жалуется, что братъ его оставилъ службу, не дождавшись чина, и сталъ книги читать. Одна изъ старухъ ропщетъ, что племянникъ ея, князь Осдоръ, занимается химіей и ботаникой. Пужень былъ только взрывать, бой, и онъ за вазалю, упорный и горячій—въ одинъ день, въ одномъ домѣ, по послѣдствіямъ его, какъ мы выше сказали, отра

зились на всей Москвѣ и Россіи. Чацкій породилъ расколъ, и если обманулся въ своихъ личныхъ цѣляхъ, не нашелъ «прелести встрѣчъ, живаго участія», то брызнулъ самъ на заглохшую почву живой водой—увезъ съ собою «миллонъ терзаній», этотъ терновый вѣнецъ Чацкихъ—терзаній отъ всего: отъ «ума», а еще болѣе отъ «оскорбленнаго чувства».

На эту роль не годились ни Онѣгинъ, ни Печоринъ, ни другіе франты. Они и новизной идей умѣли блистать, какъ новизной костюма, поныхъ духовъ и проч. Забравъ въ глушь, Онѣгинъ поражалъ всѣхъ тѣмъ, что къ дамамъ «къ ручкѣ не подходитъ, стаканами, а не рюмками пилъ красное вино», говорилъ просто: да и пѣтъ, вмѣсто да-съ и пѣтъ-съ. Онъ морщился отъ «брусничной воды», въ разочарованіи бранить луну «глухой»—и небосклонъ тоже. Онъ привезъ на гривеникъ новаго, и ехавшіе съ «умно», а не какъ Чацкій «глушо», въ любовь Ленскаго и Ольги и убивъ Ленскаго, увезъ съ собою не «миллонъ», а на «гривеникъ» же и терзаній!

Теперь, въ наше время, конечно, сдѣлали бы Чацкому упрекъ, зачѣмъ онъ поставилъ свое «оскорбленное чувство» выше общественныхъ вопросовъ, общаго блага и т. д. и не остался въ Москвѣ продолжать свою роль бойца съ ложью и предрассудками, роль—выше и важнѣе роли отвергнутаго жениха?

Да, теперь! А въ то время, для большинства, понятія объ общественныхъ вопросахъ были бы то же, что для Ренетиллова толки «о камерѣ и о присяжныхъ». Критика много погрѣшила тѣмъ, что въ судѣ своемъ надъ знаменитыми покойниками сходила съ исторической точки, забѣгала впередъ и поражала ихъ современнымъ ору-

жіємъ. Не будемъ повторять ся ошибокъ — и не обвинимъ Чацкого за то, что въ его горячихъ рѣчахъ, обращенныхъ къ фамусовскимъ гостямъ, нѣтъ поминна объ общемъ благѣ, когда уже и такой расколъ отъ «истинной мѣсты, отъ чиновъ», какъ «занятіе науками и искусствами», считался «разбѣсомъ и пожаромъ».

Живучесть роли Чацкого состоитъ не въ новизнѣ неизвѣстныхъ идей, блестящихъ гипотезъ, горячихъ и дерзкихъ утопій, или даже истинъ *en herbe*: у него нѣтъ отвлеченностей. Провозвѣстники новой зари, или фанатики, или просто вѣстовщики—все эти переходные курьеры неизвѣстнаго будущаго являются—и по естественному ходу общественнаго развитія—должны являться, но ихъ роли и фисіономіи до безконечности разнообразны.

Роль и фисіономія Чацкихъ неизмѣнна. Чацкій больше всего отличитель лжи и всего, что отжило, что заглушаетъ новую жизнь, «жизнь свободную». Онъ знаетъ, за что онъ воюетъ и что должна принести ему эта жизнь. Онъ не теряетъ земли изъ-подъ ногъ и не вѣрится въ призракъ, пока онъ не облеченъ въ плоть и кровь, не омыслился разумомъ, правдой, словомъ, не очеловѣчился.

Передъ увлеченіемъ неизвѣстнымъ идеаломъ, передъ оболещеніемъ мечты, онъ трезво остановится, какъ остановился передъ безмысленнымъ отрицаніемъ «законовъ, совѣсти и вѣры» въ болтовнѣ Ренетиллона, и скажетъ свое:

«Послушан, ври, да знай же мѣру!»

Онъ очень положителенъ въ своихъ требованіяхъ и заявляетъ ихъ въ готовой программѣ, выработанной имъ, а уже начатымъ вѣкомъ. Онъ не гонитъ съ кино-

иескою запальчивостью со сцены всего, что уцѣлѣло, что, по законамъ разума и справедливости, какъ по естественнымъ законамъ въ природѣ физической, осталось доживать свой срокъ, что можетъ и должно быть терпимо. Онъ требуетъ мѣста и свободы своему вѣку: просить дѣла, но не хочетъ прислуживаться, и клеймить позоромъ низконоклонство и шутовство. Онъ требуетъ «службы дѣлу, а не лицамъ», не смѣшивается «веселья или дурачества съ дѣломъ» какъ Молчаливъ,—онъ тяготеетъ среди пустой, празднои толпы «мучителей, предателей, злобѣщихъ старухъ, издорныхъ стариковъ», отказываясь преклоняться передъ ихъ авторитетомъ дряхлости, чиновлюбія, и проч. Его возмущаютъ безобразныя проявленія крѣпостнаго права, безумная роскошь и отвратительныя нравы «разливанія въ пирахъ и мотовствѣ»,—явленія умственной и нравственной слѣпоты и растлѣнія.

Его идеаль «свободной жизни» опредѣлительнъ: это—свобода отъ всѣхъ этихъ неисчисленныхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество, а потомъ свобода — «вперить въ науки умъ, алчущій познаній», или безирепатственно предаваться «искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ», — свобода «служить или не служить», «жить въ деревнѣ, или путешествовать», не ссылая за то ни разбойникомъ, ни зажигателемъ,—и рядъ дальнѣйшихъ очередныхъ подобныхъ шаговъ къ свободѣ—отъ несвободы.

И Фамусовъ, и другіе знаютъ это и конечно про себя не согласны съ нимъ, но борьба за существованіе мѣшаетъ имъ уступить.

Отъ страха за себя, за свое безмятежно-праздное су-

ществованіе, Фамусовъ затикаетъ уши и влещетъ на Чацкого, когда тотъ заявляетъ ему свою скромную программу «свободной жизни». Между прочимъ—

«Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ».

—говорить онъ, а тотъ съ ужасомъ возражаетъ:

«Да онъ властей не признаетъ!»

Итакъ, лжетъ и онъ, потому что ему нѣчего сказать, и лжетъ все то, что жило ложью въ прошломъ. Старая правда никогда не смутится передъ новой — она возьметъ это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное, боится ступить очередной шагъ впередъ.

Чацкій сложенъ количествомъ старой силы, нанесъ ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силъ свѣжей.

Онъ вѣчный обвинитель жи, заиртаившейся въ пословцу: «одинъ въ полѣ не воинъ». Итъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель. но передовой воинъ, застрѣльщикъ и—всегда жертва.

Чацкій неизбѣженъ при каждой сѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

Всѣмъ ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у Грибоедовскаго Чацкого, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе—но всѣмъ нимъ достается въ удѣлъ свой «миліонъ терзаній», и никакая высота положенія не спасаетъ отъ него. Очень не многимъ, просвѣтленнымъ Чацкимъ, дается утѣши-

тельное сознание, что они не даромъ близились—хотя и безкорыстно, не для себя и не за себя, а для будущаго, и за всѣхъ, и успѣли.

Кромѣ крупныхъ и видныхъ личностей, при рѣзкихъ переходахъ изъ одного вѣка въ другой—Чацкіе живутъ и не переводятся въ обществѣ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домѣ, гдѣ подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ, гдѣ два вѣка сходятся лицомъ въ лицу въ тѣсотѣ семействъ,—все дѣлится борьба свѣжаго съ отжившимъ, здороваго съ больнымъ, и все бьется въ поединкахъ, какъ Гораціи и Куриціи,—мнѣніи Фаусоны и Чацкіе.

Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго — и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла,—будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ—ни группировались люди—имъ нигуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта «учиться на старшихъ глядя» съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутинны къ «свободной жизни» впередъ и впередъ, съ другой.

Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ и едва ли состарѣется когда-нибудь Грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ и вся комедія. И литература не выбьется изъ магическаго круга, начертаннаго Грибоѣдовымъ, какъ только художникъ коснется борьбой понятій, смѣны поколѣній. Онъ, или дастъ типъ крайнихъ, несозрѣвшихъ передовыхъ личностей, едва намекающихъ на будущее, и потому недоговѣчныхъ, какихъ мы уже пережили не мало въ жизни и въ искусствѣ,—или создастъ видоизмѣненный образъ Чацкаго, какъ послѣ Сервантесовскаго Донъ-Ки-

хота и Шекспировскаго Гамлета, являлись и являются безконечныя их подобія.

Въ честныхъ, горячихъ рѣчахъ этихъ позднѣйшихъ Чацкихъ будутъ вѣчно слышатся Грибоедовскіе мотивы и слова, — и если не слова, то смыслъ и тонъ раздражительныхъ монологовъ его Чацкаго. Отъ этой музыки здоровые герои въ борьбѣ со старымъ не уйдутъ никогда.

И въ этомъ безсмертіе стиховъ Грибоедова! Много можно бы привести Чацкихъ—явившихся на очередной сменѣ эпохъ и поколѣній—въ борьбахъ за идею, за дѣло, за правду, за ученіе, за новый порядокъ, на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ слояхъ русской жизни и труда — громкихъ, великихъ дѣлъ и скромныхъ кабинетныхъ подвиговъ. О многихъ изъ нихъ хранится свѣжее преданіе, другихъ мы видѣли и знали, а иные еще продолжаютъ борьбу. Обратимся къ литературѣ. Вспомнимъ, не повесть, не комедію, не художественное явленіе, а возмемъ одного изъ позднѣйшихъ бойцовъ съ старымъ врагомъ, напимѣръ, Бѣлинскаго. Многие изъ насъ знали его лично, а теперь знаютъ его всѣ. Прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ—и въ нихъ звучать тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у Грибоедовскаго Чацкаго. И также онъ умеръ, уничтоженный «милліономъ терзаній», убитый лихорадкой ожиданія и неожиданнымъ исполненіемъ своихъ грѣзъ, которыя теперь — уже не грѣзы больше.

Оставя политическія заблужденія Герцена, гдѣ онъ вышелъ изъ роли нормальнаго героя, изъ роли Чацкаго, этого съ головы до ногъ русскаго человѣка,—вспомнимъ его стрѣлы, бросаемыя въ разныя темныя, отдаленныя

углы Россіи, гдѣ онѣ находили выповатаго. Въ сего сарказмахъ слышится эхо Грибоѣдовскаго смѣха и безконечное развитіе остротъ Чацкаго.

II Герценъ страдалъ отъ «миліона терзаній», можетъ быть всего болѣе отъ терзаній Ренетилловыхъ его же лагеря, которыми у него при жизни не достало духа сказать: «при, да знай же мѣру!»

Но онъ не унесъ этого слова въ могилу, сознавшись по смерти въ «ложномъ стыдѣ», помѣнявшимся сказать его.

Наконецъ—последнее замѣчаніе о Чацкомъ. Дѣлаютъ упрекъ Грибоѣдову въ томъ, что будто Чацкій—не облеченъ такъ художественно, какъ другія лица комедіи, въ плоть и кровь, что въ немъ мало жизненности. Иные даже говорятъ, что это не живой человѣкъ, а абстрактъ, идея, ходячая мораль комедіи, а не такое полное и законченное созданіе, какъ, напримѣръ, фигура Онѣгина и другихъ, выхваченныхъ изъ жизни типовъ.

Это несправедливо. Ставить рядомъ съ Онѣгинымъ Чацкаго нельзя: строгая объективность драматической формы не допускаетъ той широты и полноты кисти, какъ эническая. Если другія лица комедіи являются строже и рѣче очерченными, то этимъ они обязаны пошлости и мелочи своихъ натуръ, легко нечерниваемыхъ художникомъ въ легкихъ очеркахъ. Тогда какъ въ личности Чацкаго, богатой и разносторонней, могла быть въ комедіи рельефно взята одна господствующая сторона—а Грибоѣдовъ успѣлъ намекнуть и на многія другія.

Потомъ—если приглядѣться вѣрнѣе къ людскимъ типамъ въ толпѣ—то едва ли не чаще другихъ встрѣчаются эти честныя, горячія, иногда желчныя личности,

которые не прячутся покорно въ сторону отъ истрѣчной уродливости, а смѣло идутъ на истрѣчу ей и вступаютъ въ борьбу, часто не равную, всегда со предомъ собой и безъ видимой пользы дѣлу. Кто не знаетъ или не знаетъ, каждый въ своемъ кругу, такихъ уминыхъ, горячихъ, благородныхъ сумасбродовъ, которые производятъ своего рода кутерьму въ тѣхъ кругахъ, куда ихъ занесетъ судьба, за правду, за честное убѣжденіе?

Нить, Чацкій—по нашему мнѣнію—изъ всѣхъ наиболѣе живая личность, и какъ человѣкъ, и какъ исполнитель указанной ему Грибоедовымъ роли. Но повторенъ, натура его сильнѣе и глубже прочихъ лицъ, и потому не могла быть исчерпана въ комедіи.

Наконецъ, позволимъ себѣ высказать нѣсколько замѣчаній объ исполненіи комедіи на сценѣ въ недавнее время, а именно въ бенефисъ Монахова, и о томъ, чего бы могъ зритель пожелать отъ исполнителей.

Если читатель согласится, что въ комедіи, какъ мы сказали, движеніе горячо и непрерывно поддерживается отъ начала до конца, то изъ этого само собою должно слѣдовать, что пьеса въ высшей степени сценична. Она такова и есть. Дѣй комедіи, какъ-будто вложены одна въ другую: одна, такъ сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацкимъ, Софьей, Молчалинымъ и Анной: это интрига любви, вседневный мотивъ всѣхъ комедій. Когда первая прерывается, въ промежуткѣ является неожиданно другая, и дѣйствіе завязывается снова, частная комедія разыгрывается въ общую битву и связывается въ одинъ узелъ.

Артисты, вдумывающіеся въ общій смыслъ и ходъ пьесы, и каждый въ свою роль, найдутъ широкое поле для дѣйствія. Труда къ одолѣнію всякой, даже незначительной роли, не мало,—тѣмъ болѣе, чѣмъ добросовѣстнѣе и тоньше будетъ относиться къ искусству артисты.

Некоторые критики полагаютъ на обязанность артистовъ исполнять и историческую вѣрность лицъ, съ колоритомъ времени во всѣхъ деталяхъ, даже до костюмовъ, т.-е. до фасона платьевъ, причесокъ включительно.

Это трудно, если не совсѣмъ невозможно. Какъ историческіе типы, эти лица, какъ сказано выше, еще блѣдны, а живыхъ оригиналовъ теперь не найдемъ: штудировать не съ чего. Точно также и съ костюмами. Старомодные фраки, съ очень высокой или очень низкой таліей, женскія платья съ высокимъ лифомъ, высокія прически, старыя чепцы—во всемъ этомъ дѣйствующія лица покажутся бѣглецами съ толкучаго рынка. Другое дѣло, костюмы прошлаго столѣтія, совершенно отжившіе: камзолы, роброны, мушки, нудра и пр.

Но при исполненіи «Горя отъ ума» дѣло не въ костюмахъ.

Мы повторяемъ, что въ игрѣ вообще нельзя претендовать на историческую вѣрность, такъ какъ живой слѣдъ почти пропалъ, а историческая даль еще близка. Поэтому необходимо артисту прибѣгать къ творчеству, къ созданію идеаловъ по степени своего пониманія эпохи и произведенія Грибоѣдова.

Это первое, т.-е. главное сценическое условіе.

Второе—это языкъ, т.-е. такое же художественное

исполненіе языка, какъ и исполненіе дѣйствія: безъ этого второго, конечно, невозможно и первое.

Въ такихъ высокихъ литературныхъ произведеніяхъ, какъ «Горе отъ ума», какъ «Борисъ Годуновъ» Пушкина, и некоторыхъ другихъ, исполненіе должно быть, не только сценическое, но наиболѣе литературное, какъ исполненіе отличнымъ оркестромъ образцовой музыки, гдѣ безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и въ ней каждая нота. Актеръ, какъ музыкантъ, обязанъ доиграться, т.-е. додуматься до того звука голоса и до той интонаціи, какими долженъ быть произнесенъ каждый стихъ: это значить додуматься до тонкаго критическаго пониманія всей поэзіи Пушкинскаго и Грибоедовскаго языка. У Пушкина, напримѣръ, въ «Борисъ Годуновъ», гдѣ нѣтъ почти дѣйствія, или по крайней мѣрѣ единства, гдѣ дѣйствіе распадается на отдѣльныя, несвязанныя другъ съ другомъ сцены, иное исполненіе, какъ строго и художественно-литературное, и невозможно. Въ ней всякое прочее дѣйствіе, всякая сценичность, мимика, должны служить только легкой приправой литературнаго исполненія, дѣйствія въ словѣ.

За исключеніемъ некоторыхъ ролей въ значительной степени можно сказать то же и о «Горѣ отъ ума». И тамъ больше всего игры въ языкѣ: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово съ невѣрной интонаціей будетъ рѣзать ухо, какъ фальшивая нота.

Не надо забывать, что такіа пьесы, какъ «Горе отъ ума», «Борисъ Годуновъ», публика знаетъ панзують, и не только слѣдитъ мыслью за каждымъ словомъ, но чувствуетъ, такъ сказать, нервами каждую ошибку въ произношеніи. Ими можно наслаждаться, не видя, а только

слыши ихъ. Эти пьесы исполнялись и исполняются нерѣдко въ частномъ быту, просто чтеніемъ между любителями литературы, когда въ кругу найдется хорошій чтецъ, умѣющій тонко передавать эту, своего рода литературную музыку.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говорятъ, эта пьеса была представлена въ лучшемъ петербургскомъ кругу съ образцовымъ искусствомъ, которому, конечно, кромѣ тонкаго критическаго пониманія пьесы, много помогали ансамбль въ тонѣ, манерахъ, и особенно—умѣнье отчетливо читать.

Исполняли ее въ Москвѣ въ 30-хъ годахъ съ полнымъ успѣхомъ. До сихъ поръ мы сохранили впечатлѣнія о той игрѣ: Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкого), Ленскаго (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова).

Конечно, этому успѣху много содѣйствовало поразившее тогда новизною и смѣлостью открытое нападеніе со сцены на многое, что еще не успѣло отойти, до чего боялись дотрогиваться даже въ печати. Потому Щепкинъ, Орловъ, Сабуровъ выражали типично еще живыя подобія запоздавшихъ Фамусовыхъ, кое-гдѣ уцѣлѣвшихъ Молчалиныхъ, или притавившихся въ партеръ за спинну сосѣда Загорѣцкихъ.

Все это, безспорно, придавало огромный интересъ пьесѣ, но и помимо этого, помимо даже высокихъ талантовъ этихъ артистовъ и истекавшей отсюда типичности исполненія каждымъ изъ нихъ своей роли, въ ихъ игрѣ, какъ въ отличномъ хорѣ пѣвцовъ, поражали необыкновенный ансамбль всего персонала лицъ, до малѣйшихъ ролей, а главное, они тонко понимали и пре-

восходно читали эти необыкновенные стихи, писанно съ тѣхъ «толкомъ, чувствомъ и разстановкой», какаа для нихъ необходима. Мочаловъ, Щепкинъ! Последняго, конечно, знаетъ и теперь почти весь партеръ и помингъ, какъ онъ, уже и въ старости, читалъ свои роли и на сценѣ и въ салонахъ!

Постановка была тоже образцовая—и должна была бы и теперь и всегда превосходить тщательность постановку всякаго балета, потому что комедии этой вѣкъ не сойгн со сцены, даже и тогда, когда сойдутъ позднѣйшія образцовыя пьесы.

Каждая изъ ролей, даже второстепенныхъ въ ней, сыгранная тонко и добросовѣстно, будетъ служить артисту диллюмомъ на обширное амбула.

Къ сожалѣнію, давно уже исполненіе пьесы на сценѣ далеко не соответствуетъ ея высокимъ достоинствамъ, особенно не блестятъ оно—ни гармоничностью въ игрѣ, ни тщательностью въ постановкѣ, хотя отдѣльно, въ игрѣ нѣкоторыхъ артистовъ, есть счастливыя намёки или обещанія на возможность болѣе тонкаго и тщательнаго исполненія. Но общее впечатлѣніе таково, что зритель, вмѣстѣ съ немногими хорошими, выноситъ изъ театра свой «милльонъ терзаній».

Въ постановкѣ нельзя не замѣчать небрежности и скудости, которыя какъ-будто предупреждаютъ зрителя, что будутъ играть слабо и небрежно. слѣдовательно не стоить и хлопотать освѣжести и вѣрности аксессуаровъ. Напримѣръ, освѣщеніе на балѣ такъ слабо, что едва различаетъ лица и костюмы, толпа гостей такъ жидка, что Загорѣцкому, вмѣсто того, чтобъ «прюнасть», по

тексту комедіи, т.-е. уклониться куда-нибудь въ толпу, отъ брани Хлестовой, приходится бѣжать черезъ всю пустую залу, изъ угловъ которой, какъ-будто изъ любопытства, выглядываютъ какія-то два, три лица. Вообще все сматривать какъ-то тускло, несвѣжо, безцвѣтно.

Въ игрѣ, вмѣсто ансамбля, господствуетъ разладница, точно въ хорѣ, не успѣваемъ слѣдиться. Въ новой пьесѣ и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедія была для кого-нибудь нова въ трунѣ.

Половина пьесы проходитъ неслышно. Вырвется два-три стиха явственно, другіе два произносятся актеромъ какъ-будто только для себя—въ сторону отъ зрителя. Дѣйствующія лица хотятъ играть Грибоѣдовскіе стихи, какъ текетъ водевиля. Въ мимикѣ у нѣкоторыхъ много лишней суеты, этой мимикой, фальшивой игры. Даже и тѣ, кому приходится сказать два-три слова, сопровождаютъ ихъ, или усиленными, ненужными на нихъ удареніями, или лишними жестами, не то такъ какой-то игрой въ походы, чтобы дать замѣтить о себѣ на сценѣ, хотя эти два-три слова, сказанныя умно, съ тактомъ, были бы замѣчены гораздо больше, нежели всѣ тѣлесныя упражненія.

Иные изъ артистовъ какъ-будто забываютъ, что дѣйствіе происходитъ въ большомъ московскомъ домѣ. Напримерь, Молчалинъ, хотя и бѣдный маленькій чпновникъ, но онъ живетъ въ лучшемъ обществѣ, принимать въ первыхъ домахъ, играетъ съ знатыми старухами въ карты, слѣдовательно не лишень въ манерахъ и тонѣ извѣстныхъ принций. Онъ «вкрадчивъ, тихъ», говоритсѣ

о немъ въ пьесѣ. Это домашній котъ, мягкій, ласковый, который бродитъ вездѣ по дому, и если блудить, то втихомячку и прилично. У него не можетъ быть такихъ длинныхъ ухватокъ, даже когда онъ бросается въ Лизѣ, оставшись съ ней наединѣ, какія усвоилъ ему актеръ, играющій его роль.

Большинство артистовъ не можетъ также похвастаться исполненіемъ того важнаго условія, о которомъ сказано выше, именно вѣрнымъ, художественнымъ чтеніемъ. Давно жалуются, что будто съ русской сцены все болѣе и болѣе удаляется это капитальное условіе. Ужель, вмѣстѣ съ декламаціей старой школы, изгнано и вообще умѣнье читать, произносить художественную рѣчь, какъ будто это умѣнье стало лишнее или не нужно? Слышится даже частая жалоба на некоторыхъ корифеевъ драмы и комедіи, что они не даютъ себѣ труда учить ролей!

Что же затѣмъ осталось дѣлать артистамъ? Что они разумѣютъ подъ исполненіемъ ролей? Приемровку? Минутку?

Съ которыхъ же поръ явилось это небреженіе къ искусству? Мы помнимъ и петербургскую и московскую сцены въ блестящемъ періодѣ ихъ дѣятельности, начиная со Щепкина, Каратыгинныхъ, до Самойлова, Садовскаго. Здѣсь держатся еще немногіе ветераны старой петербургской сцены, и между ними имена Самойлова, Каратыгина и упоминаютъ золотое время, когда на сценѣ являлись Шекспиръ, Мольеръ, Шиллеръ—и тотъ же Грибоедовъ, котораго мы приводимъ теперь, и все это давалось вмѣстѣ съ ролями разныхъ поденшилей, не-

редѣлокъ съ французскаго и т. п. Но ни эти передѣлки, ни подделки, не мѣшали отличному исполненію ни «Гамлета», ни «Иира», ни «Скуного».

Въ отвѣтъ на это слышимъ съ одной стороны, что будто вкусъ публики испортился (какой публики?), обратился къ фарсу, и что послѣдствіемъ этого была и есть отвычка артистовъ отъ серьезной сцены и серьезныхъ, художественныхъ ролей; а съ другой, что и самыя условія искусства измѣнились: отъ историческаго рода, отъ трагедій, высокой комедій — общество ушло, какъ изъподъ тяжелой тучи, и обратилось къ буржуазной, такъ называемой, драмѣ и комедіи, наконецъ къ жанру.

Разборъ этой «порчи вкуса» или видоизмѣненія старыхъ условій искусства въ повня, отвлечь бы насъ отъ «Гори отъ ума» и, пожалуй, привелъ бы къ какому-нибудь другому, болѣе безвыходному горю. Лучше примемъ второе возраженіе (о первомъ не стоить говорить, такъ какъ оно говорить само за себя) за совершившійся фактъ и допустимъ эти видоизмѣненія. хотя замѣтимъ мимоходомъ, что на сценѣ появляется еще Шекспиръ и новыя историческія драмы, какъ «Смерть Іоанна Грознаго», «Василаса Мелентьева», «Шуйскій» и др., требующія того самаго умѣнья читать, о которомъ мы говоримъ. Но вѣдь кромѣ этихъ драмъ, есть на сценѣ другія произведенія новаго времени, писанныя прозой, и проза эта почти также, какъ Пушкинскіе и Грибоѣдовскіе стихи, имѣетъ свое типичное достоинство и требуетъ такого же яснаго и отчетливаго исполненія, какъ и чтеніе стиховъ. Каждая фраза Гоголя также типична и также заключаетъ въ себѣ свою особую комедію, независимо отъ

общей фабулы, какъ и каждый Грибоедовскій стихъ. И только глубоко-вѣрное, во всей силѣ слышимое, отчетливое исполненіе, т.-е. сценическое произношеніе этихъ фразъ и можетъ выразить то значеніе, какое далъ ихъ авторъ. Многія пьесы Островскаго тоже въ значительной степени имѣютъ эту типичную сторону языка и часто фразы изъ его комедій слышатся въ разговорной рѣчи, въ разныхъ примѣненіяхъ къ жизни.

Публика помнитъ, что Сосницкій, Щепкинъ, Мартыновъ, Максимовъ, Самойловъ, въ роляхъ этихъ авторовъ, не только создавали тѣмъ на сценѣ—что конечно записать отъ степени таланта,—но и умнымъ и рельефнымъ произношеніемъ сохраняли всю силу и образцоваго языка, давая вѣсь каждой фразѣ, каждому слову. Откуда же, какъ не со сцены, можно желать слышать и образцовое чтеніе образцовыхъ произведеній?

Вотъ на утрату этого литературнаго, такъ сказать, исполненія художественныхъ произведеній, кажется, сиранинно жалуются въ послѣднее время въ публикѣ.

Кромѣ слабости исполненія въ общемъ ходѣ, относительно вѣрности пониманія пьесы, недостатка въ искусствѣ чтенія и т. д., можно бы остановиться еще надъ нѣкоторыми невѣрностями въ деталяхъ—но мы не хотимъ показаться придирчивыми—тѣмъ болѣе, что желкія или частныя невѣрности, происходящія отъ небрежности, исчезнутъ, если артисты отнесутся съ болѣе тщательнымъ критическимъ анализомъ къ пьесѣ.

Пожелаемъ же, чтобы артисты наши, изъ всей массы пьесъ, которыми они завалены по своимъ обязанностямъ—съ любовью къ искусству подѣлили ху-

дожественныя произведенія, а ихъ такъ много у насъ—и между прочимъ особенно «Горе отъ ума»—и составивъ изъ нихъ сами для себя избранный репертуаръ—исполняли бы ихъ иначе, нежели какъ исполняется ими все прочее, что имъ приходится играть ежедневно,—и они непременно будутъ исполнять какъ слѣдуетъ.

ЗАМѢТКИ О Личности БѢЛИНСКАГО.



ЗАМѢТКИ О ЛІЧНОСТИ ВЪЛНІСКАГО *).

На мой взглядъ это была одна изъ тѣхъ горячихъ и воспріимчивыхъ натуръ, которыя привыкли приписывать обыкновенно искреннимъ и самобытнымъ художникамъ.

Такія натуры встрѣчаются нерѣдко—я ихъ наблюдалъ вездѣ, гдѣ онѣ попадались: и въ своихъ товарищахъ по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдать и въ самомъ себѣ—и во множествѣ эскизницъ—и во всѣхъ находилъ неизбѣжныя родовыя сходственныя черты, часто рядомъ съ поразительными несоответствиями, составлявшими особенности видовъ или индивидуумовъ. Всѣ эти наблюденія привели меня къ фигурѣ Райскаго въ романѣ «Обрывъ», этой жертвѣ своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цѣль фантазіи. Последняя была въ немъ праздною, бесполезною силой, и, безъ строгой его подготовки къ какому бы то ни было дѣлу, разрывалась у него только въ безплодныхъ порывахъ къ дѣятельности и уродовала самую его жизнь.

*) Эти замѣтки извлечены изъ письма, писаннаго въ 1871 году, къ А. П. Пышину, по случаю собранія имъ свидѣній отъ знавшихъ лично Влннскаго, для *Биографическаго словаря*.

Но другіи, богато одаренныя натуры, ставъ твердой ногой на почвѣ своего призванія, подчиняють фантазію сознательной силѣ ума и создаютъ цѣлую сферу производительной дѣятельности. Такъ было и съ Вѣлискимъ.

Но напрасно приписывать избытокъ фантазіи и воспріимчивость только художническимъ натурамъ. Не однимъ художникамъ нужно творчество: это я говорю вопреки мнѣнію Вѣлискаго, или по крайней мѣрѣ вопреки его словамъ, не разъ слышаннымъ мною отъ него, что «Богъ далъ человеку быть творцемъ только въ искусствѣ».

Тутъ есть нѣчто недосказанное. Совершенно справедливо, что въ искусствѣ художникъ создаетъ или изобрѣтаетъ сходства и подобія, т. е. образы существующаго или возможнаго въ природѣ, а въ сферѣ знанія ученый только угадываетъ или открываетъ скрытые законы или готовыя истины. Но, сколько мнѣ кажется, въ процессахъ самаго этого угадыванія или этихъ открытій дѣйствуютъ также изобрѣтательныя или творческія силы и приемы. Не одинъ Ньютонъ наблюдалъ падающія съ дерева яблоки и не одинъ Фальтонъ видѣлъ, какъ привскакиваетъ крышка на чайникъ отъ пара—однако не угадывали же другіе законовъ тяготѣнія или пароваго движенія,—слѣдовательно и тотъ и другой были какъ бы творцы этихъ законовъ.

Такимъ образомъ нервозность, т. е. тонкіе и чуткіе нервы, а вслѣдствіе этого впечатлительность и помощь фантазіи присущи, какъ необходимый элементъ, всякой работѣ, требующей инициативы мысли и изобрѣтательной производительности. не говоря уже о наукѣ, искусствѣ, но даже въ ремеслахъ, чему мы видимъ не мало примѣровъ. Талантливый ремесленникъ, съ помощью этой

же фантазій, дѣласть новме, смѣло шагнъ въ ремеслѣ, и иногда возводитъ его на степенъ искусства.

Чуткость нервъ и фантазія въ художникахъ (живописцахъ, поэтахъ, актерахъ) только разнообразіе и капризніе проявляется, по самому свойству и натурѣ ихъ дѣла, по образу жизни и прочимъ условіямъ.

И Гётевскій въ сферѣ своей дѣятельности также творилъ по своему, т. е. угадывалъ смыслъ явленія, чуялъ въ немъ правду, или ложь, опредѣлялъ характеръ его, и если явленіе представляло ницу увлеченію, онъ до вѣрчиво увлекался самъ и увлекалъ другихъ. Переживъ впечатлѣніе изъ самого себя, истративъ на него потоки, болѣе или менѣе горячихъ, печатныхъ или изустныхъ, импровизацій, онъ потомъ оставался ему вѣренъ уже въ той долѣ правды, до какою онъ видѣлъ въ нилу увлеченія, а какою дѣйствительно была въ немъ—и относился къ нему умѣреннѣе.

Наконецъ у него были постоянныя увлеченія или влеченія, плоды не одной только фантазіи, или напряженной работы непрерывнаго умственнаго развитія: они составляли основу его честной и прямой натуры: это влеченія къ идеаламъ свободы, правды, добра, чловѣчности, при чемъ онъ перѣдко ссылался на евангеліе,—и не помню гдѣ,—даже печатно. Этихъ идеаламъ онъ не измѣнялъ конечно никогда и на всякаго, сколько нибудь близкаго ему чловѣка, смотрѣлъ не иначе, какъ на своего единомышленника, иногда не давая себѣ труда всмотрѣться, дѣйствительно ли это было такъ. Никакихъ уклоненій отъ этихъ путеводныхъ своихъ началъ онъ ни въ комъ не допускалъ и не простилъ бы никому иного псовѣданія въ нравственныхъ, политическихъ или со-

ціальнихъ взглядахъ, кромѣ тѣхъ, какія принималъ и проповѣдывалъ самъ, разумѣется въ теоріи, ибо на практикѣ это было непримѣнимо въ то время нигдѣ, кромѣ робкаго проговариванья или намесковъ въ статьяхъ, да толковъ въ тѣсномъ кругу друзей.

Въ стремленіи или въ порывахъ, повторяю безплодныхъ, тогда казавшихся даже безнадежными, къ этимъ послѣднимъ идеаламъ особенно высказывалось его горячее нетерпѣніе, иногда до ребячества. Въ туманѣ новой какой-нибудь идеи, даже въ родѣ идей Фурье, наприжоръ (о чемъ могутъ больше меня сказать знавшіе его съ молодца), если въ ней только персился намекъ на петину, на прогрессъ, на что нибудь что казалось ему разумнымъ или честнымъ, передъ нимъ возникалъ уже опредѣленный образъ ся; нарождавшаяся гипотеза становилась его религіей;—онъ вѣровалъ въ идеаль въ идеалахъ, не думая подозрѣвать тутъ какаго-нибудь обольщенія, заблужденія или замаскированной лжи. Онъ видѣлъ только одну свѣтлую сторону. Такъ, всматриваясь и вслушиваясь въ чуждый еще тогда и новый у насъ слухъ и говоръ о коммунизмѣ, онъ наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнесъ однажды: «Конечно, будь у меня тысячъ сто, ихъ не стоило бы жертвовать, — но будь у меня милліоны, я отдалъ бы ихъ!»—Кому, куда отдалъ бы? Въ коммуны, для коммуны, на коммуны? Любопытно было бы спросить, въ какую кружку положилъ бы онъ эти милліоны, когда одно какое-то смутное понятіе носилось въ воздухѣ, кое-какъ перескочившее къ намъ черезъ границу, и когда самое названіе «коммуны» было еще для многихъ ново. А онъ готовъ былъ класть въ кружку милліоны — и положилъ бы,

еслибъ они были у него и еслибъ была кружка! Онъ только слышалъ о коммунизмѣ: книгъ негдѣ было взять—но конечно онъ скорѣе другихъ почерпнулъ изъ разказовъ одну мечту, манившую къ соблазнительнымъ благамъ.

Онъ мчался впередъ и никогда не оглядывался. Промѣлое для него отживало почти безъ слѣда, лишь только оно кончалось. По свойственному его натурѣ чувству справедливости, онъ конечно съумѣлъ бы найти и полюбить, напримѣръ, въ славянофилствѣ, что было въ немъ искренняго и правдиваго, но довольно того, что славянофилы хотѣли создавать новый строй русской жизни на старомъ, хотя и хорошемъ фундаментѣ, чтобы ужъ безусловно разойтись съ ними, смотрѣть на нихъ, если не враждебно, то неодобрительно. Онъ иногда не только терпѣлъ около себя людей довольно ограниченныхъ, но любилъ съ ними бесѣдовать, когда между ними ничего не было общаго, кромѣ вѣры въ одну какую нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую въ даль, къ отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чемъ они могли говорить съ Вѣлискимъ по долгу—понять было трудно: это объяснялось между прочимъ трогательною, почти дѣтскою снисходительностью Вѣлиискаго къ своимъ пріятелямъ и ко всему что ихъ составляло, что имъ принадлежало. Побудить его прогнать себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться съ нимъ, какъ сказано выше, въ коренныхъ убѣжденіяхъ, и то, еслибъ это обнаружилось какъ нибудь на практикѣ, въ жизни—а затѣмъ, будь пріятель его чѣмъ хочешь, но онъ не терялъ права на его дружелюбіе, однажды приобретен-

нос, особенно, если еще это выкупалось чѣмъ нибудь, напримѣръ, талантомъ, или просто даже безмолвнымъ сочувствіемъ его идеямъ и идеаламъ.

Ни въ комъ никогда не замѣчалъ я, чтобы самолюбіе проявлялось такъ тонко, скромно и умно, какъ въ Вѣлинскомъ. Онъ не могъ не замѣчать дѣйствія своей силы въ обществѣ — и конечно дорожилъ этимъ: по надобности пристально вглядываться въ него, чтобы ловить и угадывать въ немъ слабыя признаки сознанія своей силы: такъ онъ чуждъ былъ всякаго витѣшняго проявленія этого сознанія. Самъ онъ никогда не упоминалъ о своемъ значеніи.

Когда я узналъ Вѣлинскаго въ 1846 г., здоровье его было подорвано, хотя болѣзнь еще не развилась до той степени, какъ въ послѣдній годъ его жизни. Онъ былъ еще довольно бодръ, посѣщалъ однако немногихъ и его посѣщали тоже немногіе и не часто. Онъ началъ, по видимому, утомляться и своею любимую дѣятельностью, мечталъ иногда, вслухъ, впрочемъ рѣдко, о независимомъ положеніи отъ подневольнаго срочнаго труда. Но этой мечтѣ сбыться было не суждено. Онъ, съ кружкомъ близкихъ пріятелей, перешелъ отъ одного журнала къ другому, но это не принесло ему отдыха. Напротивъ, надо было употребить все силы, чтобы воскресить изъ праха этотъ умершій журналъ и вдохнуть въ него новую жизнь. Онъ, такъ сказать, умиралъ, дописывая послѣднія свои статьи. Поѣздка на лѣто въ Крымъ съ Щенкинымъ не помогла ему и онъ вернулся въ Петербургъ, едва ли не слабѣе, чѣмъ былъ до этого.

Правѣтно, какъ произошли все эти перемѣны: основаніе Современника, переходъ всего кружка изъ Отече-

ственныхъ Записокъ въ новый журналъ. Затѣмъ, вскорѣ развплась быстро болѣзнь — и Вѣлиискаго не стало.

Къ вышесказанному о способностяхъ его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазіи, которая помогала Вѣлиискому чутко проникать въ истинный смыслъ явленій, перѣдко вводила его и въ горькія заблужденія — отрезвленіе отъ которыхъ обходилось ему дорого, на счетъ здоровья. Онъ точно горѣлъ въ постоянномъ раздраженіи нервъ: всякіе пустяки, мелочи, все это съ одинаковою силой, парившіе съ крупными явленіями, отражались у него на печени, на легкихъ. Часто, въ спорахъ, отъ пустого противорѣчія, отъ вздорнаго фельетона Булгарина, или его сотрудниковъ, у него раздражалась вся нервная система, такъ что иногда жалко, а иногда и страшно было смотрѣть на него, какъ онъ разрѣшался грозой, злостью, въ какой нибудь, всегда блестящей, но много стоившей ему импровизаціи. И это за то, наприкладъ, если кто нибудь отзовется сухо, съ пренебреженіемъ, о тѣхъ или другихъ сочувственныхъ ему авторитетахъ въ сферѣ мысли, науки или искусства, не говоря уже о боѣ серьезныхъ поводахъ. Онъ загорался какъ то вдругъ (особенно, если былъ подходящій слушатель — а не изъ близкихъ, съ которыми все переговорилось и нечего было, ни давать, ни самому взять) — и въ теченіи часа, двухъ, являлась импровизація, въ родѣ гдѣхъ статей, какія появлялись въ Отечественныхъ Запискахъ.

И вотъ эта перевозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легкихъ, и вообще хрупкости организма, — убила, сожгла этого человека. И засталъ, какъ онъ очевидно догоралъ въ борьбѣ, но

только со все́мъ враждебнымъ, чѣмъ обставлена была его жизнь (какъ и жизнь почти все́хъ болѣе или менѣе въ то время, и въ томъ кругу), но онъ не совладѣлъ съ хаотическимъ состояніемъ собственныхъ силъ, въ которыхъ никогда не было равновѣсія, не только на какойнибудь болѣе или менѣе продолжительный періодъ, на годъ, на полгода, напримѣръ, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая недѣля когданибудь, чтобы онъ не истерзался чѣмънибудь до истощенія и упадка силъ!

Если ничего не приходило извнѣ, онъ хватался за свои постоянные и любимые, болѣею частью недосигаемые идеалы, общіе и вѣчные вопросы о той или другой свободѣ, о низверженіи тѣхъ или другихъ старыхъ кумировъ, и никогда ни отъ чего не отдыхалъ, потому что покой вообще не свойственъ натурамъ первымъ, даже и не въ его роли и не при его значеніи. Надо еще удивляться, какъ, при этой непрерывной напряженной работѣ умственныхъ и душевныхъ силъ въ такомъ скудельномъ сосудѣ, жизнь могла прогорѣть почти до сорока лѣтъ!

Но этому сваливать преждевременный конецъ его на чтонибудь другое, кромѣ этихъ разрушительныхъ и жгучихъ свойствъ его натуры, непрестаннаго броженія и горѣнія которыхъ не выдержалъ бы и другой, не такой хрупкій сосудъ—и несправедливо, и нечѣрно! Какъ тогда старались, такъ и теперь все еще стараются сваливать вину, то на одного, то на другого изъ журналистовъ, обременявшихъ непосильною работою Бѣлинскаго. И самъ онъ, хотя жаловался иногда на утомленіе и мечтать, какъ я сказалъ выше, о независимомъ положеніи,

о покое, но эти редкія мечты были, такъ сказать, общими мѣстами жалобъ, какія приходятъ на умъ и на языкъ каждому изъ насъ среди сибирскихъ или утомительныхъ занятій.

Да и возможенъ ли отдыхающій Лѣвинскій? Безъ непрерывной работы, безъ этого кнѣзья и броженія импровизовъ и мнѣній, вѣтъ литературной лихорадки, — я не умѣю представить себѣ его. Когда его повезли за границу — онъ былъ самъ не свой. — «Хорошо ли вамъ было тамъ?» — спросилъ я его по возвращеніи. — «Лѣвинскіе навилонское!» Вотъ какъ выразился онъ про свое леченіе и отдыхъ.

Нѣтъ, ему необходима была его сибирская, лихорадочная работа, — цуженъ и дорогъ былъ и свой маленькій кружокъ, въ своей семьѣ, у очага, среди пяти — шести близкихъ лицъ, гдѣ онъ бился и трепеталъ природною своею жизнью, изливаетъ потоки силы, служа своему призванію — и этимъ удовлетворялъ себя, и самъ чувствовалъ эту свою силу и давалъ чувствовать ее другимъ — этимъ наслаждался, этимъ только и жилъ, т. е. горячими лихорадочными писаніемъ статей и еще болѣе горячими, лихорадочными, иногда почти горячечными импровизациями въ кругу близкихъ лицъ.

Это былъ не критикъ, не публицистъ, не литераторъ только — а трибунъ. Публичная его трибуна — въ журналѣ; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, гдѣ онъ былъ на раснашку, это домашняя трибуна, гдѣ онъ не только зналъ, но, такъ сказать, видѣлъ свою силу, повѣрялъ, измѣрялъ ее, любовался ею самъ, глядя, какъ наслаждаются ею другіе. Отъ этого и были къ нему ближе всѣхъ тѣ,

кто любилъ въ немъ больше всего его талантъ, даже больше нежели его самого! Не допускать этого, значитъ не понимать хорошо натуръ этого рода. Самолюбіе иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многихъ и единственный двигатель дѣятельности, а часто и всей жизни. И сказать уже выше, какъ умно и тонко высказывалось оно у Бѣлинскаго—именно въ благодарной симпатіи къ почитателямъ его силы.

Многолюдства, новыхъ людей онъ не любилъ и избѣгалъ. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались въ количествѣ лицъ и впечатлѣній. Свой внутренній міръ и западающія туда рѣдкія явленія давали громадную пищу его неумолкающему и безпощадному анализу, и онъ едва справлялся и съ тѣмъ матеріаломъ, который попадался ему такъ сказать—на лету, случайно, или на который наводили его занятія по журналу. Онъ мало даже читалъ газеты, какъ то однимъ ухомъ слушалъ интимнѣе извѣстія, которыя, запесеть, бывало, то тотъ, то другой пріятель, но во всемъ находилось всегда довольно матеріала на промежуточный какой-нибудь день или вечеръ между писаніемъ статей. Все почти служило ему темой для болѣе или менѣе тонкаго, иногда бурнаго, или злаго, или на оборотъ восторженнаго словоплзненія. Онъ маялся и скучалъ, ходя изъ угла въ уголъ, когда не было подходящаго собесѣдника: ему приводили новое лицо, т. е. недавняго, еще непривычнаго къ нему знакомаго, и когда наконецъ никого не было, кромѣ своихъ, устраивали партію въ преферансъ.

Если не было очереднаго, насущнаго матеріала, онъ изъ себя добудетъ пищу: придеши, бывало, а онъ

вдругъ заговорить, повидимому, ни съ того, ни съ сего, (а конечно въ слѣдствіе кипѣвшей въ немъ внутренней работы) о какомъ нибудь, какъ помню однажды, напри-
мѣръ, «Прометей» Гёте: и въ эту минуту уже ничего
выше этого Прометея не было! Или вдругъ нападетъ на
какой нибудь авторитетъ, которому всѣ привыкли слѣпно
поклоняться, — и низвергнуть его: си то такъ возьметь те-
кущую новость, крутую административную мѣру, — и
полюются потоки рѣчей, полныя тонкаго анализа, мет-
кихъ опредѣленій, горячихъ осужденій. Особенно цен-
сура подавала нищу его словесной критикѣ. Чего тутъ
не было! И въ то же время онъ боялся шпионовъ, и
сколько былъ доверчивъ къ пріятелямъ, даже ко всѣмъ
вхожимъ въ нему лицамъ, къ которымъ принималъ, столько
же боялся новыхъ людей, косился на нихъ, подозревая
предательство. Между тѣмъ не могло быть лучшаго до-
казчика на него, какъ онъ самъ. Онъ на ухо каждому
пріятелю доверялъ все, что было у него на душѣ, и ре-
бачески думалъ, что это тутъ и умереть. Ему даже въ
готову не приходило, что тѣ въ свою очередь передавали
это, также на ухо, своимъ друзьямъ, и что сказанное
имъ, почти всегда вѣское и цѣнное, непременно дойдетъ
и до другихъ, уже не дружескихъ ушей.

Что же бы дѣлалъ такой человекъ въ покоѣ, т. е.
въ праздности, безъ своей трибуны въ журналѣ и безъ
этой маленькой аудиторіи около себя изъ десятка лицъ,
замѣнявшихъ ему весь міръ, признававшихъ его и лю-
бившихъ, какъ человека, и какъ саду? Все равно, гдѣ
бы ни было, при какихъ бы ни было обстоятельствахъ, —
онъ всегда горѣлъ и сгорѣлъ бы: прежде всего въ борьбѣ
съ ложью и грубостью около, вблизи, и потомъ въ по-

гонѣ за далекими, уходящими изъ всякаго реальнаго достиженія идеалами. Вотъ его натура—вся!

И не говорю, чтобы непріятности, потому нужды, тѣснота жизни, наконецъ страхъ, подъ которыми жили и ходили всѣ тогда, не имѣли своей доли разрушительнаго вліянія на здоровье и жизнь его; но я положительно убѣжденъ, что, безъ нравственной, вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организмъ, онъ перенесъ бы все остальное, внѣшнее. Онъ былъ обычной жертвой въ борьбѣ крайняго своего развитія съ цѣлымъ океаномъ всякой сплюснтой, господствующей неразвитости.

Способность его увлекаться, не смотря на его умъ, многіе опыты, лѣта, и особенно безпощадный вѣрный анализъ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно онъ былъ одаренъ фантазіей. И не говорю уже о томъ, какъ юношески восторженно унывался онъ красотами извѣстныхъ капитальныхъ, любимыхъ имъ произведеній, но онъ съ любовью анализировалъ каждую мелочь въ нихъ, иногда впадая въ ребячество до комизма! Стоитъ развернуть нѣкоторыя статьи, о Гоголѣ, гдѣ онъ говоритъ, или, лучше сказать, тремещетъ подъ его живымъ вліяніемъ. Напримеръ, въ статьѣ о «Горѣ отъ ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоедову, что онъ говоритъ о гусакѣ Ивана Никифоровича: безъ смѣха нельзя читать! «Великая, бесконечно великая черта художническаго генія этотъ гусакъ!» — восклицаетъ онъ съ наивосомъ и пишетъ цѣлую страницу о гусакѣ *).

*) Томъ III, стр. 376 (изд. 1862).

Вѣликому нѣрѣдко приходилось стыдиться своихъ увлеченій и краснѣть за прежнихъ идоловъ. Тогда онъ отъ хвалебныхъ гимновъ переходилъ въ другой, противоположный тонъ—и не скупился на сарказмы, забывая прежнюю вѣжливость къ своимъ любимцамъ. Когда онъ въ первый разъ свиданія съ ними, осматривалъ меня добрыми, законными словами, рисуя свой критическій взглядъ на меня мнѣ самому и заглядывая въ мое будущее, я остановилъ его однажды.—«И былъ бы очень радъ,—сказалъ я,—еслибы вы лѣтъ черезъ пять повторили хоть десятую часть того что говорите о моей книгѣ («Обыкновенная Исторія»), теперь.»—«(Отчего?)»—спросилъ онъ съ удивленіемъ.

«А оттого,—продолжалъ я,—что я помню, что вы прежде писали о С., какъ лестно отзывались о его талантѣ,—и какъ вы теперь цѣните его!»—(А онъ тогда уже развѣчивалъ его, и сравнивая со всѣми, что появлялось въ литературѣ послѣ, лишилъ его совѣсть прощай, впрочемъ неоспоримой заслуги, какъ будто его и не было вовсе въ литературѣ).

Мое справедливое замѣчаніе, сдѣланное мною, впрочемъ, вскользь, шутивымъ, пріятельскимъ тономъ, неожиданно тронуло и задрожало его за живое. Онъ задумчиво сталъ ходить по комнатѣ. Потомъ прошло съ полчаса. И уже забылъ и говорилъ съ кѣмъ то другимъ, а онъ подошелъ ко мнѣ и посмотрѣлъ на меня съ унылымъ упрекомъ: «каково же?» сказалъ онъ наконецъ, указывая кому-то на меня: «онъ считаетъ меня флюгеромъ! И мѣняю убѣжденія, это правда, но мѣняю ихъ, какъ мѣняютъ конѣйку на рубль!»—И потомъ опять сталъ ходить задумчиво.

Онъ, конечно, вѣрилъ въ то, что говорилъ, потому что онъ никогда не лгалъ,—но это его объясненіе было неверно. Онъ мѣнялъ не убѣжденіе, а у него мѣнялись впечатлѣнія, и пока впечатлѣніе переживало въ немъ свой срокъ, оно поглощало его всего, онъ дѣтски отдавался ему, употребляя на выраженіе его перомъ или словами всю свою силу, безъ пощады, до тѣхъ поръ, пока не наступитъ въ духѣ его реакція, работа анализа, и не охладить впечатлѣнія, или пока—какъ я выше сказалъ—само впечатлѣніе, своею ложью или грубостью, внезапно не отрезвитъ его. Онъ снѣшилъ высказывать процессъ дѣйствія самаго впечатлѣнія въ немъ, не ожидая конца,—и отъ этого впадалъ въ ошибки, разочарованія и неизбѣжныя противорѣчія. Собственно критическій, болѣе или менѣе стройный и провѣренный взглядъ явился у него гораздо позже.

Онъ какъ Донъ-Жуанъ къ своимъ красавицамъ—относился къ своимъ идоламъ: обольщался, хладѣлъ, потомъ стыдился многихъ изъ нихъ и какъ будто метилъ за прежнее свое поклоненіе. Идолы слѣдовали почти непрерывно одинъ за другимъ. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, отъ обаянія котораго онъ еще не успѣлъ вполне успокоиться, когда я познакомился съ нимъ), онъ сейчасъ же, легко перешелъ къ Достоевскому, потомъ пришелъ я—онъ занялся мною, тутъ же явился Григоровичъ, потомъ Кольцовъ, наконецъ Дружининъ. Ко мнѣ онъ отнесся сравнительно покойнѣе и трезвѣе, потому что я подвернулся съ своей книгой какъ разъ послѣ одного изъ этихъ разочарованій, въ которомъ онъ покался даже гдѣ-то нечисто—и сталъ немного осторожнѣе. Но и тутъ, въ первые недѣли знакомства,

послушавши его горьких и лестных отзывов о себѣ, я испугался, былъ въ недоумѣніи, и по разѣ выражалъ свои сомнѣнія и недоумѣніе къ нему самому и къ его скороспѣлому суду. На меня онъ иногда какъ будто нападалъ за то, что у меня не было злости, раздраженія, субъективности. — «Вамъ все равно, выйдете ли мерзавецъ, дуракъ, урокъ, или порабочая, добрая нагура, — всѣхъ одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни къ кому!» И это скажетъ (и не разъ говорилъ) съ какою-то доброю злостью, а однажды положилъ закономъ послѣ этого мнѣ руки на плечи и прибавилъ почти шепотомъ: — «а это хорошо, это и нужно, это признаки художника!» — какъ будто боялся, что его углинять и обвинять за сочувствіе къ безценденціозному писателю. Онъ, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направленію, но отнюдь не весь и не во всемъ. Искусство, во всей его широтѣ и силѣ, не хотѣло бы своей власти надъ нимъ, — и онъ отталкивалъ бы его отъ тѣхъ, чрезчуръ утилитарныхъ условій, въ которыя такъ тѣсно и узко хотѣлъ вогнать его нѣкоторые единичные исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я не слыхалъ самъ ничего отъ Вѣлинскаго, но это было не нужно, благодаря самоохотливости Панаева, который слышалъ отзывы Вѣлинскаго и по нѣскольку дней разносилъ ихъ съ стенографическою вѣрностью по домамъ, пока, вѣдѣ за Вѣлинскимъ, опять не увлекался чѣмъ-нибудь другимъ. Но Боже мой! что это были за отзывы! Кромѣ Кольцова и вѣ Кольцова уже не было и не бывало въ мірѣ поэтовъ! Этотъ образъ заслонялъ у него на время и Пушкина, и Лермонтова — словомъ, ни о комъ не было и рѣчи больше. За-

книшь ктонибудь, не то чтобы усомниться, а просто приблизить, на примѣръ, къ сравненію Кольцова съ кѣмъ-нибудь, или даже къ простому и спокойному опредѣленію рода поэзіи и таланта Кольцова — Бѣлинскій, а вслѣдъ за нимъ и Панаевъ, разгромили бы въ конецъ! И это на недѣлю, на двѣ, а потомъ анализъ, охлажденіе, осадокъ, а въ осадкѣ — некомпая доля правды.

И не ошибочно сравнилъ эти увлеченія Бѣлинскаго съ Донъ-Жуановскими увлеченіями женщинами: и у Бѣлинскаго, какъ у поклонниковъ женской красоты, всѣ прежніе идолы блѣднѣли передъ послѣднимъ, иногда невзрачнымъ, но имѣющимъ болѣе всего прелесть новизны. Истина же оцѣнка высказывалась въ большей или меньшей продолжительности впечатлѣнія, — и если послѣднее переживало нѣсколько послѣдующихъ идоловъ, то значить — критика его была непогрѣшима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

Къ идоламъ же, обманувшимъ его ожиданія, или которыми онъ увлекался прежде, въ молодости, ошибочно, или больше нежели слѣдовало, — онъ былъ безпощаденъ впоследствии. Кажется онъ восхищался еще въ студенчества Каратыгинымъ, когда тотъ пріѣзжалъ изъ Петербурга въ Москву, а Мочаловъ оттуда сюда, и когда происходили между обоими артистами сценическій, а по поводу ихъ, въ журналахъ, и литературный турниръ. Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозреваю, что Бѣлинскій въ юности платилъ, кажется, обоимъ артистамъ болѣе данн удивленія, нежели потомъ они (или собственно Каратыгинъ) въ его глазахъ стоили, когда Бѣлинскій развился и созрѣлъ. О Мочаловѣ онъ и послѣ всегда отзывался сочувственно,

цѣня въ немъ вѣрное и чуткое выраженіе тонкихъ, нѣжныхъ или высокихъ сторонъ Шекспировскихъ и Шиллеровскихъ ролей, особенно Гамлета, къ чему совершенно признавалъ неспособнымъ Каратыгина. Любимцу своему, за нѣкоторыя, истинно высокія минуты въ тѣхъ или другихъ роляхъ, онъ прощалъ вялость, монотонность и небрежность исполненія, когда этотъ актеръ былъ не въ ударѣ, а это случалось очень часто. Въ Каратыгинѣ же онъ какъ-то не-хотя признавалъ талантъ, хотя талантъ былъ большой, и при томъ старательно выработанный трудомъ въ школѣ сценическихъ и литературныхъ условій и преданій. Бѣлинскій говорилъ о немъ, какъ о неуклюжей, ходульной фигурѣ, смѣялся надъ его манерой и грубостью пониманія тонкихъ ролей.

Здѣсь онъ впадалъ въ тотъ недостатокъ, который мѣшала ему быть вполне безпристрастнымъ критикомъ. Уравновѣшивать строго и покойно достоинства и недостатки въ талантахъ—было не въ горячей натурѣ Бѣлинскаго.

Между тѣмъ эта же самая горячность т. е. способность увлекаться и поставила его во главѣ критики художественныхъ произведеній и создала даже школу этой критики, первымъ удачнымъ послѣдователемъ которой были Добролюбовъ и менѣе удачнымъ Анноловъ Григорьевъ. Ни до Бѣлинскаго, ни послѣ него, не было у нашихъ критиковъ въ такой степени чуткой способности сознать въ самомъ себѣ впечатлѣніе отъ того или другаго произведенія, сближать и сличать его съ впечатлѣніемъ другихъ, обобщать ихъ и на этомъ основывать свой судъ.

Въ этомъ собственно и состоялъ творческій пріемъ его оцѣнки. Ему помогало еще то, чего не доставало другимъ критикамъ: это страстнаго сочувствія къ

художественнымъ произведеніямъ. Чѣмъ ярче и сильнѣе талантъ, тѣмъ страстнѣе было и впечатлѣніе. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазію и порождало эти горячія критическія изліянія, которыя бросили столько свѣту и огня на все, что производила литература замѣчательнаго. Эта самая страстность увлеченій повергала его, какъ я замѣтилъ, и въ тѣ преувѣличенія, натяжки и ошибки, которыя ставились ему, бывало, его противниками въ вину, какъ умыселъ и обманъ. Точно также производило въ немъ нервное раздраженіе и всякое бездарное, анти-изящное явленіе въ литературѣ и вело къ горячимъ словопроизведеніямъ въ обратномъ смыслѣ—и все съ тѣмъ же блескомъ, остроуміемъ, но съ безнормальною проноіей.

Въ области критики художественныхъ произведеній, являлось и является не мало болѣе или менѣе замѣчательныхъ умовъ и перьевъ. но очень немногіе изъ нихъ подходятъ къ произведенію по прямому и кратчайшему пути т. е. отъ непосредственного впечатлѣнія произведенія на нихъ самихъ: они обходятъ со стороны, отъ холоднаго умственнаго воззрѣнія пускаются въ критическія дебри и разсуждаютъ тамъ, гдѣ надо прежде всего чувствовать и огнемъ чувства освѣщать путь уму—къ вѣрному опредѣленію достоинствъ или недостатковъ произведенія.

Но чуткость нервъ, сила фантазій и впечатлительность, до степени страстности, даются природою,—повидимому, не очень часто. Если сами художники встрѣчаются не на каждомъ шагу, то и критики съ такою сильною впечатлительностью, какъ у Бѣлинскаго, при силѣ его ума и дарованія, встрѣчаются еще рѣже.

Можетъ быть-этимъ можно отчасти объяснить недостатокъ критики въ нашей литературѣ, на который нерѣдко раздаются жалобы въ публикѣ.

Недалеко то время, когда наступитъ чередъ самого Бѣлинскаго предстать передъ безпристрастный судъ критики. Этотъ судъ, неподкупленный привязанностью къ его личности живыхъ друзей—современниковъ и его почитателей, настанетъ, когда, охладится теперь пока еще горячее о немъ воспоминаніе и преданіе: онъ отдѣлитъ его общественно-литературную дѣятельность отъ всякихъ дружескихъ симпатій, откинетъ всё преувеличенія и строго опредѣлитъ и оцѣнитъ истинное его значеніе и заслугу передъ обществомъ.

Даже и теперь еще, люди втораго поколѣнія, несвязанные никакими личными отношеніями къ Бѣлинскому, просто по краткости періода, на который отодвинулись отъ него, затруднятся произнести строгій критическій приговоръ его недостаткамъ.

Эти недостатки были, можетъ быть, неизбежны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, какъ какому-то апостолу отрицанія, пришлось разыграть въ сферѣ критики и публицистики тоже самое, что, другими способами и приѣмами, разыгралъ въ искусствѣ Гоголь, и что, иначе уже конечно, продолжало потомъ и продолжается разыгрываться или доигрываться почти всѣми литературными дѣателями до сихъ поръ.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, какъ его, и такіе способы и приѣмы, какіе съ успѣхомъ были употреблены имъ: другіе, болѣе мягкіе, покойные, строго-обдуманные, не дали бы ему сдѣлать и половины того, что сдѣлалъ

онъ, образуя тогда собою, вмѣстѣ съ Гоголемъ, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все такъ прибрано, казисто; общество выдѣляло изъ себя замѣчательныхъ, даже блестящихъ единицъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, на вершинахъ его лежалъ очень тонкій слой общеввропейской культуры. Но масса общества покорилась въ дремотѣ, жила рутинной и предавляла и не готовилась еще идти на встрѣчу тѣмъ реформамъ, мысль о которыхъ уже зрѣла въ высшихъ правительственныхъ сферахъ и приближеніе которыхъ чули и предсказывали нѣкоторые умы, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. Онъ сталъ—или талантъ и вся его натура поставили его во главѣ новаго литературнаго движенія. Беллетристики, изображающіе въ повѣстяхъ и очеркахъ черты крѣпостнаго права, были конечно, этимъ своимъ направленіемъ, болѣе всего обязаны его горячей—и словесной, и печатной проповѣди.

Понятно, что, соединяя въ себѣ роли публициста, эстетическаго критика и трибуна, провозвѣстника новыхъ грядущихъ началъ общественной жизни, онъ неизбежно долженъ былъ впадать въ рѣзкости, иногда крайности, въ лихорадку торопливости, увлеченій, разочарованій, раздраженій, эфемерныхъ симпатій, несправедливыхъ антипатій и недомолвокъ—словомъ непрерывной борьбы, безъ оглядки назадъ и безъ остановокъ!

Кто не оправдаетъ его, вспомя, съ какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, въ какомъ застоѣ покорилась масса, передъ которой онъ проповѣдывалъ? Крѣпостное право лежало не на однихъ

крестьянахъ -- и ему приходилось еще осваивать право начальниковъ — распоряжаться по своему произволу участью своихъ подчиненныхъ, родителей — считать дѣтей своей вещественной собственностью и т. д. — и тутъ же рядомъ объяснять тонкости и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзіи. Безъ него, силѣ можно сказать, и Гоголь не былъ бы въ глазахъ большинства той колоссальной фигурой, въ какую онъ, осѣщенный критикой Вѣлинскаго, сразу сталъ передъ публикой.

Обращаясь къ его увлеченіямъ и разочарованіямъ, припомню между прочимъ о его безпоощадныхъ отзывахъ о Кукольникѣ, и особенно, о Бенедиктовѣ.

Поражая на право и на лѣво всякую рутинность, ходульность, ложь, какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ, онъ, и въ томъ и въ другомъ, требовалъ простоты, естественности, и кто не удовлетворялъ этихъ условій — тому пощады не было.

Кукольникъ и Бенедиктовъ, оба съ значительными талантами, явились на свою бѣду послѣдними могикинами старой, «риторической», какъ прозвать ее Вѣлинской, школы. Онъ и печатно, и въ разговорахъ не могъ о нихъ отзываться равнодушно. Въ Кукольникѣ онъ еще соглашался признать нѣкоторыя достоинства, именно въ повѣстяхъ изъ эпохи Петра Великаго, и ставя ихъ въ примѣръ, тѣмъ тяжелѣ обрушивался на «Тасси», «Джулио Мости» и др. Но о Бенедиктовѣ онъ и слышать не могъ. Вычурность нѣкоторыхъ стихотвореній, въ самомъ дѣлѣ поразительная при талантѣ и умѣ Бенедиктова, дѣлала его какимъ-то, будто личнымъ врагомъ Вѣлинскаго. Зная лично Бенедиктова, какъ умнаго, симпатичнаго и честнаго человѣка, я пробовалъ иногда спорить съ

Вѣликимъ, объяснялъ обиліемъ фантазіи натяжки и преувеличенія во многихъ стихотвореніяхъ, — указывалъ накопецъ на мастерство стиха и проч. Вѣлинскій махалъ рукой и не хотѣлъ признать ничего, ничего. Не помню, что онъ говорилъ печатно о его сочиненіяхъ, но въ разговорѣ онъ постоянно раздражался противъ него, даже нападалъ (гдѣ-то въ статьѣ) на наружность Бенедиктова, въ самомъ дѣлѣ некрасивую. И Кукольникъ и Бенедиктовъ, оба, были его *bêtes noires*. Перваго онъ, кажется, зналъ лично, а второго шѣтъ, развѣ видѣлъ гдѣ-нибудь. Но антипатія къ ихъ сочиненіямъ многою переходила и на авторовъ.

Въ Кукольникѣ лично онъ могъ еще преслѣдовать и ту кичливость, которую носили съ собою всюду многіе изъ знаменитостей. Тогда былъ триумвиратъ изъ Кукольника, Брюлова и Глипки (гонорять, неразлучныхъ между собой), который примировалъ въ обществѣ. Можетъ быть и это *генеральство*, выказывавшееся особенно рѣзко въ Кукольникѣ (котораго я самъ видалъ только мелькомъ), въ его фигурѣ, рѣчи и манерахъ, — много прибавляло уксусу къ желчи Вѣлинскаго.

Развѣичиваніе отъ театральнаго, мишурнаго величія и самоишія разныхъ знаменитостей, и сведеніе ихъ на степень обыкновенныхъ смертныхъ, было тоже въ числѣ его задачъ. Онъ не только отрезвлялъ отъ чрезмѣрнаго самолюбія живыхъ, но, какъ извѣстно, снималъ вѣнки и съ усопшихъ, возложенные на нихъ слѣпымъ и преувеличеннымъ поклоненіемъ ихъ современниковъ, заходя иногда при этомъ далеко, впадая въ вышеупомянутыя ошибки, рѣзкости, порицанія и отрицанія, не стѣсняясь исторической перспективой. Онъ какъ будто

не замѣчать (и дѣйствительно въ то время не замѣчалъ), что при этомъ страдали законы строгаго безпристрастія. Вся сила ударовъ его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтобы добыть какую-нибудь новую, или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требуетъ прибавить, что онъ былъ пристрастенъ, но въ отрицательныхъ только, но и въ положительномъ смыслѣ. Но послѣднее дѣлалось у него неумышленно, и само собою. Его поднимали симпатіи къ близкимъ или хорошимъ людямъ, въ своему кружку—и онъ грѣшилъ не совѣстью, а мягкостью сердца. Упомяну о нѣкоторыхъ примѣрахъ. Между прочимъ онъ хвалилъ повѣсти Папаяна, и однажды только какъ-то нехотя, почти шепотомъ, сказалъ мнѣ уныло: «творчества у него ни капли нѣтъ.»

Кудрявцевъ изъ Московскаго кружка, большой пріятель Вѣлиискаго, написалъ недурную повѣсть, но Вѣлинскій отзывался о ней почти восторженно. Онъ смѣшивалъ пріятеля съ его сочиненіемъ, что, повторю, у него было грѣхомъ его сердца, а не совѣсти и эстетическаго вкуса. Литературные противники упрекали его въ этой слабости, но никогда не указывали, изъ какого чистаго источника происходила она.

И сказалъ выше, что Вѣлинскій боролся, чтобы до-бывать какую-нибудь новую, или расширить старую свободу: отъ этого и запальчивость, и пристрастія и на-тяжки, и противорѣчія—все то, что неизбежно бываетъ при усиленной ломкѣ стараго и завоеваніи новаго. Приведу примѣръ, въ которомъ Вѣлинскій является ревни-

телеяъ женской эмансипаціи, не въ обширномъ смыслѣ такъ называемаго женскаго вопроса вообще, который тогда еще не постуналъ, въ нынѣшнемъ его значеніи и объѣмѣ, на очередь, а просто только въ вопросѣ о любви. Въ числѣ всякихъ свободъ, конечно, онъ не обошелъ и женскую свободу, за которую положалъ не мало копѣекъ и апостоломъ которой была тогда Жоржъ-Зандъ. Онъ за одно уже это, помимо таланта, былъ ея восторженнымъ поклонникомъ.

Я пришелъ къ нему однажды рано послѣ обѣда (онъ жилъ тогда у Анничкови моста); онъ ходилъ по комнатѣ и былъ радъ моему посѣщенію.—Ну, что *Теверино*,—спросилъ онъ:—какъ вы находите? «Я не читалъ,—сказалъ я равнодушно.»—«Какъ не читали, вы?»—«Не читалъ,»—повторилъ я.—«Какъ такъ?»—«Не попалось книги подъ руку, я и не прочелъ.»—«Что это такое!»—напустился онъ на меня и разразился, сначала гонкой мнѣ за лѣнь и равнодушіе, а потомъ двирамбомъ *Теверино* и вообще Жоржъ-Занду. Не читавши *Теверино*, я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно онъ сказалъ объ этой повѣсти; помню только, что по мѣрѣ того, какъ приходили другіе, человѣка два-три, послѣ меня, онъ всякому указывалъ на меня и приговаривалъ съ удивленіемъ:—«*Теверино* не читалъ!»—

О *Теверино* я упомянулъ теперь случайно, въ видѣ предисловія къ тому примѣру, который хочу привести по вопросу о женской эмансипаціи и о крайнемъ увлеченіи этимъ вопросомъ Вѣлинскаго. Не помню теперь, въ этотъ вечеръ, или въ другой, онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросомъ о «*Лукреціи Флоріаніи*», которая тогда появилась въ переводѣ въ *Современникѣ*. Я и теперь помню

то восторженное поднятiе Бѣлиппскимъ руки вверхъ, когда онъ, осѣщая фигуру Лукреціи уже своимъ электрическимъ огнемъ похвалъ, ставилъ ее все выше—выше и наконецъ заключилъ, почти съ униженіемъ, что это «богиня, передъ которой весь міръ долженъ стать на колѣни!»

Меня сначала знакомства съ нимъ, какъ новаго для него человѣка, часто звали къ нему и туда, гдѣ онъ бывалъ, потому что онъ оживалъ съ новымъ, неиспрятаннымъ ему лицомъ, высказывался охотнѣе, былъ веселъ, доволенъ, словомъ, жилъ по своему. О Жоржъ-Зандъ тогда говорили безпрестанно, но міръ появленія ея книги, читали, переводили ее; нѣкоторыя женщины даже буквально примѣрили на себя ея эмансипаторскія заповѣди, поставивъ себя въ положеніе тѣхъ или другихъ из гороннъ, чего, конечно, безъ нея ни бы и въ голову не пришло, или пришло бы, какъ всегда, просто, безъ участія головы. Такъ, говорятъ, т. е. по рецепту Жоржъ-Занда, даже женился и В. П. В. и сейчасъ же разошелся съ женой—уже по собственному своему усмотрѣнію.

Я съ большимъ удовольствіемъ прочелъ Лукрецію Флоріани, наслаждаясь тамъ, повсе по ея тенденціей освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецію, а тонкой, идумчивой рисовкой характеровъ, этой нѣжностью очертаній лицъ, особенно женскихъ, ароматомъ ума, разлитымъ въ каждой, даже молчокъ замѣтъ, и до сихъ поръ смотрю такъ на Жоржъ-Зандъ и наслаждаюсь всѣмъ этимъ въ ней независимо отъ ея задачъ. Но Бѣлиппскій, цѣня въ ней художественность исполненія, конечно, по достоинству, выше всего однако ставилъ все

такъ ся иден. Я не разъ спорилъ съ нимъ, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорѣе равнодушно, чтобъ только вызвать его высказаться,—и равнодушно же уступать. Безъ этого споръ бы никогда не кончился, или перенестъ бы въ задоръ, на который конечно, никто изъ знавшихъ его никогда умышленно бы не вызвалъ. Я только, такъ сказать, затрогивалъ его, или онъ пѣрифе всегда самъ задиралъ меня вопросомъ, ожидая возраженія, и тогда разрѣшался любимымъ тономъ, кипятился и выкладывалъ все, что у него наготовилось за извѣстный періодъ, о томъ или другомъ предметѣ, и что потомъ укладывалось, или въ статьѣ, если къ тому времени подвѣртывалась статья, или въ словесную импровизацію, въ споръ. Какъ безмолвныхъ, такъ и слишкомъ горячихъ собесѣдниковъ, кажимъ онъ былъ самъ, онъ, кажется, не любилъ, что и понятно.

Я помню, что, по поводу Лукреціи Флоріанн, я упрекалъ его слегка рабствомъ авторитету, а самой Джоржъ-Зандъ ставилъ въ вину, какъ художнику, тѣсную исключительность ея сферы и ея парадоксы, доказывалъ между прочимъ, что нельзя признавать «богиней» женщину, которая на столько не владѣетъ собою, что переходитъ изъ рукъ въ руки пятерыхъ любовниковъ, не обойдя даже такого хлыща, какъ грубый, неразвитой актеръ, что это уже не любовь человѣческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натурѣ, а такъ, «гнусность», что наконецъ любовь двухъ людей требуетъ равенства въ развитіи, иначе это капризъ и т. д.

Онъ напалъ на меня:—«Вы пѣмецъ, филлистеръ, а пѣмцы, вѣдь это семипарпсты человѣчества! «прибавилъ онъ.» Вы хотите, чтобы Лукреція Флоріанн, эта

страстная, женственная фигура, превратилась въ чиновницу!»

Онъ однажды выразился даже такъ, что и художникъ самъ долженъ окунуться въ омутъ раснущенности нравовъ—и проговорилъ это довольно-серьезнымъ голосомъ, съ важнымъ выраженіемъ лица, съ убѣжденіемъ, какъ заповѣдь. И упрекъ, что у Бѣлинскаго, въ этомъ грубомъ парадоксѣ, крылось то убѣжденіе, что художникъ, непривоспунувшійся собственнымъ опытомъ низкихъ, грубыхъ слабостей и наденій, остается въ строгихъ пределахъ чистыхъ нравовъ, не будетъ имѣть многихъ красокъ на своей палитрѣ для живописанія всѣхъ людскихъ страстей и страстишекъ. Иначе нельзя этого и объяснить. Бѣлинскій, конечно, пдавался въ очевидную патажку, допуская, не только списхожденіе, но присуждая, такъ сказать, вѣнокъ женщицѣ, которая сѣлю оторвется отъ моральныхъ и матеріальныхъ узъ, какими связана была,—и я полагаю—во многомъ будетъ связана,—т. е. сама не позволить развязать себя, когда наступитъ отрзвѣленіе отъ горячки такъ называемаго женскаго вопроса и когда послѣдній вступитъ въ фазисъ покойной и разумной обработки.

Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, лучше другихъ понималъ все, что есть крайняго въ жизни этихъ Лукрецій и не смѣшивалъ про себя всѣхъ этихъ кучъ навоза, гдѣ толпились актеры, герцоги и прочіе, сквозь фалангу которыхъ прошла Флоріанн,—въ одну какую-то нпрямуду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеалъ женской свободы, онъ рвался къ нему, жертвуя подробностями, выпада въ патажки и противорѣчія даже съ самимъ собою, лишь бы отстоять этотъ

идеаль, чтобы противные голоса не заглушили самого вопроса въ зародышѣ.

О томъ, что собственно есть любовь, какъ человеческое чувство, и какъ строго и зорко надо его отличать отъ одного животнаго побужденія,—онъ въ ту минуту не думалъ, хотя перѣдко въ печати выражалъ трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопросъ, до котораго, конечно, дойдетъ очередь, когда одержана и упрочена будетъ главная побѣда свободы, а детали придутъ потомъ, когда начнется воспитаніе женщины въ духѣ той свободы,—тогда и разберутъ что и какъ. Особенно онъ боялся номѣхи со стороны пуританъ и пуританокъ, которые косо поглядывали не только на эмансипационныя попытки Жоржъ-Западъ, но и на чувственныя проявленія любви вообще.—«Да,—задумчиво и серьезно сказалъ онъ однажды, ужъ не помню при какомъ случаѣ: — «конечно, не одно «это» (т. е. чувственность) соединяетъ любящихся, но безъ «этого» — ничего другаго и не пужно!»

Между тѣмъ собственная его семейная жизнь, совершенно противорѣчила тому, что проповѣдывалъ онъ на своей трибунѣ о женской свободѣ любить на манеръ Лукреціи Флоріанн. Всею, что говорилось и писалось о его безупречныхъ отношеніяхъ къ женщинамъ—надо вѣрить. Въ семейной жизни трудно отыскать человека, который бы съ большимъ уваженіемъ обращался къ женѣ, чѣмъ онъ. Во всемъ его обхожденіи съ ней было то, что французы называютъ *déférence*: это же свойство проглядывало и въ отношеніяхъ его къ прочимъ знакомымъ женщинамъ, къ женамъ и вообще семействамъ всего кружка. Если у него въ душѣ и были какія-нибудь семейныя об-

лака, то, вѣроятно онъ никогда никому ихъ не обнаруживалъ. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на дѣлѣ онъ, признавалъ «святость» семейныхъ союзовъ, онъ, не любившій признавать вообще святостей.

Мнѣ остается замѣтить кое-что еще о несправедливомъ поголовномъ и голословномъ упрекѣ, который перѣдко обращали къ Вѣлинскому — въ необразованности!

Въ относительной необразованности можно упрекнуть всякаго, не исключая самыхъ образованныхъ. Но на него обрушивался этотъ упрекъ, какъ будто онъ былъ неучъ, какъ будто невѣжество его въ чемъ-нибудь рѣзко обличало его и было замѣтнымъ недостаткомъ.

Но сочиненія его передъ нами: гдѣ же грѣшить онъ въ нихъ какими-нибудь промахами противъ того или другого знанія, или слабостью въ пониманіи того или другого, о чемъ писалъ? А о чемъ онъ не писалъ и чего не касался? И нигдѣ нѣтъ никакихъ рѣзкихъ обличеній въ незнакомствѣ съ догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Матеріальный поводъ къ этому упреку, конечно, былъ тотъ, что онъ не кончилъ курса и не получилъ университетскаго диплома. За это прежде всего ухватились нѣсь заискусственные посредственности, которыхъ значеніе блѣднѣло по мѣрѣ того, какъ развивался и обнаруживался талантъ Вѣлинскаго. У него правда, не было, ни оффиціального значенія, ни оффиціальной учености, и за это его разжаловали въ необразованные, въ неучи, въ недоучки!

Помните, что и Полевого, вначалѣ его появленія,

тоже упрекали неученостью, и даже обзывали «купцомъ», потому что онъ не былъ въ университетѣ и не имѣлъ ученой степени.

Узнали, что Бѣлинскій не знаетъ по нѣмецки, слѣдовательно, опъ-де, ни Гегеля, ни Гёте, ни другихъ, въ подлинникъ не читалъ, а говорить о нихъ такъ, какъ будто читалъ ихъ самъ: ну, значить, и неучъ!

Но какъ далеко ниже его стояли многіе изъ упрекавшихъ его въ своей мнимой учености, нужды нѣтъ, что они занимали ученые кафедры и положенія, или сотрудничали въ журналахъ, говорили и писали о древнихъ и новыхъ литературахъ, не зная иногда ни одного, или зная только французскій языкъ!

Нѣтъ, Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей (не ученѣе, а именно образованнѣе), за исключеніемъ развѣ одного Герцена, правильная подготовка котораго возводила его образованность на степень учености.

Средства Бѣлинскаго были скудныя. пути образованія почти случайныя (однако въ университетѣ, только безъ диплома.) Знанія, приобретаемыя въ университетской аудиторіи, дополнялись въ кругу товарищей, при совместномъ чтеніи и взаимномъ объясненіи оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ. наконецъ среди преній, разборовъ въ юныхъ кружкахъ, въ добываніи съ трудомъ и въ взаимной передачѣ книгъ.

Развѣ это не школа, не академія, гдѣ гранились другъ о друга юныя умы, жадно передавая другъ другу знанія, наблюденія, взгляды — вся эта жажда и любовь къ знанію? Какого же еще надо аѳинскаго портика, съ Платономъ въ вицъ-мундирѣ и очкахъ? Не

такъ ли мы всё приобретали то, что есть въ насъ лучшаго и живаго? Не тамъ ли, въ юношескихъ университетскихъ кружкахъ, и мы сортировали и осмысливали то, что уносили отъ кафедръ?

Представьте же въ этой школѣ мальчика съ свѣтлой головой, съ впечатлительнымъ воображеніемъ, любознательнаго и талантливаго? Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и пониманія до степени яснovidѣнія: сколько сокровищъ онъ вынесетъ изъ такой школы?

А та масса русскихъ и французскихъ книгъ, которую онъ прочелъ по обязанности сотрудника, отъ *Молода* до *Современника*, въ теченіи двадцати лѣтъ: это тоже своего рода школа! Тутъ ему не нужны были профессоръ: у него былъ свой регуляторъ и руководитель, который ближе свелъ его и съ Гегелемъ, и съ Шиллеромъ, и съ Гёте—путями, непроходимыми для другихъ, но доступными ему.

Ссылаюсь на одинъ изъ любимыхъ авторитетовъ Вѣлинскаго, Жоржъ Зандъ, которая, гдѣ-то говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познать все, заключаетъ такъ: «On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre.»

И Вѣлинскій дѣйствительно «понималъ» все, не только къ чему прикасался его сосредоточенный анализъ, но и то, что проносилось мимо его, на что онъ случайно обращалъ взглядъ. Онъ жилъ, непрерывно учась за перомъ, въ живыхъ бесѣдахъ съ друзьями и почитателями, и роясь въ безднѣ книгъ, проходившихъ черезъ его руки: и такъ, до конца жизни!

Въ рукахъ противниковъ Вѣлинскаго упрекъ въ не-

учености, какъ извѣстно, былъ Архимедовъ рычагъ, которымъ они старались столкнуть его съ мѣста, но конечно безуспѣшно.

Профессія ученаго была не его профессія, да онъ никогда и не бралъ ее на себя.

Слѣдовательно, говоря о его знаніяхъ, необходимо обуславливать въ точности, какой именно учености не доставало ему—и за этимъ ставить вопросъ: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему по долю,—именно для роли—не эстетическаго критика собственно, не публициста только, а для того и другого вмѣстѣ, и еще для чего-то—третьяго? Наконецъ, надо еще спросить: отвѣчала или не отвѣчала степень его подготовки эпохѣ и моменту его дѣятельности и его средѣ—и опредѣлить, сколько онъ сдѣлалъ для своего времени и современнаго ему поколѣнія? И только въ совокупности на всѣ эти вопросы, и слѣдуетъ, и можно давать по возможности покойный, т. е. отрѣшенный и отъ вражды, и отъ пристрастія къ нему отвѣтъ. Кстати можно было бы спросить много ли сдѣлали тѣ «ученые», которые громили его за неученость?

Извѣстно, какъ Вѣлипскій былъ искрененъ и не хвастливъ. Съ постороннимъ, мало знакомымъ лицомъ, онъ почти совсѣмъ не говорилъ, или говорилъ мало, несвязно и не блисталъ, ни умомъ, ни знаніемъ. Только съ близкими онъ былъ свободенъ въ рѣчи, не остерегался ошибокъ и давалъ волю своимъ силамъ. И въ такихъ именно спорахъ, онъ обнаруживалъ массу знаній, которыхъ въ покойномъ разговорѣ, видѣ всякаго увлеченія, нельзя было подозрѣвать въ немъ. Онъ ронялъ и сыпалъ ихъ печально, какъ часто печально въ печат-

ныхъ статьяхъ свергалъ остроуміемъ, удачными сравненіями, ссылками на тѣ, или другіе авторитеты и т. п.

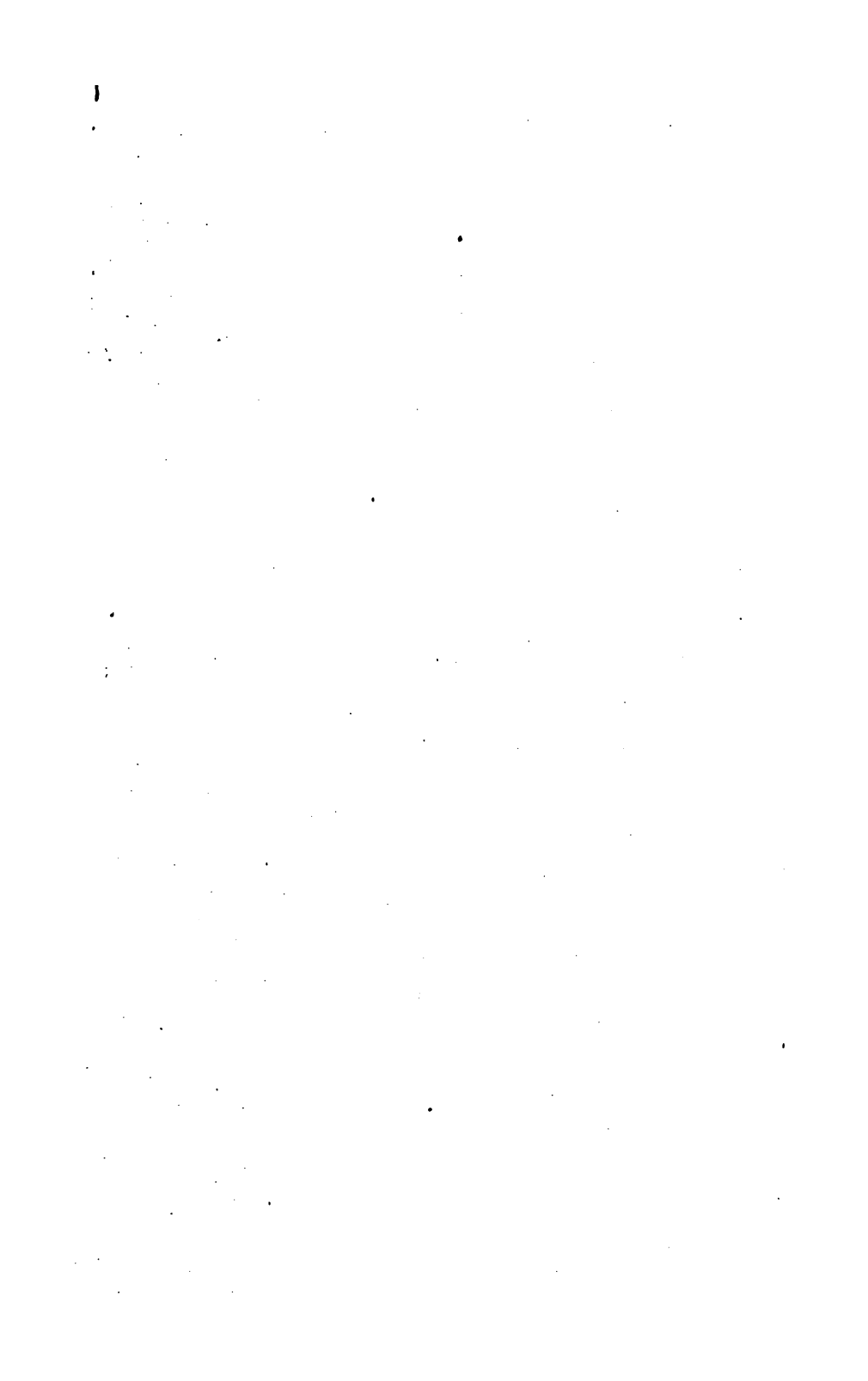
Слѣдовательно знанія, хотя бы собранныя медленно, иногда урывками, служили прямой его цѣли, его дѣлу, т. е. его перу. Онъ не держалъ на ученой конюшнѣ осѣдланнаго готоваго коня, съ парадной сбруей, не выѣзжалъ въ циркъ показывать ѣзду *haute école*, а ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученыхъ коней. Этотъ способъ партизанскихъ набѣдовъ именно и нуженъ былъ ему для его цѣлей.

Познаніями могъ превосходить его, какъ я выше сказалъ, напримѣръ, Герценъ. Но вѣдь и онъ не ученостью все сдѣлалъ въ литературѣ и въ жизни, что сдѣлалъ, хотя ученость, или, лучше сказать, всестороннее образованіе было важнымъ подспорьемъ его таланту и блестящему остроумію.

Можно конечно пожалѣть, что и Бѣлинскій не совершилъ отъ начала до конца путь болѣе обширнаго, или лучше сказать, болѣе систематическаго образованія, для исполненія, съ болѣешиимъ авторитетомъ, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соответствующая его природнымъ средствамъ подготовка помогла бы еще болѣе его вліянію на литературное развитіе въ обществѣ и упрочила бы за нимъ значеніе его дѣятельности и заслуги—безъ всякихъ сомнѣній и споровъ.

1

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМЪ НИКОГДА.



ЛУЧШЕ ПОЗДНЮ, ЧѢМЪ НИКОГДА.

(Критическія замѣтки).

Я давно положилъ перо и не печаталъ ничего новаго. Такъ думалъ я и закончить свою литературную дѣятельность, полагая, что мое время прошло, а вмѣстѣ съ нимъ «прошли» и мои сочиненія, т. е. прошли ихъ пора.

Я рѣшился возобновить только изданіе четвертой государственнаго изданія «Фрегаты Палада», но причиняя, о которыхъ сказано въ предисловіи къ этому изданію. Путешествіе въ дальніе концы міра имѣютъ вообще привилегію держаться долѣе другихъ книгъ. Всякое изъ нихъ оставляетъ надолго неизгладимый слѣдъ или колею, какъ колесо, пока дорога не проторится до того, что всѣ колесы сольются въ одинъ общій широкій путь. Кругосвѣтными путешествіями еще далеко до того.

Другое дѣло—романы и вообще художественныя произведенія слова. Они живутъ для своего вѣка и умираютъ вмѣстѣ съ нимъ; только произведенія великихъ мастеровъ переживаютъ свое время и обращаются въ историческіе памятники.

Прочія, отслуживъ свою службу въ данный моментъ, поступаютъ въ архивъ и забываются.

Я ожидалъ этой участи и для своихъ сочиненій, послѣ

того, какъ они выдержали—одни два, другія три изданія, и по располагалъ, и теперь не имѣю въ виду, печатать ихъ вновь.

Но въ публикѣ, гдѣ еще много живыхъ современниковъ моей литературной дѣятельности, перѣдко вспоминаютъ и о моихъ романахъ, иногда печатно, и очень часто въ личныхъ обращеніяхъ ко мнѣ.

Одни освѣдомляются, отчего нѣтъ моихъ сочиненій у книгопродавцевъ? Другіе лестно упрещаютъ меня, зачѣмъ я не пишу ничего новаго, иногда даже предлагаютъ написать о томъ или о другомъ предметѣ, на ту или другую тему, говори, что отъ меня будто бы ожидаютъ въ публикѣ еще какого нибудь произведенія. Третьи—и такихъ болѣе всего—обращаются къ собственному моему взгляду на то или другое изъ моихъ сочиненій; требуютъ поясненій о томъ, что я разумѣлъ подъ тѣмъ, что хотѣлъ сказать этимъ; кого или что имѣлъ въ виду, изображалъ таково-то героя или героиню, вымышлены ли эти лица и событія, или дѣйствительно они были и т. д. Этимъ вопросамъ нѣтъ конца!

При этомъ, какъ это случалось почти со всѣми писателями, стараются меня самого подводить подъ того или другаго героя, отыскивая меня то тамъ, то сямъ, или угадывая тѣ или другія личности въ герояхъ и героиняхъ. Чаще всего меня видятъ въ Обломовѣ, любезно упрещая за мою авторскую лѣнь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ, затруднялись, куда меня дѣвать въ которомъ нибудь романѣ, напримѣръ, въ дядю или племянника въ «Обыкновенной Исторіи».

Иные откровенно выражаютъ мнѣ и порицаніе, за то, за другое, за третье: указываютъ слабыя мѣста, находятъ

невѣрности, или преувеличенія, и за все зовутъ меня къ отвѣту. Еще недавно гдѣ-то я видѣлъ въ печати бѣглый критическій очеркъ моихъ сочиненій.

А я все думалъ, что если я уже замолчалъ въ печати самъ, то и другіе поговорятъ-поговорятъ, да и забудутъ меня съ моими сочиненіями, и потому, на обращеніе ко мнѣ вопросы, отвѣчалъ что приходию къ голове подъ вліяніемъ минуты, личности вопрошателя и другихъ случайностей.

Но вопросы, освѣдомленія, требованія разъясненій и проч. не только не прекратились, но, напротивъ, съ появленіемъ новаго изданія «Фрегата Паллада», усилились. Послѣднюю прибавить, что я не утомляюсь и не скучаю этимъ, напротивъ, принимаю какъ выраженія лестнаго вниманія. Меня только иногда затрудняютъ отвѣты, которые я долженъ держать всегда, такъ сказать, на готовѣ, на обращеніе ко мнѣ вопросы, при чемъ, конечно, неизбежно приходится впадать въ постоянныя повторенія.

Чтобы выйти изъ этого положенія отвѣтчика передъ тѣми или другими читателями за свои сочиненія и ходячаго критика послѣднихъ, и разъ навсегда разъяснить свой собственный взглядъ на мои авторскія задачи, я рѣшился напечатать давно праздно лежавшую въ моемъ портфельѣ неизслѣдующую рукопись.

Этотъ критическій анализъ моихъ книгъ возникъ изъ предисловія, которое я готовилъ было къ отдѣльному изданію «Обрыва» въ 1870 году, то тогда, по сказаннымъ въ этомъ очеркѣ причинамъ, не напечаталъ. Потомъ въ 1875 году я опять возвратился къ нему, кое-что прибавилъ и опять отложилъ въ сторону.

Теперь, пробѣгая его вновь, я нахожу, что онъ мо-

жетъ служить достаточнымъ, съ моей стороны, разъясненіемъ и отвѣтомъ почти на всѣ обращаемыя ко мнѣ съ разныхъ сторонъ, и лично, и печатно, вопросы, иногда лестныя, преувеличенныя похвалы, чаще — порицанія, недоразумѣнія, упреки, — какъ относительно общаго значенія моихъ авторскихъ задачъ, такъ относительно и дѣйствующихъ лицъ, подробностей и т. д.

Я отнюдь не выдаю этотъ анализъ своихъ сочиненій за критическій непреложный критерій, не навязываю его никому, и даже предвижу, что во многомъ и многіе читатели, по разнымъ причинамъ, не раздѣляютъ его. Сообщая его, я только желаю, чтобы они знали, какъ я смотрю на свои романы самъ, и приняли бы его, какъ мой личный отвѣтъ на дѣлаемые мнѣ вопросы, такъ чтобы вѣтъ не оставалось уже о чемъ спрашивать меня самаго.

Если читатели найдутъ этотъ мой ключъ къ моимъ сочиненіямъ — невѣрнымъ, то они вольны подбирать свой собственный. Если же бы, противъ моего ожиданія, мнѣ понадобилось издать вновь всѣ мои сочиненія, то этотъ же анализъ можетъ служить авторскимъ предисловіемъ къ нимъ.

И опоздалъ съ этимъ предисловіемъ, — скажутъ мнѣ: но если оно не покажется лишнимъ и теперь — то «лучше поздно, чѣмъ никогда», — могу отвѣтить на это.

Со времени появленія романа «Обрывъ» въ 1869 г., мнѣ пришлось прочитать немало суровыхъ, даже раздражительныхъ приговоровъ въ печати; напротивъ того, въ обществѣ, лично, я встрѣчалъ много сочувствія, выра-

за свое дѣтище. выводить его въ публичку, объяснять, что опъ такой-сякой, словомъ, рекомендовать. И молчалъ потому, что, если не замѣтили и не нашли того другіе, что замѣчаю и нахожу я самъ, значить, я — слабый художникъ, и образы и картины мои не говорятъ ничего, кромѣ того, что говорятъ висящіе по стѣнамъ портреты, красивые или некрасивые, похожіе или непохожіе, съ добрыми, злыми, или гордыми лицами — и больше ничего!

Хорошо еще что хвалили за колоритъ, за вѣрность лицъ, за живость пейзажей — и то слава Богу!

Хотѣлъ было, однако, я, въ 1870 году, сдѣлать нѣсколько возраженій нѣкоторымъ критикамъ, собственно по поводу Волохова и Вѣры, защитить ихъ и себя, но раздумалъ, чтобы не напрашиваться на новые, еще болѣе раздражительные отзывы, нежели какіе обращены были ко мнѣ тогда, именно за то, что будто бы я въ Волоховѣ изображалъ представителя новаго поколѣнія! Эти возраженія были предметомъ довольно обширнаго предисловія, которое я намѣревался напечатать при отдѣльномъ изданіи «Обрыва», но отложилъ, говорю я, и возьму оттуда теперь сюда то, что покажется мнѣ уместнымъ.

«Если молчалъ столько времени — зачѣмъ же теперь принимаюсь самъ объяснять свою книгу или, лучше сказать, свои книги, потому что придется затронуть мимоходомъ и первые два мои романа, говоря о послѣднемъ, ибо, скажу прежде всего, что они, особенно «Обломовъ» и «Обрывъ», тѣсно и послѣдовательно связаны между собою, какъ связаны отразившіяся въ нихъ, какъ въ каналъ воды, періоды русской жизни.

Пишу прежде всего для тѣхъ, несоставляющихъ уже теперь большинства въ обществѣ любителей художественной литературы, которые еще перѣдко продолжаютъ въ разговорахъ со мною обращаться къ «Обрыву» и среди которыхъ найдется болѣе сочувствія и, слѣдовательно, болѣе чуткости, опредѣлительности и безпристрастія въ оцѣнкѣ — и самыхъ образовъ, и того, что они выражаютъ, если они выражаютъ какой нибудь другой смыслъ, кромѣ портретнаго сходства и яркости кисти. Если и они не найдутъ ничего, тогда я уже и самъ, послѣ опыта, перестану находить ключъ къ моимъ сочиненіямъ.

Стало быть, прежде всего мнѣ это нужно для повѣрки себя, правъ я или нѣтъ — и если со мной согласятся и другіе и найдутъ, что я — въ значительной степени правъ, тогда, съ объясненіемъ внутренняго значенія моихъ картинъ, объяснится само собою и то, въ чемъ собственно состоитъ заслуга романиста, если онъ художникъ.

«Художникъ мыслитъ образами», сказалъ Бѣлинскій — и мы видимъ это на каждомъ шагу, во всѣхъ даровитыхъ романистахъ.

Но какъ онъ мыслитъ — вотъ давнишній, мудреный, спорный вопросъ! Одни говорятъ — сознательно, другіе — безсознательно.

Я думаю, и такъ, и эдакъ: смотря потому, что преобладаетъ въ художникѣ, умъ, или фантазія и такъ называемое сердце?

Онъ работаетъ сознательно, если умъ его тонокъ, наблюдателенъ и преодолагаетъ фантазію и сердце. Тогда идея перѣдко высказывается помимо образа. И если

талантъ не силенъ, она заслоняетъ образъ и является тенденціею.

У такихъ сознательныхъ писателей умъ доказываетъ, чего не договариваетъ образъ — и ихъ созданія бываютъ нерѣдко сухи, блѣды, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству. Они убѣждаютъ, учатъ, утѣраютъ, такъ сказать, мало трогая.

И на оборотъ — при избыткѣ фантазіи и при —относительно меньшемъ противъ таланта — умѣ, образъ поглощаетъ въ себѣ значеніе, идею; картина говоритъ за себя и художникъ часто самъ увидитъ смыслъ — съ помощію тонкаго критическаго исполнителя, какими, напримеръ, были Вильнискій и Добролюбовъ.

Рѣдко, въ лицѣ самого автора, соединяются, и сильный объективный художникъ, и вполне сознательный критикъ.

Да не подумаютъ, что я беру такую роль на себя. Единицы такой величины встрѣчаются весьма рѣдко, хотя большая часть пзвѣстныхъ литераторовъ конечно обладаютъ и значительною степенію критическаго такта.

Почти всѣ они болѣе или менѣе въ состояніи судить и другихъ и самихъ себя, какъ ни труденъ вообще судъ надъ собою.

Можетъ быть, и у меня найдется нѣкоторая доля критическаго такта — но крайней мѣрѣ мнѣ случается почти всегда вѣрно опредѣлять значеніе литературныхъ произведеній другихъ: почему же я не могу опредѣлить вѣрно кое-что и въ самомъ себѣ? Безъ сомнѣнія, я рискую быть пристрастнымъ — и, пожалуй, впасть въ самообольщеніе и самовосхваленіе. Но тѣ, которымъ я сообщу мои

критическія замѣтки о себѣ, конечно укажутъ мнѣ эту смѣшную черту и просвѣтятъ меня на мой счетъ.

Обращаюсь къ любопытному процессу сознательнаго и бессознательнаго творчества. И о себѣ прежде всего скажу, что я принадлежу къ послѣдней категоріи, т. е. увлекаюсь больше всего (какъ это замѣтилъ обо мнѣ Бѣлинскій) «своею способностью рисовать».

Рисуя, я рѣдко знаю въ ту минуту, что значить мой образъ, портретъ, характеръ: я только вижу его живымъ, передъ собою—и смотрю, вѣрно ли я рисую, вижу его въ дѣйствиі съ другими—слѣдовательно, вижу сцены и рисую тутъ этихъ другихъ, иногда далеко впередъ, по плану романа, не предвидя еще вполне, какъ вмѣстѣ сложатся всѣ, пока разбросанныя въ головѣ, части цѣлаго. И сиѣшу, чтобъ не забыть, набрасывать сцены, характеры, на листкахъ, клочкахъ—и иду впередъ какъ будто оцунью, нишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ Обломовѣ и Райскомъ), п мнѣ самому бываетъ скучно писать, пока вдругъ не хлынетъ свѣтъ и не освѣтитъ дороги, куда мнѣ идти. У меня всегда есть одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впередъ—и по дорогѣ я нечаянно захватываю, что попадется подъ руку, т. е., что близко относится къ нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успѣваетъ писать, пока опять не упрусь въ стѣну. Работа, между тѣмъ, идетъ въ головѣ, лица не даютъ покоя, пристають, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ—и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ около меня и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться.

Мнѣ, наиримѣръ, прежде всего бросался въ глаза

лѣтний образъ Обломова—въ себѣ и въ другихъ—и все ярче и ярче выступала изредо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовала, что въ эту фигуру обираются мало по малу элементарныя свойства русскаго человека—и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру.

Еслибъ мнѣ тогда сказали все, что Добролюбовъ и другіе и, наконецъ, я самъ потомъ нашли въ немъ—я бы повѣрилъ, а повѣривъ, сталъ бы умышленно усиливать ту или другую черту—и, конечно, испортилъ бы.

Вышла бы тенденціозная фигура! Хорошо, что я не вѣдалъ что творю!

Въ «Обрывѣ» больше и прежде всего меня занимали три лица: Райскій, бабушка и Віра, но особенно Райскій. Труднѣе всего было мнѣ издумываться въ этотъ неопредѣленный, туманный еще тогда для меня образъ: сложный, измѣчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшійся постепенно, съ ходомъ времени, которое отражало на немъ все переливы свѣта и тѣнъ, т. е. подвизженія общественнаго развитія. И долженъ былъ его болѣе, нежели кого нибудь, писать инстинктомъ, глядя то въ себя, то вокругъ, безпрестанно говори о немъ въ кругу тогдашнихъ литераторовъ, повѣряя себя, допрашиваясь ихъ мнѣнія, читая нѣмъ на выдержку отдѣльныя главы, объясняя что будетъ дальше, чтобы видѣть, какое впечатлѣніе производитъ онъ, и бодрѣе идти впередъ. И это началось съ 1855 года (романъ задуманъ былъ въ 1849 г., когда я, послѣ 14-лѣтняго отсутствія, пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу). Тутъ толпою хлынули ко мнѣ старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій тогда патриархальный бытъ, и вѣсть

новые побѣги, смѣсь молодого съ старымъ. Сады, Волга, обрывы Пололжы, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства—все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончать «Обломова», котораго написана была первая часть, а остальные гнѣздились въ головѣ. Я унесъ новый романъ, возилъ его вокругъ свѣта въ головѣ и въ программахъ, небрежно написанной на клочкахъ—и говорилъ, рассказывалъ, читалъ вслухъ всѣмъ кому пошло, радуясь своему запасу.

Кончилъ «Фрегатъ Палладу», кончилъ, въ 1857 году, за границею на водахъ «Обломова» и тогда же, прямо изъ Мариенбада, поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ, трехъ друзей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только что написанныя въ уединеніи, на водахъ, три послѣднія части «Обломова», за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ же лицамъ. Послѣ того весь отдался «Обрыву», который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ нашимъ просто подъ именемъ «Художника».

Приступаю теперь прямо къ тому, что мнѣ видится въ моихъ трехъ романахъ, къ общему ихъ смыслу.

И упомянуть выше, что вижу не три романа, а одинъ. Всѣ они связаны одною общею нитью, одною послѣдовательною идеею—перехода отъ одной эпохи русской жизни, которую я переживалъ, къ другой—и отраженіемъ ихъ явленій въ моихъ изображеніяхъ, портретахъ, сценахъ, мелкихъ явленіяхъ и т. д.

Прежде всего надо вспомнить и уяснить себѣ слѣдующее положеніе искусства: если образы типичны—они непременно отражаютъ на себѣ—крупнѣе или мельче—и

эпоху, въ которой живутъ, отъ того они и типичны. То есть, на нихъ отражается, какъ въ зеркалѣ, явленія и общественной жизни—и нравы, и бытъ. А если художникъ самъ глубокъ, то—въ нихъ проявляется и психологическая сторона. На глубину я не претендую, поспѣваю замѣтить: и современная критика уже замѣчала печатно, что я не глубокъ.

И самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ—все это, помимо моего сознанія, само собою отразилось силою рефлексіи у меня въ воображеніи, какъ отражается въ зеркалѣ пейзажъ изъ окна, какъ отражается иногда въ небольшомъ прудѣ, громадная обстановка: и опрокинутое надъ прудомъ небо, съ узоромъ облаковъ, и деревья, и гора съ какими-нибудь зданіями, и люди, и животныя и суета и неподвижность—все въ миниатюрныхъ подобіяхъ.

Такъ и надо мною и надъ моими романами совершался этотъ простой физическій законъ—почти незамѣтнымъ для меня самого путемъ.

Когда я писалъ «Обыкновенную исторію» я конечно имѣлъ въ виду—и себя—и многихъ подобныхъ мнѣ, учившихся дома, или въ университетѣ, жившихъ по вѣтиньямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и потомъ—отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашнего очага, со слезами, съ проводами, (какъ въ первыхъ главахъ «Обыкновенной исторіи») и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургъ.

И здѣсь—въ встрѣчѣ мягкаго, избалованнаго дѣтствомъ и барствомъ, мечтателя-племянника съ практическимъ дядей—выразился намекъ на мотивъ, который едва только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центрѣ—въ

Петербургъ. Мотивъ этотъ — слабое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго перутишнаго, а живого дѣла, въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоємъ.

Это отразилось въ моемъ маленькомъ зеркалѣ въ среднемъ чиновничьемъ кругу. Безъ сомнѣнія тоже — въ такомъ же духѣ, тонѣ и характерѣ, только другихъ размѣровъ, разыгрывалось и въ другихъ, и высшихъ и низшихъ сферахъ русской жизни.

Представитель этого мотива въ обществѣ былъ дядя: онъ достигъ значительнаго положенія въ службѣ, онъ директоръ, тайный совѣтникъ, и кромѣ того онъ сдѣлался и заводчикомъ. Тогда, отъ 20-хъ до 40-хъ годовъ — это была смѣлая новизна, чуть не униженіе (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца — не было лестно.

Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сантиментальности, каррикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ, (напримѣръ, любви съ желтыми цвѣтами старой дѣвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д.

Словомъ вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности — къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ.

Все это — отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, дѣловаго, нужнаго.

Первое, т. е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника — и отъ того онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе.

Второе — т. е. трезвое сознание необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ — но это сознание только нараждалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развитія — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдельныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника.

Наденька, дѣвушка, предметъ любви Адуева — вышла такъ-же отраженіемъ своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь передъ матерью какихъ-бы ни было родителей. Мать ея слаба передъ ней и едва въ состояніи сохранять только десотин авторитета матери, хотя и увѣряетъ, что она строга, даромъ что молчать, и что будто Наденька ни шагу безъ нея не ступить. Не правда, она сама чувствуетъ, что слаба и слѣпа, до того, что допускаетъ отношенія дочери и къ Адуову и къ графу, не понимая въ чемъ дѣло.

Дочь нѣсколькими шагами — впереди матери. Она безъ с п р о с у полюбила Адуева — и почти не скрываетъ этого отъ матери или молчитъ только для приличія, считая за собою право распоряжаться по своему своимъ внутреннимъ міромъ и самимъ Адуевымъ, которыхъ, изучивъ его хорошо, овладѣла и командуетъ. Это ея послушный рабъ, нѣжный, безхарактерно-добрый, что-то обѣщающій, но мелко-самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, какихъ вездѣ — legionъ. И она приняла

бы его, вышла бы за мужъ—и все пошло бы обычнымъ ходомъ.

Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, съ блескомъ. Наденька увидала, что Адуевъ не выдерживаетъ сравненія съ нимъ, ни въ умѣ, ни въ характерѣ, ни въ воспитаніи. Наденька въ своемъ быту не приобрьла сознанія ни о какихъ идеалахъ мужскаго достоинства, силы, и какой силы?

Тогда ихъ и не было, этихъ идеаловъ, какъ не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онѣгинны, и подобные ему, вотъ кто были идеалы, т. е. франты, львы, презиравшіе мелкій трудъ и незнавшіе, что съ собой дѣлать!

Ея достало разглядѣть только, что молодой Адуевъ—не сила, что въ немъ повторяется все, что она видѣла тысячу разъ во всѣхъ другихъ юношахъ, съ которыми танцевала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась къ его стихамъ. Писаніе стиховъ тогда было дипломомъ на интеллигенцію. Она ждала, что сила, талантъ, кроется тамъ. Но оказалось, что онъ только пишетъ спосные стихи, но о нихъ никто не знаетъ, да еще дуется про себя на графа за то, что этотъ простъ, уменъ и держитъ себя съ достоинствомъ. Она перешла на сторону послѣдняго: въ этомъ пока и состоялъ сознательный шагъ русской дѣвушки—безмолвная эмансипація, протестъ противъ безпомощнаго для нея авторитета матери.

Но тутъ и кончилась эта эмансипація. Она признала, но въ дѣйствіе своего сознанія не обратила, а остановилась въ невѣдѣніи, такъ какъ и самый моментъ эпохи былъ моментомъ невѣдѣнія. Ин-

кто еще не зналъ, что съ собой дѣлать: куда идти, что начать? Онѣгинъ и подобные ему «идеалы» только тосковали въ бездѣйствіи, не имѣя опредѣленныхъ цѣлей и дѣла, а Татьяны не вѣдали.

«Что же въ этого будетъ?—въ страхѣ спрашиваетъ Наденьку Адуевъ:—графъ не женится?»

— «Не знаю!»—отвѣчаетъ она въ тоскѣ. И дѣйствительно не знала русская дѣвушка, какъ поступить сознательно и рационально въ томъ или другомъ случаѣ. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать противъ отдачи ея замужъ родителямъ—и только могла, безсознательно конечно, какъ Наденька, заявить этотъ протестъ, забракдовавъ одного и перейдя чувствомъ къ другому.

Тутъ я и оставилъ Наденьку. Миѣ она была больше не пужа, какъ типъ, а до нея, какъ до личности, миѣ не было дѣла.

И Бѣлинскій однажды замѣтилъ это. «Пока ему пужа она, до тѣхъ поръ онъ съ ней и возится!—сказалъ онъ кому-то при миѣ:—а тамъ и броситъ!»

А меня спрашивали многіе, что же было съ нею дальше? Почему я знаю? Я рпсовалъ не Наденьку, а русскую дѣвушку извѣстнаго круга той эпохи, въ извѣстный моментъ. Самъ я никакой одной Наденьки лично не зналъ, или зналъ многихъ.

Миѣ скажутъ, что, какъ ея, такъ и другія фигуры блѣдны—и типовъ собою не образуютъ: очень можетъ быть—объ этомъ я спорить не могу. Я только говорю, что самъ подъ ними разумѣлъ.

Въ началѣ 40-хъ годовъ, когда задумывался и писался этотъ романъ, я еще не могъ вполне ясно глядѣть

въ слѣдующій періодъ, который не наступалъ, по предчувствіи котораго жили уже во мнѣ, потому что вскорѣ послѣ напечатанія, въ 1847 году въ Современникѣ, «Обыкновенной Исторіи» — у меня уже въ умѣ былъ готовъ планъ Обломова, а въ 1848 г. (или 1849 г. — не помню) я помѣстилъ въ «Иллюстрированномъ Сборникѣ» при «Современникѣ» и «Сонъ Обломова» — эту увертюру всего романа, слѣдовательно я переживалъ про себя въ воображеніи и этотъ періодъ — и, благодаря своей чуткости, предчувствовалъ, что слѣдуетъ далѣе. Теперь могу отвѣчать, «что случилось съ Наденькой?»

Смотрите въ «Обломова» — Ольга есть превращенная Наденька слѣдующей эпохи. Но до этого дойдетъ ниже.

Адуевъ копчилъ, какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ, (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился, словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается «Обыкновенная Исторія».

Она — въ моихъ книгахъ — первая галлерей, служащая преддверіемъ къ слѣдующимъ двумъ галлерейамъ или періодамъ русской жизни, уже тѣсно связаннымъ между собою, т. е. къ «Обломову» и «Обрыву», или къ «Сну» и къ «Пробужденію».

Мнѣ могутъ замѣтить, что задолго передъ этимъ намеки на подобныя же отношенія между людьми, какъ у меня въ «Обломовѣ» и въ «Обрывѣ», частію въ «Обыкновенной Исторіи», есть у нашего великаго поэта Пуш-

кина, напримѣръ, въ Татьянѣ и Онегинѣ, Ольгѣ и Ленскомъ и т. д.

На это я отвѣчу прежде всего, что отъ Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ теперь еще пока никуда не уйдемъ. Школа Пушкино-Гоголевская продолжается доселѣ, и все мы, беллетристы, только разрабатываемъ заимствованный ими матеріалъ. Даже Лермонтовъ, фигура колоссальная, весь, какъ старшій сынъ въ отца, вылился въ Пушкина. Онъ ступалъ, такъ сказать, въ его слѣды. Его Пророкъ и Демонъ, поэзія Кавказа и Востока и его романы — все это развитіе тѣхъ образцовъ поэзии и идеаловъ, какіе далъ Пушкинъ. И сказалъ въ критическомъ этюдѣ о Грибоедовѣ, «Милліонъ терзашій», что Пушкинъ — отецъ, родоначальникъ русскаго искусства, какъ Ломоносовъ — отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются все сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ все роды и виды искусства во всехъ нашихъ художникахъ, какъ въ Аристотелѣ крылись сѣмена, зародыши и намеки почти на все послѣдовавшія вѣтви знанія и науки. И у Пушкина, и у Лермонтова, вѣсть одинъ родственный духъ, слышится одинъ общій строй лиры, иногда являются будто одни образы, — у Лермонтова можетъ быть болѣе мощные и глубокіе, но за то менѣе совершенные, и блестящіе по формѣ, чѣмъ у Пушкина. Вся разница въ моментѣ времени. Лермонтовъ ушелъ дальше временемъ, вступилъ въ новый періодъ развитія мысли, поваго движенія европейской и русской жизни и опередилъ Пушкина глубиною мысли, смѣлостью и повизною идей и полета.

Пушкинъ, говорю, былъ нашъ учитель — и я воспитался, такъ сказать, его поэзією. Гоголь на меня повліялъ

гораздо позже и меньше; а уже писалъ самъ, когда Гоголь еще не закончилъ своего поприща.

Самъ Гоголь, объективностью своихъ образовъ, конечно обязанъ Пушкину же. Безъ этого образца и предтечи искусства — Гоголь не былъ бы тѣмъ Гоголемъ, какимъ онъ есть. Прелесть, строгость и чистота формы — тѣ же. Вся разница въ бытѣ, въ обстановкѣ, и въ сферѣ дѣйствія — а творческій духъ одинъ, у Гоголя весь перешедшій въ отрицаніе.

Поэтому несудивительно, что черты Пушкинской, Лермонтовской и Гоголевской творческой силы — доселѣ входятъ въ нашу плоть и кровь, какъ плоть и кровь предковъ переходить къ потомкамъ.

Надо сказать, что у насъ, въ литературѣ, (да я думаю и вездѣ) особенно два главные образа женщинъ постоянно являются въ произведеніяхъ слова параллельно, какъ двѣ противоположности: характеръ положительный — Пушкинская Ольга и идеальный — его же Татьяна. Одинъ — безусловное, пассивное выраженіе эпохи, типъ, отливающийся, какъ воскъ, въ готовую, господствующую форму. Другой — съ инстинктами самосознанія, самобытности, самостоятельности. Отъ того первый ясенъ, открытъ, понятенъ съ разу (Ольга въ Онегинѣ, Варвара въ Грозѣ). Другой, напротивъ, своеобразенъ, ищетъ самъ своего выраженія и формы, и отъ того кажется капризнымъ, таинственнымъ, мало-уловимымъ. Есть они у нашихъ учителей и образцовъ, есть и у Островскаго въ Грозѣ — въ другой сферѣ; они же, смѣю прибавить, явились и въ моемъ Обрывѣ. Это два господствующіе характера, на которые въ основныхъ чер-

тахъ, съ разными оттѣнками, болѣе или менѣе дѣлается почти всѣ женщины.

Дѣло не въ изобрѣтеніи новыхъ типовъ — да корюшихъ общечеловѣческихъ типовъ и немного — а въ томъ, какъ у кого они выразились, какъ связались съ окружающею ихъ жизнью, и какъ послѣдняя на нихъ отразилась.

Пушкинскія Татьяна и Ольга какъ нельзя болѣе отбѣчали своему моменту. Татьяна, подавленная своей грубой и жалкой средой, также бросилась къ Онегину, но не нашла отвѣта и докорила своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмѣгъ забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитетъ родителей рѣшилъ ихъ судьбу. Пушкинъ, какъ великій мастеръ, этими двумя ударами своей кисти, да еще нѣсколькими штрихами — далъ намъ вѣчные образцы, по которымъ мы и учимся безсознательно писать, какъ живописцы по античнымъ статуямъ.

У меня (въ дальнѣйшей противу Онегина эпохѣ), и Наденька и Ольга, или лучше сказать Наденька — Ольга, (потому что я утверждаю, что это одно лицо въ разныхъ моментахъ) поступила иначе, согласно съ временемъ. Отъ невѣденія Наденьки — естественный переходъ къ сознательному замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, знанія, энергіи, словомъ, силы.

И не оставаюсь долго надъ «Обломовымъ». Въ свое время его разобрали и оцѣнили его значеніе, и критикой, особенно въ лицѣ Добролюбова, и публикою, весьма сочувственно.

Воплощеніе сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни — перепопзаніе изъ дня въ день — въ

одномъ лицѣ и въ его обстановкѣ — было всѣмъ найдено вѣрнымъ — и я счастливъ.

Я закончилъ свою вторую картину русской жизни, Сп а, нигдѣ не пробудивъ самого героя О б л о м о в а.

Только Штольцъ время отъ времени подставлялъ ему зеркало обломовской бездонной лѣни, апатіи, сна. Онъ истощилъ, вмѣстѣ съ Ольгой, всѣ силы къ пробужденію его — и все напрасно.

Въ послѣднемъ свиданіи со Штольцомъ только вырывается у Обломова нѣсколько сознательныхъ словъ — и напрасно я вставилъ ихъ. Я помѣстилъ ихъ въ концѣ, когда одинъ пріятель, голявшійся всегда въ произведеніяхъ некуستا за сознательною мыслию, но мало вообще доступный непосредственному дѣйствию образа, замѣтилъ мнѣ: «что же онъ, уже ли не отзовется на призывъ Штольца?»

Я и вставилъ нѣсколько словъ, изъ которыхъ выглядываетъ сознаніе и самого Обломова.

И образъ его немного, такъ сказать, тронулся отъ этого, немного потерялъ цѣлости характера: въ портретѣ оказалось пятно. Но это, къ счастью въ самомъ концѣ. Не надо было трогать вовсе. Не даромъ Вѣлиинскій, въ своей рецензіи объ «Обыкновенной исторіи», упрекнулъ меня за то, что я тамъ сталъ «на почвѣ сознательной мысли!» Образы такъ образы: ими и надо говорить.

Штольцъ, уходя въ послѣдній разъ, въ слезахъ говорить — «прощай, старая Обломовка: ты отжила свой вѣкъ!»

И того бы не нужно говорить. Обломовъ самъ достаточно объясняетъ себя, прося Штольца у й т и, я е-

трогать его, говоря, что онъ приростъ одною
больною половиною къ старому, отъдер-
будеть смерти!

Этимъ бы и слѣдовало закончить вторую картину
Сонъ, т. е. непробуднымъ сномъ, потому что далѣе,
за обломовскимъ хребтомъ (выраженіе Герце-
на гдѣ-то въ «Колоколѣ»), мнѣ открывалась дальнѣйшая,
третья перспектива: — это картина Пробужденія.

И, повторяю, уже съ 1849 года посильнѣе эту толпу
лицъ, сценъ, пейзажей, въ памяти и въ программѣ (т. е.
«Обрывѣ»), набросанной безпорядочно, какъ все это
поспало у меня въ голову. На первомъ планѣ являлась
во-весь ростъ Бабушка, потомъ Вѣра, Райскій,
послѣ Марфинька, Козловъ съ женой (универси-
тетскія воспоминанія товарищества), дворня, садъ съ об-
рывомъ. Все это тѣснилось въ воображеніи и требовало
только сосредоточенности уединенія и покоя, чтобы от-
литься въ форму романа.

А этого всего было у меня мало; да я все сомнѣвал-
ся въ своихъ силахъ, все не довѣралъ себѣ, все справ-
лялся съ мнѣніемъ и впечатлѣніемъ другихъ, высказы-
валъ все до подробности Боткину, Дудышкину, Дружи-
нину, и болѣе всего одному, еще живому литератору,
требуя мнѣнія, совѣта, но совѣтовъ ни отъ кого не по-
лучалъ, и кончалъ тѣмъ, что приводилъ все медленно,
послѣ тщательной отдѣлки, къ концу. И рѣдко могъ
урываться за границу — между службою, свѣтскимъ и
всякимъ другимъ бездѣльемъ -- и работать. Всего болѣе
затрудняла меня архитектоника, сведеніе всей массы лицъ
и сценъ въ стройное цѣлое, и вотъ, между прочимъ,
причины медленности!

«Что другому стало бы на десять повѣстей», замѣтилъ однажды Бѣлинскій про меня, еще по поводу «Обыкновенной Исторіи», — «у него укладывается въ одну рамку».

Да и періоды, уложившіеся въ эти три рамки, растянулись лѣтъ на тридцать, слѣдовательно, и романы — или отраженія жизни — должны были тянуться паралельно долго.

У меня раскидывался и четвертый періодъ, захватывавшій и современную жизнь, но я оставилъ этотъ планъ, потому что творчество требуетъ спокойнаго наблюденія уже установившихся и успокоившихся формъ жизни, а новая жизнь слишкомъ нова, она трепещетъ въ процессѣ броженія, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизмѣняется не по днямъ, а по часамъ. Нынѣшніе герои не похожи на завтрашнихъ и могутъ отражаться только въ зеркалѣ сатиры, легкаго очерка, а не въ большихъ эпическихъ произведеніяхъ.

Прежде чѣмъ перейти къ «Обрыву», скажу нѣсколько словъ о Штольцѣ въ «Обломовѣ».

Меня упрекали за это лицо — и съ одной стороны справедливо. Онъ слабъ, блѣденъ — изъ него слишкомъ голо выглядываетъ идея. Это я самъ сознаю. Но меня упрекали, зачѣмъ я ввелъ его въ романъ? Отчего нѣмца, а не русскаго поставилъ я въ противоположность Обломову?

Я могъ бы отвѣтить на это, что изображая лѣнь и апатію во всей ея широтѣ и завороченности, какъ стилизованную русскую черту, я только одно это, я, выставилъ рядомъ русскаго же, какъ образецъ энергіи, знанія, труда, вообще всякой силы, вналъ бы въ нѣкоторое противорѣ-

чіе съ самимъ собою, т. е. съ своею задачею — изображать застои, сонъ, неподвижность. И разбавилъ бы цѣлость одной, избранной мною для романа стороны русскаго характера.

Но я молча слушалъ тогда порицанія, соглашаясь вполнѣ съ тѣмъ, что образъ Штольца блѣденъ, мертвенъ, неживой, а просто идея.

Особенно, кажется, славянофилы, и за незастылый образъ Обломова, и всего болѣе за пѣмца — не хотѣли меня, такъ сказать, знать. Покойный О. П. Тютчевъ однажды ласково, съ свойственною ему мягкостью, упрекая меня, спросилъ «зачѣмъ я взялъ Штольца!» И повинуясь въ ошибкѣ, сказавъ, что сдѣлалъ это случайно: подъ руку, молъ, подвернулся!

Между тѣмъ, кажется, помню моею воли — тутъ ошибки собственно не было, если принять во вниманіе ту роль, какую играли и играютъ до сихъ поръ въ русской жизни и пѣмецкій элементъ и пѣмцы. Еще доселѣ они у насъ учителя, профессора, механики, инженеры, техники по всѣмъ частямъ. Лучшія и богатѣя отрасли промышленности, торговыхъ и другихъ предпріятій въ ихъ рукахъ.

Это, конечно, досадно, но справедливо — и причины этого порядка дѣлъ истекаютъ все изъ той же обломовщины (между прочимъ, изъ крѣпостнаго права), главный мотивъ которой набросанъ мною въ Слѣдъ Обломова.

И вижу, однако, что не сирота подвернулся мнѣ пѣмецъ подъ руку — и должно быть тогда (я теперь забавляю) мнѣ противно было брать чисто-пѣмецкаго пѣмца. Я взялъ родиннаго здѣсь и обрусѣннаго пѣмца и пѣ-

медкую систему неизпѣженнаго, бодрого и практическаго воспитанія.

Обрусѣвшіе пѣмцы (например, остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнію и—нѣтъ сомнѣнія, сольются когда нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни — и несправедливо и нельзя. Они вносятъ во все роды и виды дѣятельности — прежде всего свое терпѣніе, *persévérance* своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ бы ни было—въ арміи, во флотѣ, въ администраціи, въ наукѣ, словомъ, всюду — они служатъ съ Россіей и Россіи, и большею частію становятся ея дѣтьми.

Отвергать ихъ при этихъ условіяхъ, какъ притокъ, сливающийся съ общою рѣкою — было бы также возмутительно-несправедливо съ нашей русской стороны, какъ возмутительно-несправедливо со стороны пѣкоторой партіи остзейскихъ пѣмцевъ, живя въ Россіи, съ русскими, находя въ ней надежную опору своего политическаго существованія и все условія благосостоянія, считать ее чуждою себѣ, своему пѣмецкому духу, пытаться отъ сліянія съ нею и стараться удержать свое *statu quo*.

Все это, конечно, минуетъ въ будущемъ, хотя, можетъ быть, и не очень близкомъ. Закоснѣлость и упрямство нашихъ доморожденных пѣмцевъ уступать духу времени, когда они, съ своею мнимою остзейскою цивилизаціею, очутятся позади шагающей впередъ Россіи. И самое славнофильство, остающееся тѣмъ, что оно есть, т. е. выраженіемъ и охраненіемъ кореннаго славяно-русскаго духа, нравственной народнои силы и историческаго характера Россіи, будетъ некрепнѣе протягивать руку къ всеобщей,

т. е. европейской культуры: ибо если чувства и убѣжденія національны, то знаніе — одно для всѣхъ и у всѣхъ.

Обращаюсь къ «Обрыву». Тамъ на первыхъ планѣ — Райскій и Бабушка, потомъ Вѣра, Волоховъ, Марфишка и Викентьевъ, далѣе учитель Козловъ съ женою, большая дворня и наконецъ Тушинъ.

Что же представляетъ эта группа: ужели ничего больше, кромѣ портретовъ, индивидуальныхъ характеровъ, мало связанныхъ съ общою жизнью известнаго момента?

Такъ нѣтъ и смотрѣли. Нѣкоторые упрекали меня, зачѣмъ я такъ пложу и растягиваю тѣ или другія сцены? зачѣмъ обременяю ихъ подробностями? довольно бы-де однимъ намекомъ, нѣсколькими словами, штрихомъ, маленькой сценой — выразить мысль....

Но я выражалъ прежде всего не мысль, а то лицо, тотъ образъ, то дѣйствіе, которое видѣлъ въ фантазій. Поступилъ я по совѣту этой критики, у меня не вышло бы ни одной живой и полной фигуры, законченнаго портрета, а вышли бы сухіе рисунки, силуэты, эскизы карандаша. Зачѣмъ же мнѣ карандашъ, если, какъ говорятъ, у меня есть кисть?

Теперь скажу, что я самъ вижу въ этихъ фигурахъ.

Что такое Райскій? Да все Обломовъ, т. е. прямой, ближайшій его смыслъ, герой эпохи Пробужденія.

Обломовъ былъ цѣльнымъ, ничѣмъ неразбавленнымъ выраженіемъ массы, покоявшейся въ долгомъ и непробудномъ снѣ и застоѣ. И критика, и публики находили это: почти всѣ мои знакомые на каждомъ шагу, смѣясь, говорили мнѣ, по выходѣ книги въ свѣтъ, что

они узнаютъ въ этомъ героѣ, себя и своихъ знакомыхъ.

Райскій — герой слѣдующей, т. е. переходной эпохи. Это проспавшійся Обломовъ: сильный, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озирается вокругъ и оглядывается на свою обломовскую колыбель.

Что-то пронеслось цѣлое и живое въ воздухѣ, какія-то смутныя предчувствія, потому прошли слухи о новыхъ началахъ, преобразованіяхъ; обнаружилось движеніе въ наукѣ, въ искусствѣ; съ профессорскихъ кафедръ послышались живыя рѣчи. Въ небольшихъ кружкахъ тогдашней интеллигенціи, смѣло выражалась передовыми людьми жажда переменъ. Ихъ называли «людьми сороковыхъ годовъ». Райскій — есть конечно одинъ изъ нихъ — и можетъ быть — что-нибудь и еще.

Райскій — натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все таки сынъ Обломова.

Онъ, умомъ и совѣстью, принялъ новыя животворныя сѣмена — но остатки еще не вымершей обломовщины мѣшаютъ ему обратить усвоенныя понятія въ дѣло. Онъ соваля туда, сюда — но онъ не былъ серьезно приготовленъ наукой и практикой къ какой-нибудь государственной, общественной, или частной дѣятельности, потому что на всѣхъ этихъ сферахъ еще лежала обломовщина, тихое, монотонное теченіе сонныхъ привычекъ, рутина. Живое дѣло только что просыпалось. Россія дожидала вѣкъ петровскихъ реформъ — и ждала новыхъ.

Райскій мечется, и наконецъ, благодаря природному таланту или талантамъ, бросается къ искусству: къ жи-

воищи, къ поэзии, къ скульптурѣ. Но и тутъ, какъ гири на ногахъ, его тянетъ назадъ таже «обломовщина».

Ива искусства была такъ-же пуста, не воздѣлана, и отдѣльная, хотя великія явленія въ ней — были случайности. Въ литературѣ почти тоже.

Не было цѣлой рати пишущихъ, разсадника, литературной школы, почти не было журналистики; все работало робко, тихо, по уголкамъ. Только огромные таланты Пушкина и Лермонтова являлись отдѣльными яркими звѣздами, а кругомъ ихъ почти никого. Тоже и въ живописи и въ музыкѣ: была и академія и школа классическая и классная. Не было почвы, кружковъ, общества, которые жили бы однимъ искусствомъ и для искусства, безъ видовъ на карьеру и отличія. Не было частной инициативы; самобытная русская художническая сила, сквозь обломовщину, не могла прорваться наружу.

Такъ было до нашего времени, до нынѣшняго царствованія. Гоголь, правда, явился прежде, но созданная имъ школа разрослась и утвердилась съ свободой печати, также какъ развивалась и журналистика, образовались кружки, партіи и большой кругъ замѣчательныхъ писателей.

Но это все послѣ, а Райскій и Бабушка явились, повторяю, у меня въ головѣ въ 1849 году. Какъ только я пріѣхалъ на Волгу, на меня какъ будто сошь слѣтъ весь планъ романа. И уже разработалъ въ головѣ Обломова до конца и въ то же время развивалась у меня въ воображеніи слѣдующая эпоха, и все — и дѣйствіе и лица, шли — параллельно съ развитіемъ самой жизни. Это, повторяю, мнѣ становилось замѣтно, когда я приходилъ къ концу романа.

Въ Райскаго входили, сначала безсознательно для меня самого, и многія типическія черты моихъ знакомыхъ и товарищей. Въ обществѣ, въ образованной средѣ, побѣги новыхъ, свѣжихъ стремленій, мѣшались и путались еще съ герніями и полчцами обломовщины разнаго рода — и вольной и невольной, съ разными припавками празднаго жителя-бытья, и съ трудностями упорной борьбы съ старымъ. Застой, отсутствіе специальныхъ сферъ дѣятельности, служба, захватывавшая и годныхъ и негодныхъ, и нужныхъ и ненужныхъ, и расплывавшая бюрократію, все еще густыми тучами лежали на горизонтѣ общественной жизни: группа новыхъ людей устремилась къ ихъ разсѣванію.

Искусство было все еще роскошью, забавой для богатыхъ, горькою нуждою для бѣдныхъ; литература, за исключеніемъ крупныхъ талантовъ, была дѣломъ подозрительнымъ. За писателями признавалось ихъ значеніе, когда они достигали виднаго положенія въ обществѣ путемъ службы.

И мы все работали какъ-то въ одиночку, тихо и скромно, съ оглядкой и опаской, и больше изъ нужды.

А кому не было нужды — тѣ дилетанствовали. Напримеръ, одинъ зналъ отлично технику музыки, былъ меценатъ и другъ всѣхъ иностранныхъ и своихъ знаменитостей, носилъ въ себѣ планы музыкальных серьезныхъ сочиненій, оперъ, можетъ быть ораторій, симфоній, говорилъ о нихъ съ жаромъ и знаніемъ дѣла. Все ждали отъ него чего нибудь серьезнаго, а онъ разрѣшился сочиненіемъ одного хорошенькаго романа (гр. Віельгорскій). Другой, обладая необыкновенною силою лирическаго напоя, написалъ всего десятка два прекрасныхъ

стихотворений (Тютчевъ). И это лучшіе люди извѣстнаго круга. Третій, съ многостороннимъ образованіемъ, большою начитанностію — написалъ нѣсколько легкихъ разсказовъ, гдѣ кроется сѣмена серьезнаго таланта (ки. Одоевскій). Можно много привести примѣровъ въ repandant къ этимъ.

Во всѣхъ родахъ искусства — таланты такихъ Райскихъ не были содержаніемъ и цѣлью жизни, а только средствомъ пріятно проводить время.

Райскій талантливъ — но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человѣка, для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима, и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ.

Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго, и порывается ратовать за все тѣ большія и малыя свободы, приближеніе которыхъ чувлось въ воздухѣ. Но только порывается.

Онъ бьется съ Софьей Бѣловодовой, стараясь сломать стѣну великовѣтской замкнутости, замуровавшейся въ фамилійныхъ преданіяхъ рода, въ завѣщанныхъ предками границахъ недоступной гордости, въ приличіяхъ тона, словомъ, въ аристократически-обломовской, переходившей по наслѣдству изъ рода въ родъ, неподвижности.

И не успѣваетъ конечно, потому что его вызвала на борьбу корысть, поклоненіе живой красотѣ; ему хочется побѣдить не эти застывшія преданія, феодальную гордость, и вызвать на живое, новое дѣло умъ и духъ

Софьи: ему хочется побѣдить только кузину-женщину — для себя. А дѣла, собственной силы, примѣра — онъ не вноситъ въ эту борьбу, и отъ того неуспѣваетъ.

Онъ, если не спитъ по обломовски, то едва лишь проснулся — и пока знаетъ что дѣлать, но не дѣлаетъ.

Онъ раздражался только въ порывахъ къ дѣлу, а болѣе всего поклонялся красотѣ — и съ этой стороны, пожалуй, нѣсколько и тронулъ Софью, но не въ свою пользу. Она морщится при его настояніяхъ о необходимости дѣла, труда, откупается отъ этого деньгами въ пользу бѣдныхъ, но задумывается надъ его горячими рѣчами о любви, и о свободѣ располагать чувствомъ и собой. Потребность этой свободы зашевелилась и въ ней безсознательно, потому что онъ дѣйствовалъ не на сознание и убѣжденіе ея, а только на нервы. Она вышла изъ своей роли величавой безупречности, выглянула, на сколько могла, за высокія стѣны великосвѣтскаго монастыря и сдѣлала и в *faux pas*... наединѣ поговорила съ итальянскимъ графомъ, разъ встрѣтилась съ нимъ на прогулкѣ и написала ему простую записку о присылкѣ потъ... *Faux pas!* закричала вся клика, привыкшая видѣть ее холодно-безупречною — и только.

Въ ней, при появленіи графа, начало было таять ледъ строгаго воспитанія и приличія, но при первой тревогѣ тетокъ, при шепотѣ свѣта, она сейчасъ-же одолевала игру нервъ.

Здѣсь я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Вѣлѣховой. Я не вналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю, кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполнѣ права. Это скучное

начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замисель — показать, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большаго свѣта. И ничего, кромѣ претензій, не вышло изъ этой затѣи.

Кромѣ того меня соблазняла мысль выставить рядъ женскихъ портретовъ. № 1-й вышелъ неудаченъ; 2-й, — умирающей Наташи, писанный какъ и Вѣловодова, въ 50-хъ годахъ — также блѣденъ. Это между прочимъ отъ того, что я торопился и смотрѣлъ дальше въ глубину романа, не останавливаясь подолгу на этихъ аксессуарныхъ явленіяхъ. Меня влекли уже близкія мнѣ лица и мѣста, гдѣ я родился и выросъ: и тѣ лица, бабушки и внучекъ, всего провинціальнаго люда и двора — и вся обстановка, по отзывамъ ихъ, вышли у меня живѣе.

Тамъ, въ Софійѣ и Наташѣ, было сочиненіе — тутъ я писалъ съ живыхъ лицъ. Къ тому же, въ этотъ промежутокъ времени, отъ 1840—1862 г. (когда я вторично посѣтилъ Волгу), и перо мое конечно значительно должно было созрѣть и укрѣпиться въ работѣ. Кажется въ 1859 или въ 1861 году я помѣтилъ два или три эпизода изъ жизни Райскаго въ «Отеч. Запискахъ» и одинъ эпизодъ «Бабушка» въ «Современникѣ».

Если бы русская жизнь не раздвинула, отъ мажорнаго тону до минорнаго, — мы все остановились бы на той ступени, на которой остановился Райскій. Подъ него подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себя идеалами, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣла

тельности: и туда, въ этотъ періодъ, ушло много растерявшихся вступъ талантовъ, немѣвшихъ опредѣленнаго пути, сознательныхъ цѣлей, и слѣдаемыхъ, и своею собственною, частною, и казенною обломовщиной. Мы всё уперлись бы въ стѣну — и продолжали бы писать безсодержательные звучные стихи, или изображать одни и тѣже явленія текущей, болѣе естественной, животной жизни.

Въ Райскомъ, вмѣстѣ съ вліяніемъ на него хода времени и новыхъ событій, я слѣдилъ еще съ большимъ интересомъ — любопытный психологическій, или физиологическій процессъ проявленія этой подвижной и впечатлительной натуры въ его личной жизни. Именно то, какъ сила фантазіи въ артистическихъ натурахъ, не направленная на насущное дѣло, на художественныя созданія, бросалась въ самую жизнь, и мелочныя явленія послѣдней парализовала въ свои цвѣта и краски, производя тѣ чудачества, странности, часто безобразія, которыми не рѣдко обильна бываетъ жизнь артистовъ вездѣ.

Праздная фантазія въ такихъ натурахъ чаще всего бросается въ сферу чувствъ, во всё виды и роды любви, производитъ экзальтацію, творя идолы, порождая изъ всего этого какую-то горячку или шутиху, что-то жалкое и смѣшное.

Эти упражненія въ чувствахъ, и особенно въ любви, занимали между прочимъ также и значительный пзлюбленный уголокъ старой обломовщины.

Къ счастью, русское общество охраняло отъ гибели застою спасительный переломъ. Изъ высшихъ сферъ правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились въ массу публики, сначала тихія, потомъ явствен-

ныя слова о «свободѣ», предвѣстники конца крѣпостному праву. Даль раздвигалась понемногу и открывала свѣтлую перспективу будущаго.

Въ литературѣ смѣлѣе стали раздаваться голоса представителей новыхъ идей.

Конечно, и моя мысль и фантазія прониклись новымъ вѣяніемъ. Я кончилъ «Обломова», и у меня стали шире раздвигаться рамы слѣдующей картины, т. е. «Пробужденія».

Двадцать лѣтъ тянулось писаніе этого романа, — иначе и быть не могло. Онъ писался, какъ тянулася періодъ самой жизни.

Въ «Обрывѣ», на моихъ нигмахъ, въ крошечномъ озерѣ, отразилось состояніе броженія, борьба стараго съ новымъ.

Я слѣдилъ за отраженіемъ этой борьбы на знакомомъ мнѣ уголкѣ, на знакомыхъ лицахъ.

Слѣдилъ, — говорю я, — надо бы сказать: смотрѣлъ и инеалъ, даже не думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ я и явленія, окрасившія въ краснѣйшій моментъ, и такими выдаю ихъ издавъ, т. е. вкладу на бумагу. Въ этомъ неслѣдуетъ процѣсъ.

Я самъ не могу смотрѣть на свои романы иначе, какъ въ ихъ послѣдовательной связи. Я жилъ въ трехъ эпохахъ и онѣ отнесулись во мнѣ и въ моихъ сочиненіяхъ, въ доступномъ мнѣ быту, насколько хватило у меня силъ и таланта.

Райскій, на родинѣ, объявлялъ ту же войну старому, отжившему. Онъ воюетъ съ Бабушкой, спорить, горячится, но любить ее, какъ мать; схватывается и съ Марфишкой и съ Вѣрою. Но воюетъ также изъ корыст-

ныхъ видовъ съ двумя послѣдними, какъ и съ Бѣловодовой. Воображеніе, раздраженное ихъ красотою, влечетъ его къ побѣдѣ надъ ними. Но одна обезоруживаетъ его своей дѣтскою чистотою, другая — сознательною силою.

Бабушкѣ онъ уступаетъ, потому что и самъ, хотя и воюетъ противъ изнѣженности, барства и стараго быта, но охотно спитъ на мягкой постели, хорошо ѣсть, и даже, какъ прямой сынъ Обломова, дастъ, порча, снимать съ себя Егору сапоги (Обломовъ требовалъ, чтобы Захаръ натягивалъ на него чулки).

Самъ онъ живетъ подъ игомъ еще неотмѣненного крѣпостнаго права и сложившихся при ней правотъ, и оттого воюетъ только на словахъ, а не на дѣлѣ: совѣтуетъ бабушкѣ отпустить мужиковъ на всѣ четыре стороны и предоставить имъ дѣлать, что они хотятъ, а самъ въ дѣло не вмѣшивается, хотя имѣніе — его.

Это колебаніе и нерѣшительность весьма естественны: колебалось все общество русское и всякій его уголокъ. Крупные и крутые повороты не могутъ совершаться какъ перемена платья, они сопершаются постепенно, пока всѣ атомы броженія не осплать — сильные слабымъ и не сольются въ одно. Таковы всѣ переходныя эпохи.

Мелкая пресса смѣялась когда-то надъ этою постепенностью и насмѣшливо прозвала постепенцевъ а и всѣхъ партизановъ этого мудраго закона, дающаго старому отживать свою пору, а новому упрочиваться, безъ насилія, боя и крови.

И безъ смѣха не могу вспомнить теперь комическаго недоумѣнія нѣкоторыхъ стариковъ при появленіи довольно рѣзкихъ симптомовъ, такъ называемаго, п и г л и з м а. У этихъ стариковъ своего ничего не было, т. е.

начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядывать замыселъ — показать, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего, кромѣ претензій, не вышло изъ этой затѣи.

Кромѣ того меня соблазняла мысль выставить рядъ женскихъ портретовъ. № 1-й вышелъ неудаченъ; 2-й, — умирающей Натанъ, писанный какъ и Вѣловодова, въ 50-хъ годахъ — также блѣденъ. Это между прочимъ отъ того, что я торопился и смотрѣлъ дальше въ глубину романа, не останавливаясь подолгу на этихъ аксессуарныхъ явленіяхъ. Меня влекли уже близкія мнѣ лица и мѣста, гдѣ я родился и выросъ: и тѣ лица, бабушки и внучекъ, всего провинціального люда и дворян — и вся обстановка, по отзывамъ всѣхъ, вышли у меня живѣе.

Тамъ, въ Софіѣ и Натанѣ, было сочиненіе — тутъ я писалъ съ живыхъ лицъ. Къ тому же, въ этотъ промежутокъ времени, отъ 1840—1862 г. (когда я вторично посѣтилъ Волгу), и перо мое конечно значительно должно было созрѣть и укрѣпиться въ работѣ. Кажется въ 1859 или въ 1861 году я помѣтилъ два или три эпизода изъ жизни Райскаго въ «Отеч. Запискахъ» и одинъ эпизодъ «Бабушка» въ «Современникѣ».

Если бы русская жизнь не раздвинула, отъ мажорнаго мажорной руки, своихъ рамокъ, — мы всѣ остановились бы на той ступени, на которой остановился Райскій. Подъ него подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себя идеалами, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣла

пословицы, готовые сентенціи старой мудрости, но въ новыхъ какихъ нибудь, неожиданныхъ для нея случаяхъ, у ней выступали собственныя силы и она дѣйствовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость, у ней пробивалась струя здраваго смысла».

Только она «пугалась немного (новаго) и безпокойно искала подтверднить его бывшими примѣрами» и т. д.

Весь смыслъ ея характера таковъ, что она старуха твердая, властная, упорная, уступать не любитъ, хотя про себя и сознаетъ, что внукъ Райскій часто правъ. Но она велитъ ему и тогда молчать, «молодъ, чтобы перечесть бабушкѣ», — говоритъ она. Она любитъ, чтобы ей все повиновались — и Марфинька ей больше всехъ, потому что она изъ послушанія бабушки не выйдетъ. Этотъ мотивъ о послушаніи проходитъ черезъ весь романъ въ ея характерѣ. На Вѣру она косятся, что та удаляется, едва слушаетъ ея совѣты, и она, поневолѣ, скрѣпя сердце, даетъ ей нѣкоторую свободу.

И всехъ и все въ домѣ она блюдетъ зоркимъ окомъ, и видитъ изъ одного окна — свою деревню, поля, изъ другаго — садъ, огородъ и людскія. Ничто не шевельнется въ деревнѣ и домѣ безъ ея спроса, воли и вѣдома. Она хозяйничаетъ и въ полѣ, и въ кладовыхъ; съ мужиками, и съ цѣлымъ городомъ держитъ себя гордо и повелительно.

За эти черты и другія, все въ томъ же тонѣ и духѣ, находили портреты старухи типичнымъ.

Но почему же онъ типиченъ и кого напоминаетъ? Я

виду въ немъ что-то близкое и знакомое не мнѣ одному, а всемъ намъ...

И писалъ съ русской старой хорошей женщиной, или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени — коллективно, не думая ни о какой паралели, должно быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее, — у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они:

«За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Віра, его Марфинька и бабушка, а за ними стояла и силяще ихъ влекла къ себѣ еще другая исполненная фигура, другая великая бабушка — Россія!»

Вотъ что отразилось, или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то, по крайней мѣрѣ, вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ канѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!

Не жили ли старая наши поколѣнія и старшіе, господствовавшіе и управлявшіе нашими судьбами, представители этихъ поколѣній, или, лучше сказать, не слыли ли они подъ навѣсомъ старой мудрости, пробавляясь преданіями, хотя и соглашались (какъ бабушка въ спорахъ съ внукомъ) про себя, что надо жить иначе, но боялись, безноконлись, какъ она, и пятались въ страхъ отъ всего новаго, зажимая глаза и, когда нельзя было уйти назадъ, уступали неохотно, и тогда, сквозь обветшавшую, негодную мудрость, пробивались свѣжія русскія силы здраваго смысла?..

Развѣ мы не пережили этихъ колебаній, страховъ,

безпокойствъ пробуждающагося организма, пока всемогущее «быть посему» не указало, куда идти всѣмъ дружно, на свѣтъ, къ нормамъ и разумнымъ благамъ?

А расплата за этотъ безусловный страхъ всего новаго, за высокомеріе невѣдѣнія и за слѣпую вѣру въ свою силу—за всѣ старыя грѣхи—развѣ не отразилось это въ самоувѣренности Бабушки, требовавшей повиновенія только своей волѣ, и закрывавшей глаза отъ новаго, вмѣсто того, чтобы подвести Вѣру къ этому новому исподоволь и сознательно, чтобы она не обольстилась фальшивымъ блескомъ невѣдомой, будто «новой правды» и «новаго дѣла и счастья» и знала, какъ встрѣтить Волохова?

Развѣ не плакало старое поколѣніе о своихъ «грѣхахъ», какъ Бабушка плачетъ надъ своимъ маленькимъ Севастополемъ, разрушенной бесѣдой на дѣлѣ Обрыва?

Оставимъ пока эту паралель, т. е. Бабушки и стараго русскаго общества: я возвращусь къ ней ниже.

Обращусь отъ синтеза къ анализу.

Что даѣе говорили о другихъ моихъ лицахъ, между прочимъ о Вѣрѣ и Волоховѣ, особенно о послѣднемъ?

Голоса раздѣлились на два хора. Хоръ старшихъ поколѣній пѣлъ: «какъ можно вывести въ романѣ, претендующемъ на художественность, такую грубую, неряшливую фигуру, и сводить ее съ изящной, тонкой фигурой Вѣры?»

Другой хоръ—молодые голоса раздражительно твердили: «это рѣзкія крайности, карикатурный, преувеличенный образъ, униженіе, направленное на молодое поколѣніе» и т. д. Таковъ былъ смыслъ упрековъ съ двухъ сторонъ.

Безпристрастные люди говорили мнѣ съ участіемъ, по-первымъ, о типичной правдѣ этой фигуры, а по-вторымъ, о нѣкоторомъ вліяніи будто-бы этого типа кое-гдѣ въ обществѣ. Этого слишкомъ много и я тотчасъ уклонился отъ такой заслуги, взявъ себѣ только правдивость изображенія.

Теперь мы нѣсколько отодвинулись отъ этого явленія и можно вѣрять быть хладнокровнѣе и безпристрастнѣе. Теперь и я могу объяснить, что я самъ видѣлъ и вижу въ этой фигурѣ.

Тогда, повторяю, я хотѣлъ было объяснить этотъ типъ въ предисловіи къ отдельному изданію Обрыва, но въ виду общаго со всѣхъ сторонъ къ нему неблаговоленія, я отложилъ эту мысль—и все предисловіе, до болѣе удобнаго времени.

Еще я долженъ сказать, что въ первоначальномъ планѣ Обрыва, набросанномъ въ 1849 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще несуществовавшего, у меня былъ предположенъ сосланный, по неблагонадежности, подъ присмотръ полиціи, выключенный изъ службы, или изъ школы, либераль, за грубость, за неповиновеніе начальству, за то наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или проворется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Но какъ романъ развивался вмѣстѣ съ временемъ и новыми явленіями, то и лица, конечно, принимали въ себя черты и духъ времени и событій. Отъ этого и предположенный зародышъ неблагонадежнаго превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862

году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо.

Меня крайне удивляло, какъ молодое поколѣніе могло принять Волохова на свой счетъ, кромѣ развѣ самихъ Волоховыхъ! Оно, можетъ быть, вспоминая свои раннія утопіи и увлеченія, думало, вѣроятно, видѣть нѣкоторое отраженіе въ развитіи мыслей Волохова. Напрасно!

Развѣ только потому оно могло видѣть это, что и Волоховъ говоритъ именемъ правды, разума и свободы: но въ этомъ всѣ сходимъ съ нимъ, и старые и новые люди, и консерваторы, и либералы! И только въ этомъ. Кто-же отказывался отъ этого въ своихъ убѣжденіяхъ? Но дѣло въ томъ, что Волоховъ заблуждается въ значеніи этихъ понятій и съ гордымъ самоотверженіемъ вводитъ въ заблужденіе другихъ, не имѣя подъ собою никакой почвы.

У всѣхъ, самыхъ противоположныхъ лагерей—всегда есть общія точки соприкосновенія, всѣ ратуютъ во имя разума, свободы и правды, всѣ приводятъ это на словахъ, но всѣ разумѣютъ слова по своему, и отъ того употребляютъ различные, часто невѣрные пути.

Волоховъ—будто бы новое поколѣніе! То поколѣніе которое бросилось на встрѣчу реформъ—и туда уложило всѣ силы!

Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы!

Поколѣніе, которое—прежнюю, автоматическую воен-

ную массу — энергически помогал походу ее, съ чудесною быстротою, преобразить въ современную, осмысленную и грозную силу! Покоління, которое переносилает школы, жадно учится, познаетъ, изобрѣтаетъ, творить во всѣхъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездѣ пробывая новые пути, вызывая новыя силы! Покоління молодыхъ умовъ и дарованій въ освобожденной прессѣ, сослужившее огромную службу Россіи, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и цѣли великаго преобразователя!

И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!

А самая масса общества сверху до низу, вся уходящая въ муравьиную работу, въ бездонные рудники труда, вызваннаго новою жизнью? Ужели и это Волоховы?

Нѣтъ, это не Волоховы, а представители новой «правды», воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими великими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество!

Но въ жизни, рядомъ съ правдою, къ несчастію, гнѣздится и ложь: и представителемъ этой «новой лжи» являются Волоховы! Вѣдь у меня въ книгѣ, есть фигура, блѣдная, неясная — намека такъ сказать, на настоящее новое поколѣніе, на лучшее его большинство: это Тушинъ или Тушины, начиная съ вершинъ русской дѣлщины и до низу!

Общество уже выкинуло Волоховыхъ изъ своей среды, какъ болѣзненное явленіе.

Пока явленіе не опредѣлилось и не закончилось — колебалось и общество, слѣдило, изучало, наконецъ распознало его, и оно уже исчезаетъ съ лица русской жизни.

Перехожу къ другому хору — старшихъ поколѣній.

«Какъ можно, говорили мнѣ, выводить такую грубую, неприглядную фигуру—и ставить съ нимъ рядомъ изящную, чистую Вѣру?»

Почему именно вышла рѣзкая, грубая фигура?

Ужели я, нарисовавъ, какъ говорятъ, цѣлую галерею портретовъ, не умѣлъ бы нарисовать портретъ почище, поприличнѣе?

Но вышелъ ли бы онъ тогда вѣренъ и типиченъ? — спрошу я. Вобразъ ли бы онъ въ себя и выразилъ ли бы что нибудь общее всему этому явленію, которое разыгралось у насъ? Волоховъ—не социалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикалъ и кандидатъ въ демагоги: онъ, съ почвою праздної теоріи безусловнаго отрицанія, готовъ перейти къ дѣйствию—и перешелъ бы, еслибъ у насъ могла демагогія выразиться ярче и перейти въ дѣйствіе, т. е. если бы у насъ была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернаціональная подземная работа и т. п. ¹⁾ Онъ и пошелъ бы на это поле работать—искренно, потому что я взялъ не авантюриста, бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а—съ его точки зрѣнія—честнаго т. е. искренняго человека, не глупаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ условіе успѣха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе, и Вѣру, и другихъ. Плутовъ узнали бы разомъ и отвернулись бы отъ него.

Прибавъ я къ этому авторское негодованіе, тогда

¹⁾ Къ несчастью, это оказалось «возможнымъ» въ известной степени и у насъ, какъ это подтвердилось съ тѣхъ поръ, т. е. съ 1873 г., когда были писаны эти строки.

былъ бы тинъ не Волохова, и изображеніе моего личнаго чувства, и все пропало бы. *Sine ira*—законъ объективнаго творчества.

Точно также, смягчи я этотъ портретъ въ угоду молодымъ голосамъ, не вышло бы героя того явленія, которое разыгралось у насъ на глазахъ!

Онъ или вѣренъ или нѣтъ—дѣйствительности.

Если вѣренъ—то я правъ, и въ этомъ вся заслуга писателя, а тамъ уже дѣло читателей выводить изъ образа свои заключенія.

Теперь слѣдуетъ главный *corpus delicti*: какъ могла влюбиться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная? Какъ изъ порядочнаго общества могла она уйти въ обривъ, сблизиться съ такою личностью?

Странный упрекъ!

А вѣдь стоило только оглянуться вокругъ и слегка пробѣжать въ памяти, что всѣ видѣли и пережили въ десятилѣтіе съ 1860 по 1870 годъ, чтобы рѣшить, вѣрно или не вѣрно мое изображеніе.

Мы дѣлали этотъ упрекъ именно въ то самое время, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей—жертву за жертвой, и наводило почти панику на общество!

Упрекаютъ за то, что я записалъ явленіе, явно совершившееся, какъ будто небывальщину!

Развѣ женщины пренебрегали сблизженіемъ съ этими, оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями «новой силы», «новаго дѣла», идеала какого-то «громаднаго будущаго»?

Развѣ многія изящныя красавицы не поили съ ними

на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ одинъ родителей, другія мужей и—еще хуже—дѣтей?

Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры!

Какія это женщины! скажутъ мнѣ.—Всякія! отвѣчу я.

Не одинъ надшія или готовыя къ наденію бросились въ омутъ—нѣтъ.

Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій—изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга,—на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ примаго, скромнаго дѣла и трудныхъ семейныхъ обязанностей?

Сюда не подходятъ, конечно, тѣ серьезныя женщины новаго поколѣнія, которыя, въ самомъ дѣлѣ, хотятъ работать и которыя, путемъ строгаго, систематическаго образованія, ищутъ усвоить себѣ ту или другую отрасль знанія, профессію, и создаютъ для себя самостоятельную дѣятельность и жизнь. Но тотъ путь долгъ и труденъ, и не всѣ бросаются на него, и особенно не всѣ выдерживаютъ его до конца. Тѣ женщины не бѣгаютъ тайкомъ отъ своихъ семей: онѣ открыто идутъ въ открытыя имъ двери учебныхъ заведеній, обществъ, курсовъ, при общемъ участіи и уваженіи. Въ рукахъ этихъ женщинъ—прямое рѣшеніе, такъ называемаго, женскаго вопроса!

Всѣ, конечно, знаютъ и помнятъ примѣры этихъ эмиграцій — и я зналъ нѣкоторыхъ женщинъ, съ которыхъ до этого «наденія» не задумался бы писать свою Вѣру!

Такъ гдѣ же, сироту и я въ свою очередь, выдумка на молодыя поколѣнія обоего пола?

И взялъ лучшую изъ женщинъ, которая самостоятельно и гордо, не прибѣгнувъ къ «старой мудрости» Бабушки и не подготовленная этою же Бабушкою, но невѣднѣю и также по гордости, къ познанію настоящей «новой правды и новой жизни» — пошла сама на свѣтъ и едва не сгорѣла.

«Зачѣмъ вводить это въ романъ?» говорили между прочимъ. «Зачѣмъ писать романъ? отвѣчу я, если онъ не долженъ отражать жизни!»

И писать не одного какого-нибудь Волохона и не одну Вѣру.

«Вѣра пала! какъ можно, какая жалость!» говорили мнѣ въ глаза.

И жаль всѣмъ было моей писанной Вѣры — портрета, но ужели менѣе жаль всѣхъ падшихъ живыхъ Вѣръ?!

Въ IV главѣ пятой части (2-го тома, со стр. 482—483 - до VII-ой главы) находится ключъ къ значенію Вѣры и къ тому, что подготовило ея паденіе.

Пала не Вѣра, не личность, пала русская дѣвушка, русская женщина, — жертвой въ борьбѣ старой жизни съ новою: она не хотѣла жить слѣпо, по указкѣ старшихъ. Она сама знала, что отжило въ старой, и давно тосковала, искала свѣжей, осмысленной жизни, хотѣла сознательно найти и принять новую правду, удержавъ и все прочное, коренное, лучшее въ старой жизни. Она хотѣла не разрушенія, а обновленія. Но она «не знала», гдѣ и какъ искать. Бабушка берегла ее только отъ болѣзней, отъ явныхъ и извѣстныхъ ей золъ и бѣдъ, и не приготовила ни къ какимъ невѣдомымъ ей самой бѣ-

Въ новомъ другѣ Вѣра думала найти опору, свѣтъ, правду, потому что почувала въ немъ какую-то силу, смѣлость, огонь,—и нашла ложь, которой, по невѣдѣнію и замкнутости, не распознала сначала, а распознавъ, гордо возмечтала, силою любви измѣнить эту новую ложь на свою старую правду и обратить отщепенца въ свою вѣру, любовь и въ свои надежды.

И горько заплатила она за самовольное вкушеніе отъ этого древа познанія зла!

Она воротилась, клоня голову отъ боли и стыда. и пошла къ новой жизни уже другимъ, сознательнымъ путемъ.

До этого я не дописался, оставляя это на долю другимъ, молодымъ и свѣжимъ силамъ.

Повторю, я не выдумывалъ ничего: сама жизнь писалась у меня, какъ я переживалъ ее и видѣлъ, какъ переживаютъ другіе, такъ она и ложилась подъ перо. Не я, а происшедшія у всѣхъ на глазахъ явленія обобщаютъ мои образы.

Обѣ бабушки—и Татьяна Марковна, и старое русское общество—облакали свой «старый грѣхъ», разрушившій счастье покоя, тишины и дремоты,—грѣхъ недостатка прозорливости, живой заботливости о новыхъ живыхъ нуждахъ для свѣжихъ и молодыхъ силъ, грѣхъ своего упрямого и добровольнаго невѣдѣнія, беззаботности, неосновательныхъ страховъ! Они поняли, наконецъ, что жизнь не стоитъ, а вѣчно движется!

Марфинька и Викентьевъ, эта чета не даетъ Бабушкѣ ни горя, ни тревоги. Последняя знаетъ, что ни тотъ, ни другой, изъ послушанія ей не

выйдутъ и будутъ жить, какъ она укажетъ. Бабушка цѣнитъ это выше всего.

«Оставь Марфиньку!»—строго говоритъ она (въ X главѣ 3-й части, стр 118) Райскому, когда онъ вздумалъ, новыми идеалами жизни, смущать ясный міръ ее ума и чувства.—«Она не будетъ счастлива павязываемымъ тобою счастьемъ и, стало быть, будетъ несчастною ты, а не я».

И русскія Марфиньки и Викентьевы никогда не слушаются бабушки!

Они всегда бодро, рѣзко и послушно, подъ ее глазами, пойдутъ, по пути, покоряясь переменамъ, одобреннымъ бабушкою, не пужаясь ни въ какихъ идеалахъ «новаго счастья», не думая о будущемъ, не скупая жизнью въ своей средѣ!

Эта часть поколѣній, толпа, большинство, будетъ жить, плодиться и множиться, и населять Русь, поспѣшно работая, веселясь, подчасъ горюясь и никогда не терзаясь невѣдомыми ей мучительными вопросами!

И Бабушка награждаетъ послушныхъ и добрыхъ дѣтей материнскою заботою о нихъ, наблюдая, чтобы имъ было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слегка отбывать свой дневной привычный трудъ, получать мѣста, дѣлать карьеру и незаметно печезать, смѣняясь новыми Марфиньками и Викентьевыми!

Бабушка безъ опасенія даетъ имъ и свободу, отпустить за Волгу (или за границу), зная, что они придутъ опять подъ ее крыло такими же, и не уйдутъ никогда.

Она, давая свободу, похвасталась, что она будто

голько, какъ полиціѣмѣстеръ, смотреть, чтобы снаружи все шло своимъ порядкомъ, а въ дома не входилъ, пока не позвуютъ! (стр. 119, ч. 3 я, гл. X).

Даже Райскій рукоплещетъ ей за эту свободу!

Цепранда! преувеличила, похвасталась она: какъ она ни сопротивлялась, но время уже повѣло и на нее и она наружно отступилась отъ правъ на слѣпое послушаніе и дала свободу, но выѣтъ съ этимъ и усилила невидимый надзоръ, замѣчая каждый взглядъ, слово, шагъ, прибирая свои ключи ко всему. Какъ она тоскуетъ и мечется, какъ допрашиваетъ Райскаго о «новой бѣдѣ», потому что не знала о ней! Еслибъ въ Вѣрѣ повторился просто только старій женскій «грѣхъ» бабушки, и особенно если бы героемъ былъ кто нибудь ей знакомый — старуха догадалась бы. Она вѣрила Вѣрѣ, потому что знала ее, и не боялась за нее: но она не знала, что такое Волоховъ. Она готовила ее противъ извѣстныхъ соблазновъ, но не могла уберечь противъ невѣдомаго, и научить остеречься! «Мой грѣхъ, мой грѣхъ!» — стоитъ она.

Вотъ гдѣ смыслъ ошибки обѣихъ женщинъ: въ гордости и невѣдѣніи! Бабушка знала только старую правду и старую ложь, но новой правды боялась и, боясь не узнала и новой лжи, и не приготовила къ тому и другому и Вѣру. Она хотѣла отдѣлаться невѣдѣніемъ, умнѣленною слѣпотой, желала бы, чтобы около нея были все Марфиньки и Викентьевы: но такъ на свѣтѣ не бываетъ. Рядомъ съ Марфиньками родятся Вѣры; об руку съ Райскими, Викентьевыми, являются и Волоховы. А она, не только Волохова, она не хотѣла слушать и

любившаго ее внука—Райскаго, когда онъ заговоривалъ о новомъ.

Будущій художникъ когда нибудь скажетъ, какъ встали, послѣ горькихъ опытовъ, и до чего возросли русскія Вѣры на пути разумной, сознательной жизни!

Райскій, въ посвященіи къ своему роману (въ концѣ втораго тома, пятой части, стр. 650 и 651), дѣлаетъ легкій очеркъ отдаленной будущности русскихъ женщинъ. Это его идеаль женщины.

«Восхищаясь вашею красотою, вашею исполннскою силою—женскою любовью,—нишетъ онъ,—я слабою рукою писалъ женщину; я надѣлся, что вы увидите въ ней отраженіе не одной красоты формъ, но и всей прелести вашихъ лучшихъ силъ.

«Мы не равны: вы выше насъ, вы—сила;—мы—ваше орудіе, мы сдѣлаемъ всю черновую работу; а вы, рождая насъ, берегите насъ, какъ провидѣніе, воспитывайте, учите труду, человечности, добру и той любви, которую Творецъ вложилъ въ ваши сердца,—и мы поидемъ за вами туда, гдѣ все совершенно, гдѣ вѣчная красота!»

«То есть: создайте насъ вновь для жизни духа, какъ вы создали насъ по плоти, вотъ гдѣ ваша задача!»

«Мы—творцы въ черной работѣ: въ наукѣ, въ искусствѣ, въ воздѣланіи виѣшней природы; мы—виѣшніе дѣатели. Вы—создательницы и воспитательницы людей, вы—прямое, лучшее орудіе Бога» и т. д.

Райскій вѣрить этому великому будущему русской женщины, видя какая сила, въ роковой моментъ, встала изъ души сокрушенной старухи.

Если она была сильна своею гордою властью. то.

подъ грозою, она нашла еще болѣе силы «нести удары» и страдать съ величіемъ, «не падая во прахъ!»

За эти страницы (502, 503, II тома), гдѣ Бабушка, со стопомъ, ходитъ по крутому поволожью, по обрыву, по полямъ, въ какомъ то забытѣ, въ терзаніяхъ, за свой «грѣхъ», погубившій по оя мѣнѣю, Вѣру, меня упрекали, какъ за какія-то, будто бы чуждыя русской женщины черты.

Черты величія души, чуждыя русской женщины?!

У меня приведенъ цѣлый рядъ «женскихъ тѣней» въ параллель этой старухѣ, великихъ страдалицъ, жившихъ въ мирной, счастливой средѣ, прежде ничѣмъ особеннымъ незамѣтныхъ, какъ и бабушка, и вдругъ проявившихъ великія силы—въ рѣшительныя и грозныя моменты жизни. Новгородская Марфа, ссыльные русскія царицы, жены декабристовъ, и другія жертвы рока, которыми не бѣдна и старая и новая лѣтѣнь русской жизни.

«Не похоже на деревенскую старуху!» говорили мнѣ, т. е. не реально, пятакнуто, ходульно!

Можетъ быть, отчасти я это и самъ чувствовалъ, когда писалъ, и отъ того вложилъ этотъ очеркъ въ пеструю фантазію Райскаго. Впрочемъ, я не такой поклонникъ реализма, чтобы не допускать отступленій отъ него. Въ угоду реализма пришлось бы слишкомъ ограничивать, и даже совсѣмъ устранять фантазію, впадать, значить, въ сухость, иногда въ безцвѣтность, вмѣсто живыхъ образовъ писать силуэты, иногда вовсе отказываться отъ поэзіи, и все во имя мнимой правды! Но вѣдь фантазія, а съ нею и поэзія, даны природой чело-

вѣку и входить въ его натуру. слѣдовательно, и въ жизни: будетъ-ли правдиво и реально миновать ихъ?

Бабушка перемогла себя, видя страданія слабой Вѣры, спасла ее самоотверженнымъ признаніемъ стараго «грѣха», но, къ горю своему, увидѣла, что и это не совсѣмъ извлекло ее изъ обреченна.

Она позвала на помощь Тушина, или лучше сказать, онъ явился самъ, безъ зова, окончательно спасти Вѣру.

Фигура Тушина обрисована у меня въ двухъ-трехъ мѣстахъ (II тома, V глава, стр. 466, 479, даже въ кн. XVI и XVIII того же тома).

Это безсознательный новый человѣкъ, какъ его выкроила сама жизнь. Онъ простъ, потому что созданъ такимъ, онъ работаетъ, потому что иначе жизни не понимаетъ, какъ не понимаетъ и того, какъ можно, узнавать Вѣру, не любить ее. Онъ мудро, т. е. просто, здравымъ смысломъ, рѣшаетъ вопросы и своей и чужой жизни, между прочимъ Бабушки и Вѣры, когда онъ обратился къ нему, и идетъ по своему пути твердымъ, сознательнымъ шагомъ.

Онъ весь сложился изъ природныхъ своихъ здоровыхъ элементовъ, и изъ обстоятельствъ своей жизни и своего дѣла, т. е. долга и труда. Онъ простой, честный, нормальный человѣкъ, понимаетъ и любитъ свое дѣло, въ которомъ поставила его жизнь. Природа дала ему талантъ быть человѣкомъ — и ему остается не портить этого, оставаться на своемъ мѣстѣ. «Почувствовать и удержать въ себѣ красоту природной простоты» — по словамъ Райскаго, въ этомъ и вся его заслуга. Вѣрить въ эту простоту, быть искреннимъ, понимать прелесть правды и жить ею, т. е. имѣть сердце и доро-

жить имъ «если не выше, то наравнѣ съ умомъ». Тутъ весь очеркъ его.

Тушинъ давно уже хозяйничаетъ у себя въ пмѣніи на раціональныхъ началахъ хозяйства и строгой справедливости, и онъ любитъ свое дѣло, и всѣ новыя идеи и преобразованія засталъ его готовымъ.

На этомъ сильномъ, простомъ человѣкѣ, основались надежды Бабушки окончательно извлечь Вѣру изъ бездныя горя—и подать ей руку на остальной путь!

И онъ сталъ, «какъ каменная стѣпа», и оградилъ ее отъ всякихъ обрывовъ.

«Дайте мнѣ Вѣру, говоритъ онъ въ слезахъ отчаянія (II томъ, стр. 626 и 627):—я перенесу ее черезъ обрывъ. Она укроется подъ моею защитой отъ всякихъ грозъ и забудетъ обрывы. Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, моря переплываютъ и прорыпаютъ горы, и все идутъ смѣлые люди впередъ!»

Да, впередъ, на настоящее новое дѣло: это не обломовскій сонъ и не болоховское безпочвенное блужданіе!

И Райскій, взглянувъ на него, рѣшилъ, что Тушинъ—наша настоящая партія дѣйствія, наше прочное будущее: когда настанетъ настоящее дѣло, явится, вмѣсто утопистовъ, работники—Тушинъ «на всей лѣстинѣ русскаго общества». (II т. гл. XVIII).

Нарисовавъ фигуру Тушина, насколько я могъ наблюдать новыхъ серьезныхъ людей, я сознаюсь, что я не докончилъ, какъ художникъ, этотъ образъ—и остальное (именно въ XVIII главѣ II тома) договорилъ о немъ въ намекахъ, какъ о представителѣ настоящей новой силы и новаго дѣла—уже обновленной тогда (въ 1867 и 1868 г., когда дописывались послѣднія главы) Россіи.

Рисовать, сказать я выше, трудно и, по моему, просто нельзя, съ жизни, еще не сложившейся, гдѣ формы ея не устоялись, лица не наклонились въ тины. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодая сила юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ новыхъ людей, что я и сдѣлалъ въ Тушинѣ. Но писать самый процессъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются почти каждый день—и будутъ неуловимы для пера.

Меня упрекали, зачѣмъ я написалъ отрицательный образъ Волохова—и не далъ противоположнаго образа въ новомъ поколѣніи. На это можно сказать много. Скажу прежде всего, что послѣ Гоголя, мы въ искусствѣ не сошли съ пути отрицанія, между прочимъ и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Самъ Гоголь пробовалъ, во 2-й части «Мертвыхъ душъ», написать положительный образъ и потерялъ поудачу. А другіе и подавно: въ последнее время ни у кого не вышло въ этомъ родѣ ничего художественнаго. Притомъ это старій упрекъ, который дѣлали тому же Гоголю: зачѣмъ въ «Ревизорѣ» или «Мертвыхъ душахъ» не вывелъ онъ ни одного «хорошаго человека»? На такіе вопросы нечего сказать!

Если я отрицательно отнесся къ Райскому, къ Иабушки, даже къ Марфинычъ и Вѣрѣ — то почему же я терялъ право на отрицательный пріемъ въ отношеніи Волохова? Но я и въ немъ нашелъ положительную черту—искренность, за что мнѣ и досталось отъ старыхъ поколѣній!

Этого Тушина, говорю я, позвала Бабушка на помощь—и онъ сослужить ей службу, какъ и всѣ честные, здоровые члены новыхъ поколѣній, всѣ Тушины, сослужать службу Россіи, разработавъ, довершивъ и въпро-чизъ ея преобразование и обновленіе.

Нужно ли въ заключеніе объяснять значеніе второстепенныхъ лицъ романа: Козлова съ женой, хилохондохъ выгнувшаго чиновника изъ семинаристовъ Опенкина, типъ стараго русскаго маркиза, остатокъ прошлаго вѣка, Тита Никомича, друга Бабушки, наконецъ, пеструю толпу русской крѣпостной дворян?

Въ учителѣ Козловѣ мелькнуло мнѣ лицо русскаго ученаго — труженника, съ намекомъ на участіе русскаго науки въ обшествомъ обществѣ. Не нѣтъ подъ ногами и вокругъ никакой почвы, около—никакой сферы, никакого кружка для плодотворнаго развитія науки—онъ, забытый, загнанный въ глушь, безъ книгъ, безъ денегъ, бьется и влечетъ жалкое, скудное существованіе—среди равнодушныхъ къ наукѣ людей. Въ немъ теплится искра любви къ знанію, но—какъ въ степи—нѣтъ ей нищи, ни поѣдки, ни поляны, откуда бросить сѣмя—и они гложутъ въ немъ сажи; а любящее сердце избрано кумиромъ ничтожество, идолъ, созданнаго безхарактерностью среды, безъ образа. Это его жена. Весь умъ его просился въ науку, все любящее сердце отдавалось этой жалкой подружкѣ. Ни тахъ, ни сажъ—онъ не нашелъ отвѣта, сгорѣлъ и угасъ одиноко, въ чистомъ пламени своей любви!

Въ лицѣ стараго чиновника изъ семинаристовъ, Опенкина, подчеркнул мнѣ подъ руку одинъ изъ безчисленныхъ образчиковъ ничества, типъ русскаго человека.

утопившаго въ винѣ все свое, и прошлое, и будущее, всю жизнь, большею частію тирана своей семьи и брени для цѣлаго круга, гдѣ онъ живетъ. А гдѣ онъ не живетъ! Этотъ штрихъ русской жизни почти неизбеженъ во всякой картинѣ правды! Легкою тѣнью прошлаго онъ и у меня въ романѣ.

Въ дворикъ меня самого особенно занимала крѣпостная Мессалина Марина и угрюмый, сосредоточенный ея мужъ. Это, какъ я припоминаю самъ и другіе, бывшіе въ 1819 году на Волгѣ и близко знакомые съ домомъ моихъ родныхъ—живые, дѣйствительные портреты тогдашней дворян. какъ и лакей Егоръ. Еще болѣе въ самой Бабушкѣ, и во внучкахъ ея, какъ я увидѣлъ послѣ, вералось нѣкоторые свѣтлыя, лучшія черты близкихъ мнѣ лицъ, конечно, не дѣлкомъ, а инстинктомъ, при совершенномъ различіи въ событіяхъ и смыслѣ романа.

При обзорѣ отношеній мужскихъ характеровъ къ женскимъ—во всемъ романѣ, я не могу не видѣть, въ каждомъ изъ нихъ, особеннаго вида и въ родѣ, словомъ, характеристичныя привязанностей. Напримеръ, преобладающее фантазіи, артистическаго и нервнаго влеченія въ склонностяхъ Ранскаго ко всѣмъ его подламы. Въ противоположность ему—въ Тушанѣ—отношеніе къ Вѣрѣ носитъ чистый и глубокій, осмысленный и сознательный характеръ человѣческой привязанности, не подавляемой ни чувственностью, ни мелкимъ самолюбіемъ; эта привязанность возникаетъ въ немъ изъ самыхъ капитальныхъ свойствъ его личности и личности Вѣры. Она сильна, несокрушима: онъ мужественно выноситъ «ошибку», «несчастье» Вѣры, какъ онъ называетъ ея паденіе, не-

редъ которымъ не устояла бы другая, менѣе глубокая и сознательная страсть.

Затѣмъ глубокая же, сосредоточенная, но чисто животная до жестокости, также неразрушимая страсть, въ грубой, невоздѣланной натурѣ серьезнаго и тупаго Савелья, къ его желтоглазой, невѣрной женѣ.

Далѣе, изысканная, веселая и ясная, какъ весна, любовь Викентьева и Марфины, внушенная и лелѣемая самою природою, какъ любовь птицъ, осмысленная ихъ свѣтлымъ, естественнымъ взглядомъ на жизнь и другъ на друга.

Наконецъ, кроткая, безусловная нѣжность болѣзненной, хрупкой Наташи, которую надломилъ и свелъ въ могилу не одна обманутая любовь, но вообще суровое дыханіе жизни. Это райская птица, которая и могла только жить въ своемъ раю, подъ тропическимъ небомъ, подъ солнцемъ, безъ зима, безъ вѣтровъ, безъ хищныхъ кортей.

Все то, что пишу теперь—повторяю я—не представлялось мнѣ такъ ясно и отчетливо, какъ я увидѣлъ послѣ, закончивъ послѣдній свой романъ. Бѣлискій справедливо придавалъ огромное значеніе художественному инстинкту. Образы, а вмѣстѣ съ ними и намеки на ихъ значеніе, въ зародышѣ, присутствовали во мнѣ и инстинктивно руководили моимъ перомъ.

Такимъ образомъ, какъ ни скромна степень художественности моего дарованія, но и во мнѣ сказался необъяснимый процессъ творчества, т. е. непонимое для самого художника, инстинктивное воплощеніе перомъ кистью тѣхъ или другихъ эпохъ жизни, которыхъ судьба поставила его участникомъ или свидѣтелемъ.

Всего страннѣе, необъяснимѣе кажется въ этомъ процессѣ то, что иногда мелкія, аксессуарныя явленія и детали, представляющіяся въ дальней перспективѣ общаго плана отрывочно и отдѣльно, въ лицахъ, сценахъ, повидимому не вяжущихся другъ съ другомъ, потому какъ будто сами собою группируются около главнаго событія и сливаются въ общемъ строй жизни! Точно какъ будто дѣйствуютъ тутъ, еще неуясненные наблюденьемъ, тонкія, невидимыя нити или, пожалуй, магнитическіе токи, образующіе морально-химическое соединеніе невещественныхъ силъ (какое происходитъ съ вѣщественными силами)?

Къ этому загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явленію въ области творчества, можно отнести и духовное, наследственное сродство, какое замѣчается между творческими типами художниковъ, начиная съ Гомеровскихъ, Езоповскихъ, потому Сервантессоваго героя, Шекспировскихъ, Мольеровскихъ, Гетеовскихъ и проч., и проч. до типовъ нашего Пушкина, Грибоедова и Гоголя включительно.

Этотъ міръ творческихъ типовъ имѣетъ какъ будто свою особую жизнь, свою исторію, свою географію и этнографію, и когда нибудь, вѣроятно, сдѣлается предметомъ любопытныхъ историко-философскихъ критическихъ изслѣдованій. Донъ-Кихоть, Лиръ, Гамлетъ, леди Макбетъ, Фальстафъ, Донъ-Жуанъ, Тартюфъ и другіе, уже породили, въ созданіяхъ позднѣйшихъ талантовъ, цѣлыя родственныя поколѣнія подобій, раздробившихся на множество брызгъ или капель. И въ новое время обнаружится, напримѣръ, что множество современныхъ типовъ въ родѣ Чичикова, Хлестакова, Собакевича,

Поздрева, и т. д. окажутся разпородностями развѣтвившагося генеалогическаго дерева Митрофановъ, Скотининыхъ, и, въ свою очередь, расплодятся на множество другихъ и т. д. И мало ли что отерлось бы въ этихъ богатыхъ и петровутыхъ рудникахъ!

Но оставимъ это духовное средство типовъ: я, съ своими героями, не прошу на Олимпъ: я просто объясняю свой взглядъ на собственныя мои сочиненія и жалѣю, если мнѣ не удалось выразить того въ нихъ и другихъ, что вижу самъ.

Можетъ быть и отъ того, между прочимъ, мои лица не кажутся другимъ такими, какими я разумѣлъ ихъ, что всѣ эти портреты, типы, слишкомъ мѣстныя, вышедшіе изъ небольшого приволажскаго угла, и потому не всѣмъ, живущимъ на разбросанныхъ пространствахъ Россіи, близко извѣстны, и, наконецъ, развѣ и потому еще, что изъ нихъ сквозитъ много близкаго и роднаго автору, и замѣтно пробивается кровная его любовь къ нимъ.

Да, можетъ быть, и такъ: дѣйствительно много личнаго, интимнаго, т. е. своего, и себя самаго, вложено авторомъ туда!

Но даромъ въ одной, писанной за границею, на французскомъ языкѣ, исторіи новой русской литературы, сказано (сколько я помню, не имѣя книги подъ рукою), между прочимъ обо мнѣ, что я писалъ сердцемъ, а сознательный умъ, идею авторъ приписываетъ другимъ, и ставитъ это въ искусствѣ выше образа, живописи и прочее. Словомъ, авторъ клонитъ свою критику въ сторону реализма.

Конечно, реализмъ есть одна изъ капитальныхъ ос-

новъ искусства, но только не тотъ реализмъ, который проповѣдуетъ новѣйшая школа за границею, и отчасти у насъ!

Кто же отвергаетъ рекомендуемую ею стремленію къ правдѣ—и въ искусствѣ и въ жизни. Сама же эти реалисты сознають что Гомеръ, Сервантесъ, Шекспиръ, Гете и другіе, а у насъ прибавимъ отъ себя, Фонъ-Визинъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, стремились къ правдѣ, находили ее въ природѣ, въ жизни, и вносили въ свои произведенія. Стало быть это далеко не новое.

Надо слѣдовать одной природѣ, не нужно вымысловъ небывалаго, преувеличеній, ходуль, натяжекъ, словомъ, никакой лжи! провозглашаютъ нео-реалисты. И, конечно, они правы, если подъ вымысломъ разумѣютъ выдумки небывалаго или невозможнаго въ природѣ и въ жизни. Но тоже самое говорили и дѣлали и до нихъ, хотя бы въ русской натуральной школѣ, опередившей появленіемъ французскую.

Чего же еще хотятъ новые реалисты, присвоивъ себѣ господство въ искусствѣ, и въ этомъ, и чуть ли не во всея послѣдующіе вѣка?

Они, сколько можно понять, кажется, претендуютъ на тѣ же приемы и пути, какими изслѣдуетъ природу и идетъ къ истинѣ наука, и отрицаютъ въ художественныхъ поискахъ правды такіа пособія, какъ типичность, юморъ, отрицаютъ всякіе идеалы, не признають нужною фантазію и т. д.

Вотъ до чего договорились!

Ищутъ одну природу и жизнь, какъ онѣ есть! говорятъ они. Но вѣдь стремленіе къ идеаламъ, фантазія—это тоже естественное свойство человеческой природы

Вѣдь правда въ природѣ дается художнику только путемъ фантазіи!

Ученый ничего не создастъ, а открываетъ готовую и скрытую въ природѣ правду, а художникъ создаетъ подобія правды, т. е. наблюдаемая имъ правда отражается въ его фантазіи и онъ переноситъ эти отраженія въ свое произведеніе. Это и будетъ художественная правда.

Слѣдовательно, художественная правда и правда дѣйствительности—не одно и то же. Явленіе, перепесенное цѣлкомъ изъ жизни въ произведеніе искусства, потерявъ истинность дѣйствительности и не станетъ художественною правдою. Поставьте рядомъ два-три факта изъ жизни, какъ они случились, выйдетъ невѣрно, даже неправдоподобно.

Отчего же это? Именно отъ того, что художникъ нишетъ не прямо съ природы и съ жизни, а создаетъ правдоподобія ихъ. Въ этомъ и заключается процессъ творчества!

Вѣдь это все азбука эстетики, но передѣлать этой азбуки, какъ и самого искусства, нельзя.

Пособіемъ художника всегда будетъ фантазія, а цѣлью его, хотя и несознательною, пассивною, или замаскированную, стремленіе къ тѣмъ или другимъ идеаламъ, хоть бы, напримѣръ, къ усовершенствованію наблюдаемыхъ имъ явленій, къ замѣнѣ худшаго лучшимъ.

И это лучшее и будетъ идеаломъ, отъ котораго не отдѣлаться художнику, особенно когда у него, кромѣ ума, есть и сердце.

Нео-реалисты пробуютъ приложить свою теорію къ искусству и даютъ намъ, иногда, и въ живописи, и въ искусствѣ слова, свои снимки будто бы съ природы и

съ жизни, сдѣланные «умомъ»: но эти попытки пока ограничились сухими, блѣдными и... скучными произведеніями, пожалуй, ума, но никакъ не искусства, если не разумѣть подъ искусствомъ одну технику.

Эти снимки никогда не замѣнятъ картинъ, освѣщенныхъ лучами фантазіи, полныхъ огня, трепета и горячаго дыханія жизни. Писать художественныя произведенія только умомъ—все равно, что требовать отъ солнца, чтобы оно давало лишь свѣтъ, но не играло лучами—въ воздухѣ, на деревьяхъ, на водахъ, не давало бы тѣхъ красокъ, тоновъ и переливовъ свѣта, которые сообщаютъ красоту и блескъ природѣ! Развѣ это реально?

И что такое умъ въ искусствѣ? Это умѣнье создать образъ. Слѣдовательно, въ художественномъ произведеніи одинъ образъ уменъ—и чѣмъ онъ строже, тѣмъ умнѣе. Однимъ умомъ въ десяти томахъ не скажешь того, что сказано десятомъ лицъ въ какомъ нибудь «Ревизорѣ»!

Это правда, что романъ захватываетъ все: въ него прячется памфлетъ, иногда цѣлый нравственный, или научный трактатъ, простое наблюденіе надъ жизнью или философское воззрѣніе, но такіе романы (или просто книги) ничего не имѣютъ общаго съ искусствомъ. Романъ—какъ картина жизни—возможенъ только при надлежащихъ условіяхъ, не во гнѣвъ будь сказать повѣйшимъ реалистамъ!

Гоголь, безспорно,—реалистъ: у кого найдешь больше правды въ образахъ? Но онъ, смѣиша и «смѣясь, невидимо плакать»: оттого въ его сатиры и улеглась вся безконечная Русь своею отрицательною стороною, со всею своею плотью, кровью и дыханіемъ.

Какой отрадной теплотой дышать его созданія отъ этого юмора, подъ которымъ прячутся его «невидимыя слезы» и котораго нѣтъ у псевдо-реалистовъ, а есть холодная иронія, продуктъ, пожалуй, ума: они, кажется, ее только одну и допускаютъ въ искусствѣ! Но она никогда не замѣнитъ юмора.

Природа слишкомъ сильна и своеобразна, чтобы взять ее, такъ сказать, цѣликомъ, помѣриться съ нею ея же силами и непосредственно стать рядомъ; она не дается. У нея свои слишкомъ могучія средства. Изъ непосредственнаго снимка съ нея выйдетъ жалкая, безсильная копія. Она позволяетъ приблизиться къ ней только путемъ творческой фантазіи.

Иначе было бы слишкомъ просто быть художникомъ. Стояло бы только, по совѣту одного лица въ «Развѣздѣ» Гоголя, сѣсть у окна, да записывать, что дѣлается на улицѣ и вышла бы комедія или повѣсть.

Замѣчательно, что нѣкоторые изъ героевъ дня, ставшихъ во главѣ повѣйшаго реализма въ искусствѣ, обязаны были лучшими своими произведеніями именно тѣмъ могучимъ орудіямъ искусства: фантазіи, юмору, типичности, словомъ—поэзіи, отъ которыхъ отрекаются теперь.

Кстати о типичности. Новая реальная школа, сколько можно понять, кажется, отвергаетъ и ее. Это уже значить—замахиваться не на одну, такъ называемую, «романтическую школу», а на Шекспира, Сервантеса, Мольера! Кому какое дѣло было бы, напримеръ, до положительныхъ Лира и Донъ-Кихота, еслибъ это были портреты какихъ-то чудаковъ, а не типы, т. е. зеркала, от-

ражающія въ себѣ безчисленныя подобія—въ старомъ, новомъ и будущемъ человѣческомъ обществѣ?

Нѣтъ, напрасно будетъ пророчить себѣ этотъ новый родъ реализма долгій вѣкъ, если откажется отъ пособія фантазій, юмора, типичности, живописи, вообще поэзій, и будетъ пробавляться однимъ умомъ, безъ участія сердца!

Написать ли бы, безъ всего этого, и между прочимъ безъ сердца, Грибоедовъ свою, горячо любимую имъ Москву, въ «Горѣ отъ ума», Пушкинъ—своего «Онегина»? Гоголь, не говоря уже о его картинахъ малорусской природы и жизни, даже въ своихъ реальныхъ «Мертвыхъ Душахъ», не создать бы этихъ дымящихся жизнью Коробочекъ, Маниловыхъ, Собакевичей? Не могъ бы равнодушный человѣкъ писать такими живыми красками, говорить этими образами, такъ близко намъ, какъ будто мы живемъ среди нихъ!

Другой огромный талантъ—Островскій, безъ любви къ каждому камню Москвы, къ каждому горбату не-реулку, къ каждому москвичу, шевелящемуся въ своей кучѣ сора и хлама, создать ли бы весь этотъ чудный міръ, съ его духомъ, обычаями, дѣлами, страстями,—безъ этой любви, которая сквозитъ въ его изображеніяхъ царей, Мишскихъ, Брусковыхъ, ихъ женъ, дѣтей, свахъ и проч.? Отъ этого, въ его безконечныхъ галереяхъ, и является вся Великая Россія «во очью», что она писалась фантазією, юморомъ и любовью, разсыпалась на безчисленныя разновидности типовъ, характерныхъ, глѣзъ знакомыхъ сценъ, именно потому всѣмъ знакомыхъ, что они возсоздавались художническою поэтическою епѣтью, а не просто копировались съ жизни.

И Тургеневъ, создавшій, въ «Запискахъ Охотника», рядъ живыхъ миниатюръ крѣпостнаго быта, конечно, не далъ бы литературѣ тонкихъ, мягкихъ, полныхъ классической простоты и истинно-реальной правды, очерковъ мелкаго барства, крестьянскаго люда и неподражаемыхъ пейзажей русской природы, еслибъ съ дѣтства не пропитался любовью къ родной почвѣ своихъ полей, лѣсовъ, и не сохранилъ въ душѣ образа страданій населяющаго ихъ люда!

Графъ Левъ Толстой—безспорно великій реалистъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, нишетъ конечно съ натуры, особенно въ послѣднемъ своемъ произведеніи. Онъ по своему понимъ, о чемъ хлопочать новые реалисты, и обладаа тѣмъ, чего имъ недостаеъ, преподаетъ манеру, какъ можно и нужно, творчески, силою фантазіи, стать очень близко къ природѣ и правдѣ. Какою иѣжною теплотой окружаетъ онъ нѣкоторыя свои лица, напримѣръ своего героя Левина съ женой, или эту мягкую, разваливающуюся отъ заботъ житейскихъ добрую Облонскую, бѣдную грѣшницу Каренину, дѣтей, потомъ деревню, поля, охоты и все что онъ любитъ, съ чѣмъ сжился и чѣмъ пропитался! Все это не мѣшаетъ строгой объективности въ немъ, какъ, напримѣръ, теплый воздухъ и игра солнечныхъ лучей не мѣшаютъ вѣрности рисунка въ пейзажѣ.

Даже такіе, особые, не входящіе въ этотъ кругъ, своеобразные и таланты, какъ Достоевскій и Щедринъ — не могли бы, силою одного холоднаго анализа, находить правды жизни — одинъ въ глубокой, никому, кромѣ его недостигаемой пучинѣ людскихъ золъ, другой въ мутномъ потокѣ мелькающихъ передъ нимъ безо-

бразій. Одинъ содрогается и стоиеть самъ — содрогается отъ ужаса и боли его читатель, точно также, какъ этотъ читатель злобно хохочеть съ авторомъ надъ какой-нибудь «современной идилліей», надъ внезапно поблѣднѣвъ передъ образомъ «Иудушки».

Подъ этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого — снискать свои «невидимыя слезы», прячется своя любовь, которая, вмѣстѣ съ другими силами творчества, лежитъ въ основѣ талантовъ всѣхъ этихъ вышдъ порвой величины.

Не было бы ничего этого у нихъ, еслибы они были только покойные, объективные наблюдатели правды! Всѣ эти, вмѣстѣ взятая сила, только и ведутъ къ истинной «правдѣ» въ искусствѣ!

Да, много хочется вдалеко зашелъ новѣйшій реализмъ! Тамъ, куда онъ мѣтнть, одного ума мало: въ искусствѣ умъ долженъ быть въ союзѣ съ фантазіей.

А безъ этого пусть разгораются негодованіемъ на зло, пусть стремятся служить «злѣбамъ дня» — ничего, кромѣ претензій, т. е. тенденцій, не будетъ.

Поэтому пора бы оставить въ покоѣ ничего невыражающую фразу «искусство для искусства». Этими грѣхомъ, между прочимъ, еще не такъ давно упрекали почти всѣхъ нашихъ писателей, даже, кажется, и Пушкина!

Что нибудь одно: или у писателя нѣтъ таланта — и онъ пишетъ только для искусства писать; но тогда не было бы никакой живописи, никакихъ живыхъ лицъ и ничего бы не выходило.

А если признають талантъ, а съ нимъ и живопись, тогда послѣдняя что нибудь да выражаетъ. Живою, т. е.

правдивый образъ всегда говорить о жизни, все равно о какой.

«Намъ до той или другой жизни дѣла нѣтъ: — все въ искусствѣ должно служить дѣлу, моменту, «злобѣ дня» — проповѣдуютъ ультра-реалисты.

Но вѣдь эдакъ пришлось бы ограничить жизнь суетливымъ перебѣгиваньемъ отъ одной дневной заботы къ другой. Куда же дѣвать все другія, безчисленныя, и мрачныя, и свѣтлыя стороны жизни, картины не однихъ политическихъ, соціальныхъ, но и общечеловѣческихъ, разнороднѣйшихъ страстей, интересовъ, суетъ, волненій и горячекъ, скорбей и радостей? Вѣдь жизнь—это безпредѣльное и глубокое море: его не исчерпаешь и не направишь въ одно какое нибудь узкое русло, а съ нимъ и искусство, ея вѣрное отраженіе!

Лучше бы ужъ называть — «искусство безъ искусства», какъ остроумно, и совершенно основательно, выразился однажды, кажется, «Вѣстникъ Еироны», говоря по какому-то поводу о тенденціозныхъ произведеніяхъ.

На скользкой почвѣ крайняго реализма пробоваши свои силы и серьезные таланты, но эти попытки оказались безплодными и не прибавили (если только не убавили) ни одного листка къ ихъ лавровому вѣнку.

Нѣтъ — будемъ держаться школы старыхъ учителей и идти проложеннымъ ими путемъ, не отказываясь конечно отъ истинныхъ, законныхъ развитій, новыхъ шаговъ въ искусствѣ, хоть бы отъ того же самого реализма, когда эти шаги по будутъ *pas de géants*, и когда онъ откажется отъ претензій колебать основныя законы искусства!

Въ нашемъ вѣкѣ намъ датъ образецъ художественнаго романа общій учитель романистовъ — это Диккенсъ.

Не одинъ наблюдательный умъ, а фантазія, юморъ, поэзія, любовь, которой онъ, по его выраженію, «поислъ цѣлый океанъ» въ себѣ — помогли ему написать всю Англію, въ живыхъ, безсмертныхъ типахъ и сценахъ.

Отъ всѣхъ этихъ громкихъ именъ перехожу опять къ себѣ и доскажу послѣднія слова о своихъ сочиненіяхъ.

Нѣкоторые старались доказывать, и въ печати, и даже мнѣ самому лично, что романъ «Обрывъ» вообще будто бы слабѣ другихъ моихъ сочиненій, а послѣднія его, 4 и 5-я части слабѣ первыхъ трехъ.

Еслибъ мнѣ сказали просто — «романъ слабъ», я тотчасъ согласился бы съ этимъ: я самъ болѣе, нежели кто-нибудь, питаю недоумѣіе къ своимъ силамъ. Притомъ и нельзя же самому доказывать о себѣ, что то или другое сдѣлано хорошо. Но всякому автору позволительно, не нарушая приличій скромности, выразить свое мнѣніе о томъ, что онъ сдѣлалъ лучше и что хуже. И я, на основаніи этого права, нахожу, что послѣднія двѣ части безспорно лучше первыхъ трехъ. Онѣ писаны болѣе созрѣвшею и опытною въ работѣ рукою, онѣ сжатѣе, опредѣлительнѣе и яснѣе первыхъ.

Притомъ онѣ такъ органически связаны съ цѣлымъ романомъ, что безъ нихъ первые три части не имѣли бы никакого значенія — и я, долго отвлекаемый разными посторонними литературъ дѣлами отъ доведенія «Обрыва» до конца, хотѣлъ уже бросить всю перту. Смыслу романа. Весь смыслъ его, вся его «причина» и «суть» только и объясняются и доказываются двумя послѣдними частями, въ которыхъ, между прочимъ, окончательно разыгрывается и драма Вѣры. Тамъ заканчи-

лась и ее фигура—и портреты Бабушки, Райского, Козлова съ женой, Марфины и всѣхъ остальныхъ.

Безъ этихъ двухъ частей—была бы треть романа, разрушенное тѣло, безъ смысла, безъ значенія, словомъ—уродъ.

Можетъ быть завершенье этого огромнаго полотна, повторяю, сдѣлано слабо и неудовлетворительно (не мнѣ объ этомъ судить), но отнюдь не слабѣе и хуже, а напротивъ положительнѣе всего, написаннаго мною прежде.

За это «лучшее» я только и вправѣ стоять и стою на своемъ.

Въ заключеніе мнѣ остается еще отвѣтить на послѣдніе, обращающіе ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и до сихъ поръ, вопросы. Именно: зачѣмъ я такъ долго, лѣтъ по десяти, писалъ свои романы? Потому—зачѣмъ я не пишу ничего другаго?

Отвѣтъ на первый вопросъ или упрекъ заключается отчасти въ сказанномъ выше.

Прибавлю только, что если потрудятся выискнуть въ смыслъ моихъ романовъ и найдутъ хотя малую долю того значенія, которое я самъ въ нихъ вижу, то, я полагаю, не понадобится быть самому авторомъ, чтобы разсудить и рѣшить о томъ невидномъ, но громаднѣйшемъ трудѣ, какого требуетъ построенье цѣлаго зданія романа! Одной архитектурки, т. е. постройки зданія, довольно, чтобы поглотить всю умственную дѣятельность автора: соображать, обдумывать участіе лицъ въ главной задачѣ, отношеніе ихъ другъ къ другу, постановку и ходъ событій, роль лицъ, съ несусыннымъ контролемъ и критикою относительно вѣрности или невѣрности, не-

достатковъ, излишества и т. д. Словомъ — c'est une mer à boire!

Я не говорю о самыхъ лицахъ, типахъ: они даются художнику даромъ, почти независимо отъ него, растутъ на почвѣ его фантазій. Трудъ его — только обработка, отдѣлка ихъ, группировка, участіе въ дѣйствіи. Нельзя одолѣть всего этого однимъ умомъ: приходится на помощь независимая отъ автора сила — художественный инстинктъ. Умъ разбивается, какъ наркъ или садъ, главные линіи, положенія, придумываетъ необходимости, а приводитъ это въ исполненіе и помогаетъ сказанный инстинктъ.

Разумѣется, онъ является при любви, при заздѣ автора къ своей работѣ, т. е. при извѣстной степени нервного раздраженія, называемаго, на языкѣ идеалистовъ, «вдохновеніемъ».

Тогда, среди намѣченного умомъ главнаго хода или дѣйствія, при созданныхъ фантазією лицахъ — подъ рукою, какъ будто сами собою, рождаются сцены, и детали, перо-клетъ едва успѣваетъ писать.

Сколько же времени уходитъ на всю эту, невидимую читателю, работу!

И всегда ли оно въ распоряженіи автора? Иногда ли онъ можетъ сосредоточиться, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ, по обстоятельствамъ, зиметь весь вѣкъ, служба и участвуя, волею и неволею, въ свѣтской жизни и платя дань ее требованіямъ?

Какъ этому ничто не помѣшаетъ, читая лютія страсти романы, и не знаетъ, какъ не лютю достаются они автору!

Вѣдьнскій скажетъ мнѣ описавъ, какъ упомянуто

выше: «что другому стало бы на десять повѣстей, у него укладывается въ одномъ романѣ!»

Это сказалъ онъ про самую краткую изъ моихъ книгъ — «Обыкновенную исторію!»

Что сказалъ бы онъ объ *Обломовѣ*, объ *Обрывѣ*, куда уложился и вся моя, такъ сказать, собственная — и много другихъ произведений?

Худо ли, хорошо ли — это другой вопросъ (не мнѣ рѣшать его!): но если въ рамки моихъ романовъ укладывались продолжительные періоды, съ 40-хъ до 70-хъ годовъ, то спрашивается, возможно ли писаніе такихъ картинъ, развивавшихся и писавшихся параллельно теченію самой жизни, хотя бы въ годъ — два? Конечно нѣтъ!

Послѣдній вопросъ: зачѣмъ я не писалъ и не пишу ничего другого?

Не могу, не умѣю! То есть, не могу и не умѣю ничего писать иначе, какъ образами, картинами, и при томъ большими, слѣдовательно писать долго, медленно и трудно.

Для образовъ и картинъ требуется извѣстная свѣжесть силъ и охоты: всему есть своя пора. Къ концу поприща человѣкъ устаетъ отъ борьбы со всѣми и со всѣмъ, что ему мѣшало, что непонимало его, что враждовало съ нимъ.

Я не публицистъ, не присяжный критикъ, я жилъ и писалъ больше всего подъ вліяніемъ фантазій — и вѣдь послѣдней неро мое мало имѣетъ силы, не производитъ дѣйствій!

Напрасно просили моего сотрудничества въ журналахъ, въ качествѣ рецензента или публициста: я пробо-

валъ—и ничего не выходило, кромѣ блѣднѣхъ статей, уступавшихъ всякому бойкому перу примечныхъ журнальныхъ сотрудниковъ.

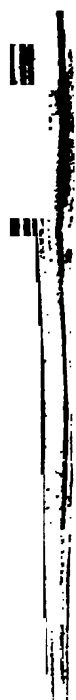
Напрасно тоже нѣкоторые предлагали мнѣ задачи для романа. «Опишите такое-то событіе, такую-то жизнь, возьмите тотъ или другой вопросъ, такого-то героя или героиню!»

Це могу, не умѣю! То что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ, чего я не видѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ,—то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой мѣръ наблюденій, впечатлѣній и воспоминаній,—и я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ—словомъ писалъ и свою жизнь и то, что къ ней приростало.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Литературный вечеръ	1
Миліонъ терзаній	181
Замѣтки о личности Бѣлинскаго	183
Лучше поздно чѣмъ никогда	219



1

2

3

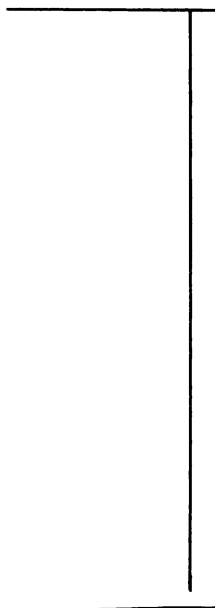
4

hetyre ochertka /
Stanford Univ



3 6105 03, 2

DATE C



IFORD UNIVER
STANFORD, C.
9430



